

Анита Амирезвани

≈ КРОВЬ ≈ ЦВЕТОВ

Прекраснейшая сказка о любви, преданности,
дружбе и семейных узах... поистине шедевр.

USA Today



Анита Амirezвани

≈ КРОВЬ ≈ ЦВЕТОВ

Прекраснейшая сказка о любви, преданности,
дружбе и семейных узах... поистине шедевр.

USA Today



АЗБУКА

Annotation

Впервые на русском — один из наиболее ярких дебютов последних лет в американской литературе, «прекраснейшая сказка о любви, преданности, дружбе и семейных узах: поистине шедевр» («USAToday»).

В глазах героини этого утонченно-гипнотического, проникнутого чувственностью романа Исфахан — столица мира. Здесь возносятся к небу бирюзовые купола мечетей, на исполинской площади Лик Мира играют в конное поло — чавгонбози, берега реки Зайенде соединяет мост Тридцати Трех Арок, а дважды в год Большой базар закрывается для мужчин и за покупками в полном составе выходит весь шахский гарем. Ничто не ценится в Исфахане так высоко, как знаменитые персидские ковры — мерило успеха и воплощение высочайшего мастерства. И чтобы стать настоящим мастером-ковроделом, героиня готова на все. Причуды ее судьбы вторят извивам самого изощренного коврового узора, и сюжетные нити сплетаются в затейливое целое, в котором есть место восточным легендам и эротическим переживаниям, измене и коварству, любви и дружбе, волшебным сокровищам и трагической красоте.

-
- [Анита Амirezвани](#)
 - [ПРОЛОГ](#)
 - [ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВТОРАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРЕТЬЯ](#)
 - [ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ПЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ШЕСТАЯ](#)
 - [ГЛАВА СЕДЬМАЯ](#)
 - [БЛАГОДАРНОСТИ](#)
 - [ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА](#)
-

Анита Амirezвани

Кровь цветов

Посвящается моей семье —
иранской, литовской и
американской

ПРОЛОГ



Сначала не было, а потом стало. Прежде Бога не было никого.

Жила-была в одной деревне женщина, у которой не было детей. Она испробовала все: молилась, пила отвары из трав, ела сырые черепаши яйца, опрыскивала водой новорожденных котят, — но ничего не помогало. Наконец отправилась она к отдаленному кладбищу, чтобы поклониться древнему каменному льву и потереться животом о его бок. Лев задрожал, и женщина вернулась домой в надежде, что ее заветное желание наконец сбудется. В следующую луну она зачала своего единственного ребенка.

С того дня, как девочка появилась на свет, она стала светом очей для родителей. Каждую неделю отец брал ее в горы, обращаясь с нею так, будто это был сын, которого он всегда хотел. Матушка учила девочку делать краски из оранжевых цветов сафлора, из кошенили, гранатовой кожуры и каштановой скорлупы, а потом и вязать ковры из окрашенной шерсти. Вскоре девочка переняла мастерство матери и стала считаться лучшей молодой ковровщицей своей деревни.

Когда дочери исполнилось четырнадцать, родители решили, что пора отдавать ее замуж. Чтобы собрать денег на приданое, отец день и ночь работал в поле, надеясь на хороший урожай, а матушка пряла шерсть, пока ее пальцы не огрубели, но денег это приносило мало. Девушка знала, что сможет помочь родителям, если для своего приданого соткет ковер ослепительной красоты. В отличие от обычных красных и коричневых, которые были у жителей деревни, этот должен быть лазурным, как небо в летний день.

Девушка попросила Ибрагима, красильщика, открыть ей секрет бирюзового цвета, и он велел ей подняться на вершину холма и найти растение с зубчатыми листьями. А затем найти кое-что в себе

самой. Девушка не поняла, о чем говорил Ибрагим, но листья она собрала и вскипятила их с темно-фиолетовой краской. Когда матушка увидела ее смесь, то спросила у девушки, что она делает. Дочь сбивчиво рассказала ей, видя, как брови матери сходятся в грозную черную линию.

— Ты одна ходила в красильню Ибрагима?

— Биби, прошу, прости меня! — сказала девушка. — Я отпустила свой ум бегать с козами.

Когда домой вернулся отец, матушка все ему рассказала.

— Если люди начнут говорить об этом, прощай надежда сыскать ей жениха, — причитала она. — Как можно было поступить так безрассудно?!

— Она всегда была такой! — вскричал отец и отругал дочь за ошибку.

Девушка весь вечер гнулась над штопкой и не смела поднять глаз на родителей.

Следующие несколько дней родители внимательно следили за ней, она же пыталась разгадать загадку краски. Однажды днем, когда девушка пасла овец и спряталась за валун, чтобы облегчиться, внезапно ей пришла в голову мысль. А не это ли Ибрагим имел в виду? Что-то, что есть в ней самой?

Она вернулась домой и приготовила еще один горшок фиолетовой краски. Когда она в следующий раз пошла в уборную, то оставила немного жидкости в старой посудине, а потом смешала ее с блеклой фиолетовой краской, залила шерсть и оставила на ночь. Подняв на следующее утро крышку горшка, она радостно вскрикнула — краска была нежно-голубой, как райские озера. Хотя отец запретил ей, девушка взяла прядь бирюзовой шерсти, побежала к красильне Ибрагима и повязала шерсть вокруг дверного кольца.

Девушка продала бирюзовый ковер заезжему шелкоторговцу по имени Хасан, который так хотел заполучить его, что заплатил серебром, пока он был еще на станке. Матушка рассказала женищинам из другой деревни об успехе дочери, и они похвалили ее золотые руки. Теперь у девушки было приданое, и она смогла выйти замуж, а свадьба длилась три дня и три ночи. Муж кормил ее маринованными огурцами, когда она была беременна, и у них родилось семеро сыновей.

Книга ее жизни была написана самыми яркими из чернил, и волей Аллаха да не окончится она до тех пор, пока...

— Ведь история совсем не такая, — перебила я, кутаясь в грубое одеяло; снаружи завывал ветер.

Моя матушка Махин и я сидели рядом, но я говорила тихо, так как другие спали всего в нескольких шагах от нас.

— Ты права, но я хочу рассказать ее именно так, — сказала она, убирая выбившуюся из-под старого шарфа седую прядь. — Мы верим, что так будет у тебя.

— Это хороший конец, — согласилась я, — но расскажи, как все было по-настоящему.

— Не пропускать даже грустные места?

— Да.

— Они до сих пор заставляют меня плакать.

— Меня тоже.

— Ох! — вздохнула матушка, и лицо ее заострилось от печали.

Мы затихли на минуту, вспоминая. Капля ледяного дождя упала рядом с моим халатом, и я подвинулась поближе к матери, чтобы вода не капала на меня из щелей в крыше. Маленькая масляная лампа не могла нас согреть. А всего несколько месяцев назад я носила теплый бархатный халат, расшитый узором из алых роз, а под ним шелковые шаровары. Глаза мои были подведены сурьмой, одежда была надушена благовониями. Я ждала любовника, который срывал с меня одежду, и в нашей спальне было жарко, словно летним днем. Сейчас же я дрожала от холода в тонком голубом халате, износившемся настолько, что казался серым.

Матушка жестоко закашлялась — этот звук ранил меня в самое сердце, и оставалось только молиться, чтобы она поправилась.

— Дочь моя, я не смогу рассказать до конца, — хрипло проговорила она. — А ведь это еще не все.

Я глубоко вздохнула и ответила:

— Ну и хвала Богу!

Вдруг у меня появилась мысль, хоть я и не была уверена, стоит ли просить об этом. Голос моей матери всегда был сладок, как горный мед. В нашей деревне она славилась своими сказками о седовласом Зале, воспитанном птицей, о Джемшиде, который изобрел ткацкое

искусство, и о веселом мулле Насреддине, который всегда заставлял нас задумываться о многом.

— Что, если... что, если в этот раз историю расскажу я?

С минуту матушка разглядывала меня, будто увидела по-новому, а потом улеглась на старые подушки, разложенные вдоль стены.

— Да, ты ведь уже взрослая, — ответила она. — За последние месяцы ты словно выросла на годы. Возможно, ты не изменилась бы так сильно, не сделай то, что сделала.

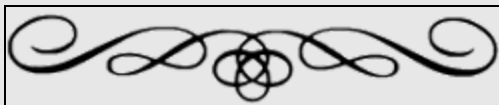
Хотя я продрогла до костей, мое лицо вспыхнуло. Я больше не ребенок, которым была когда-то. Я не могла и представить себе, что способна солгать и, хуже того, не сказать всей правды, что способна предать тех, кого любила, убежать от человека, который заботился обо мне, хотя и не слишком; что смогу пойти против своих родных и едва не убить того, кто любил меня больше всех на свете.

Матушка глядела на меня с нежностью и ожиданием.

— Продолжай. Расскажи мне, — сказала она.

Я сделала большой глоток крепкого чая, села прямо и заговорила.

ГЛАВА ПЕРВАЯ



Весной в год, когда меня собирались отдать замуж, в небе над моей деревней пролетела комета. Она была самой яркой из всех, которые нам доводилось видеть, и самой зловещей. Ночь за ночью, пока она ползла по небу, разбрасывая холодные белые зерна печали, мы пытались разгадать страшные предсказания звезд. Хадж Али, самый образованный человек в деревне, уехал в Исфахан за списком календаря главного астронома, чтобы мы могли узнать, каких бед ожидать.

Тем вечером, когда он вернулся, люди собрались на улице, чтобы услышать предсказания на ближайшие месяцы. Мы с родителями стояли около старого кипариса, единственного дерева в деревне, увешанного лоскутками, олицетворяющими обеты, данные людьми. Все смотрели вверх, на звезды, подбородки людей будто упирались в небо, лица были мрачны. Я была маленького роста и видела только седую длинную бороду Хадж Али, похожую на пустынный кустарник. Моя матушка, Махин, указала пальцем на Отсекающего Главу, пылающего красным в ночном небе.

— Смотрите, Марс загорелся, — сказала она, — это усилит зло от кометы.

Многие односельчане уже видели таинственные знаки или слышали о несчастьях, вызванных кометой. На севере Ирана свирепствовала чума, убившая тысячи людей. Землетрясение в Дугабаде убило невесту за минуту до встречи с женихом — она и ее гости не смогли выбраться из-под обломков дома и задохнулись. В моей деревне красные насекомые, которых никто раньше не видел, уничтожали урожай.

Голи, моя близкая подруга, приехала с мужем, Гасемом, который был намного старше нас. Она приветственно расцеловала меня в обе щеки.

— Как ты себя чувствуешь? — спросила я.

Она поднесла руку к животу.

— Тяжело, — ответила она.

Я поняла, что она волнуется о судьбе новой жизни внутри ее.

Вскоре после нашей встречи собрались все жители деревни, кроме стариков и немощных. Многие женщины были одеты в яркие свободные рубахи поверх узких штанов, головы покрывали шали с бахромой, а мужчины носили белые рубахи, шаровары и тюрбаны. Хадж Али носил черный тюрбан, указывавший на его родство с пророком Мухаммедом, и не выходил из дому без астроябии.

— Добрые люди, — начал он голосом, похожим на грохот колес, катящихся по камням, — сначала воздадим хвалу первым последователям Пророка, а особенно его зятю Али, князю всех правоверных.

— Да будет с ними мир, — ответили мы.

— Предсказания на этот год начинаются с плохих вестей для наших врагов. На северо-востоке узбеки от нашествия насекомых потеряют весь урожай пшеницы. На северо-западе чума выкосит турок, и даже в христианских королевствах далеко на западе таинственная напасть поразит рты королей.

Исмаил, мой отец, наклонился ко мне и прошептал:

— Всегда приятно узнать о великой неудаче, поджидающей твоих врагов.

Мы рассмеялись, как обычно.

Пока Хадж Али читал предсказания из альманаха, мое сердце колотилось так сильно, будто я карабкалась на гору. Мне не терпелось услышать предсказания о браках, которые будут заключены в течение года, — сейчас это заботило меня больше всего. Я начала теревить бахрому своей шали — привычка, от которой меня постоянно пыталась отучить матушка, — в то время как Хадж Али рассказывал, что не будет вреда от бумаги, книг или письма, что на юге произойдут землетрясения, но слабые, а крови, пролитой в сражениях, будет достаточно, чтобы Каспийское море стало красным.

Хадж Али махнул альманахом толпе в знак того, что следующее предсказание будет тревожным. Помощник, державший перед ним масляную лампу, отскочил в сторону.

— А сейчас, похоже, наихудшее из всего. Произойдет в этом году обширное и необъяснимое падение нравов, — прочел он. — Единственное, чем можно его истолковать, — это влиянием кометы.

По толпе пронесся шепот, каждый начал вспоминать, свидетелем какого проступка он стал в первые дни нового года.

— Она набрала в колодце воды больше, чем ей полагается, — услышала я голос Зейнаб; она была женой Голама, и я не слышала от нее ни одного хорошего слова о ком-либо.

Наконец Хадж Али перешел к предсказаниям, касавшимся и моего будущего.

— Насчет заключения браков предсказания весьма туманны, — сказал он. — Альманах ничего не говорит о тех, что будут заключены в ближайшие несколько месяцев, однако те, что состоятся, будут полны страстями и раздорами.

Я с волнением взглянула на матушку, потому что меня собирались отдать замуж именно в это время, ведь мне было уже почти четырнадцать. В ее глазах была тревога, и видно было, что услышанное ей не нравилось.

Хадж Али перевернул последнюю страницу альманаха, взглянул на нее и немного помолчал, чтобы привлечь внимание людей:

— Последнее предсказание касается поведения женщин — оно самое тревожное. В этом году женщины Ирана перестанут быть покорными.

— А когда они ими были? — прозвучал голос Голама.

Вокруг раздались смешки.

Мой отец улыбнулся матери, и лицо ее повеселело. Ведь отец любил ее такой, какая она есть. Люди, бывало, говорили, что он относится к матери так нежно, словно она его вторая жена.

— Женщины сами пострадают от своего упрямства, — предупредил Хадж Али. — Многие понесут на себе проклятие бесплодия, а те, кто сможет понести дитя, будут рожать в страшных муках.

Я встретила глазами с Голи — в ее глазах отражался тот же страх, что и в моих. Моя подруга беспокоилась о родах, я же о неудаче в замужестве. Оставалось молиться, чтобы несчастья, принесенные кометой, миновали нас.

Увидев, что я дрожу, отец накинул мне на плечи покрывало из овечьей шерсти, а матушка взяла мою руку и растерла своими ладонями, чтобы согреть. Я стояла в самой середине своей деревни, и вокруг все напоминало о доме. Невдалеке сверкал покрытый изразцами купол нашей маленькой мечети. Рядом был хаммам, в котором я мылась каждую неделю, полный пара, просвеченного солнцем, ветхие деревянные прилавки крошечного рынка, на котором по четвергам жители торговали фруктами, овощами, снадобьями, коврами и утварью. Дорога уводила от базара к кучке глинобитных домов, где ютились двести жителей деревни, и заканчивалась у подножия оплетенной тропами горы, где мои козы искали корм. Все это наполняло меня таким покоем, что, когда матушка взяла мою руку, чтобы проверить, как я себя чувствую, я сжала ее в ответ, но почти сразу отдернула, потому что не хотела выглядеть ребенком.

— Бабб, — прошептала я, — а что, если предсказания Хадж Али о браках сбудутся?

Хоть отец и не сумел скрыть тревогу в глазах, голос его был уверенным.

— Твой муж выстелет тропу, которой ты ходишь, лепестками роз, — ответил он. — А если когда-нибудь он отнесется к тебе непочтительно...

Он помолчал немного. В его черных глазах появилась ярость словно то, о чем он подумал, было невообразимо страшно. Отец начал говорить что-то, но тут же остановился.

— ...ты всегда можешь вернуться к нам, — закончил он.

Стыд и порицание преследуют жену, вернувшуюся к родителям. Но моему отцу было все равно. Улыбка его собрала морщинками уголки глаз.

Хадж Али завершил собрание короткой молитвой. Некоторые жители остались, чтобы по-семейному обсудить между собой предсказания, другие начали расходиться по домам. Похоже, Голи хотелось поговорить со мной, но ее муж сказал, что пора идти. Она прошептала, что ноги болят под тяжестью живота, и пожелала нам доброй ночи.

Мы с родителями направились домой по единственной улице деревни. Дома стояли по обе стороны, прижимаясь друг к другу для защиты и тепла. Я знала эту дорогу так хорошо, что могла идти по ней

вслепую и все равно свернуть именно там, где стоял наш дом; сразу за ним деревня заканчивалась, начинались пески и заросли чахлого кустарника. Отец толкнул плечом деревянную резную дверь, и мы вошли в единственную комнату нашего дома. Стены были сложены из саманных кирпичей и покрыты штукатуркой, белизну которой матушка старательно поддерживала. Маленькая дверь вела во внутренний дворик, где мы могли наслаждаться солнцем вдали от чужих глаз.

Мы с матушкой сняли платки и повесили их на крючки около двери, одновременно разуваясь. Я распустила волосы, упавшие до талии. На счастье я дотронулась до изогнутых рогов каменного козла, поблескивавших на небольшой подставке у двери. Отец убил его во время одной из наших пятничных прогулок. С тех пор эти рога стали гордостью нашего дома, а друзья отца часто хвалили его, говоря, что он такой же ловкий и быстрый, как козел.

— Мы с отцом сели на красно-коричневый ковер, который я соткала, когда мне было десять. Он на минуту закрыл глаза, и мне показалось, что сейчас он выглядит особенно усталым.

— Мы пойдем гулять завтра? — спросила я.

Отец открыл глаза.

— Конечно, моя маленькая, — ответил он.

Утром он должен был работать в поле, но пообещал, что наша прогулка завтра может не состояться лишь по воле Бога.

— Скоро станешь хлопотливой невестой, — сказал отец, и голос его прервался.

Я отвернулась. Я не могла даже вообразить, как оставлю его.

Моя матушка бросила немного сухого навоза в очаг, чтобы вскипятить воду для чая.

— А вот и подарок, — сказала она, поставив перед нами тарелку свежего печенья с нутом.

Оно благоухало розами.

— Пусть никогда не болят твои руки! — сказал отец.

Это были мои любимые сласти, и в тот вечер я съела их очень много. Вскоре я почувствовала усталость и, как обычно, расстелила подстилку около двери. Засыпая, я слышала, как разговаривают мои родители, и сквозь сон их беседа напоминала воркование голубей. Кажется, я даже видела, как отец обнял матушку и поцеловал.

На следующий вечер я стояла у двери, ожидая, когда отец и другие мужчины потянутся с поля. Мне всегда нравилось подавать отцу чай до того, как он войдет в дом. Склонившись у очага, матушка пекла хлеб к ужину.

Отец все не приходил. Я вернулась в дом, наколола орехов, сложила их в небольшую миску, поставила ирисы, которые собрала, в кувшин с водой. Затем я снова выглянула на улицу — я с нетерпением ждала нашей прогулки. Где же он? Многие мужчины уже вернулись с поля и, наверное, смывали с себя скопившуюся за день пыль.

— Принеси воды, — сказала матушка.

— Я подхватила глиняный кувшин и направилась к колодцу. По пути я заглянула к Ибрагиму-красильщику. Он странно посмотрел на меня.

— Ступай домой, — сказал он мне. — Ты нужна матери.

— Но она сама только что просила набрать воды, — удивилась я.

— Не важно, — ответил Ибрагим. — Скажи ей, что я велел тебе вернуться.

Со всех ног я побежала домой. Кувшин бился о колени. Когда я приблизилась к дому, увидела четверых мужчин, которые несли большой сверток. Возможно, в поле произошел несчастный случай. Временами отец рассказывал о том, как людей ранило во время молотбы, кого-то лягнул мул, а кто-то возвращался весь в крови после драки. Наверняка за чаем отец расскажет нам, что случилось.

Из-за ноши мужчины двигались неуклюже. Лицо человека было скрыто за плечом одного из них. Я помолилась о его скорейшем выздоровлении; когда болезнь не позволяла мужчине работать, семье было очень тяжело. Люди приближались, и я увидела, что чалма пострадавшего была повязана, как у отца. Я быстро сказала себе, что это ничего не значит. Многие повязывали чалму сходным образом.

Идущий впереди споткнулся, и они чуть не уронили человека. Его голова мотнулась так, словно едва держалась на теле, руки и ноги безжизненно повисли. Я выпустила кувшин, и он вдребезги разбился прямо у моих ног.

— Бабб! — закричала я. — На помощь!

Матушка выбежала на улицу, стряхивая муку с одежды. Когда она увидела отца, из ее груди вырвался пронзительный вопль. Жившие рядом женщины выбежали из своих домов и окружили ее, будто сетью,

а она разрывала воздух криками горя. Матушка билась и металась, а они осторожно подхватывали ее, удерживали, убирали волосы с лица.

Мужчины внесли отца в дом и положили на подстилку. Кожа его была желтой, от уголка губ тянулась полоска слюны. Матушка поднесла пальцы к его ноздрям.

— Слава Аллаху, он еще дышит, — сказала она.

— Наги, работавший вместе с отцом в поле, прятал глаза, рассказывая, что случилось.

— Он выглядел усталым, но до обеда чувствовал себя хорошо, — рассказывал он. — Потом вдруг схватился за голову и, задыхаясь, упал. С тех пор не шевелился.

— Да защитит Аллах вашего мужа! — произнес мужчина, которого я не узнала.

Сделав все, чтобы устроить отца поудобней, мужчины ушли, бормоча молитвы о выздоровлении.

Матушка с изрезанным горестными морщинами лицом снимала с отца матерчатые туфли, поправляла рубаху, подкладывала подушку под голову. Она щупала его руки и голову; лоб был теплый, но матушка попросила меня принести одеяла и накрыть его, чтобы сохранить тепло.

Вести об отце разнеслись быстро, и вскоре друзья начали приходить к нам, чтобы помочь. Кольсум принесла воды, которую она набрала из источника возле священного храма, известного своей целительной силой. Ибрагим уселся во дворе и начал читать Коран. Голи пришла с маленьким сыном, спящим у нее на руках, и принесла нам горячий хлеб и тушеную чечевицу. Я поила приходящих чаем, чтобы они не мерзли. Стоя возле отца на коленях, молилась о движении век, даже о гримасе — о любом знаке того, что жизнь все еще теплится в нем.

Как только наступила ночь, пришел Рабийи, лекарь нашей деревни, с сумками трав, свисавшими с плеч. Он сложил их около двери и опустился на колени перед отцом, чтобы осмотреть его при свете масляной лампы, и сощурился, вглядываясь в лицо отца. Огонек едва трепетал.

— Мне нужно больше света, — сказал Рабийи.

Я одолжила у соседей две лампы и поставила их рядом с подстилкой. Лекарь приподнял голову отца и осторожно размотал

чалму. Голова казалась тяжелой и распухшей. При свете его лицо выглядело пепельным, густые, черные с проседью волосы тоже словно покрылись пеплом и стали жесткими. Рабийи дотронулся до запястий, потом до шеи отца, а когда не нашел то, что искал, приложил ухо к груди. В этот момент Кольсум шепотом спросила у моей матери, не хочет ли она еще чая. Лекарь взглянул на нас, попросил никого не шуметь и, послушав снова, встал. Лицо его было мрачным.

— Его сердце едва бьется, — объявил лекарь.

— Али, владыка среди людей, дай моему мужу сил! — вскричала моя матушка.

Рабийи собрал сумки, достал несколько пучков трав, объяснил Кольсум, как сварить из них отвар для укрепления сердца. Еще он пообещал, что зайдет завтра утром, чтобы проведать отца.

— Да изольет Аллах на вас свою милость! — сказал он, уходя.

Кольсум начала отрывать листья от стеблей и бросать травы в котел, наливая туда воду, которую вскипятила матушка.

Рабийи остановился во дворе, чтобы поговорить с Ибрагимом, еще сидевшим там.

— Не прекращай молитв, — предупредил он, а потом я услышала, как он шепотом добавил: — Но Аллах может забрать его уже вечером.

Во рту у меня словно возник привкус ржавчины. Отыскав матушку, я бросилась в ее объятия, мы простояли так минуту, и глаза наши были полны печали.

Отец начал хрипеть. Его рот обмяк, губы разошлись, а дыхание стало будто шелест опавших листьев, гонимых ветром. Матушка бросилась к нему от очага, ее пальцы были зелеными от трав. Склонившись над ним, она зарыдала:

— Ох, любимый мой! Ох!

Подбежала Кольсум, взглянула на отца и увела матушку к очагу, потому что сделать уже было ничего нельзя.

— Давай закончим лекарство для него, — сказала Кольсум, чьи ясные глаза и румяные, как гранат, щеки подтверждали ее силу травницы.

Когда снадобье сварили и охладили, Кольсум слила жидкость в неглубокую миску и поставила у отцовского изголовья. Матушка приподняла его голову, Кольсум аккуратно, по ложке влила лекарство ему в рот. Большая часть отвара пролилась на подстилку. Кольсум

снова попыталась дать отцу лекарство, но он подавился, закашлялся и на мгновение, казалось, перестал дышать.

Кольсум, которая всегда была очень спокойна, дрожащими руками поставила чашку и взглянула матери в глаза.

— Мы должны подождать, когда он придет в себя, чтобы опять попробовать дать ему лекарство, — сказала она.

Платок матушки съехал, но она не замечала этого.

— Ему нужно лекарство, — тихо сказала она, но Кольсум ответила, что дыхание ему нужно больше.

Ибрагим начал сипнуть, и Кольсум попросила меня поухаживать за ним. Я налила горячего чая, положила фиников и отнесла ему во двор. Ибрагим поблагодарил меня одними глазами, не переставая читать, будто от его слов зависела жизнь моего отца.

Возвращаясь в дом, я задела посох отца, который висел на крючке у двери во двор. Я вспомнила, как во время нашей последней прогулки он привел меня посмотреть на изваяние древней богини, спрятанное под водопадом. Медленно и осторожно двигались мы по выступу, пока не дошли до статуи, скрытой за стеной воды. На богине была высокая корона, казалось наполненная облаками. Ее красивая грудь была покрыта тонкой тканью, а на шее у нее было ожерелье из больших камней. Я не увидела ее ног — одежда будто сливалась с волнами. Она протягивала могучие руки, которые были больше, чем руки любого мужчины, так, словно заклинала водопад.

В тот день отец очень устал, но, задыхаясь, он карабкался по крутым тропам к водопаду, чтобы показать мне это прекрасное зрелище. Сейчас он дышал даже тяжелей, чем тогда, отец хрипел так, будто это были последние его вздохи. Его руки начали двигаться, как маленькие, беспокойные мыши. Они ползали по его груди, метались по рубахе. Длинные пальцы были коричневыми от работы на полях, под ногтями осталась грязь, которую он смыл бы перед тем, как войти в дом, будь он здоров.

— Обещаю, что всю жизнь буду заботиться о нем, если ты не заберешь его у нас, — шептала я Богу. — Я буду молиться каждый день и никогда не пожалуюсь на то, как мне хочется есть во время поста на Рамадан, даже шепотом.

Вдруг отец начал хватать руками воздух, будто сражался с болезнью единственной частью тела, в которой еще оставалась сила.

Кольсум села рядом с нами около подстилки отца и начала молиться с нами, а мы наблюдали за его руками, за дыханием. Я рассказала матери о том, каким усталым казался отец во время нашей последней прогулки в горах, и спросила, может быть, из-за нее он так ослаб.

Она приложила руки к моему лицу и ответила:

— Свет очей моих, может быть, это давало ему силу.

В самый темный час ночи отец стал дышать тише, а руки перестали двигаться. Матушка укутала его одеялом, и лицо ее стало спокойней.

— Теперь он сможет немного отдохнуть, — удовлетворенно сказала она.

Я вышла во двор, который примыкал к дому соседей, принести еще чая Ибрагиму. Он пересел на подушку около ткацкого станка с бирюзовым ковром, который я еще не закончила. Недавно моя матушка продала этот ковер странствующему торговцу шелком по имени Хасан, который намеревался вернуться за ним позже. Но источник, из которого я получила бирюзовую краску, так понравившуюся Хасану, все еще оставался потаенным, известным только мне и отцу, даже сейчас лицо мое покрывалось краской стыда, стоило мне вспомнить, как встревожил отца мой визит к Ибрагиму.

Я продолжила свое бдение около отца. Может быть, скоро эта ужасная ночь закончится и новый день принесет нам неожиданную радость — глаза моего отца откроются или он сможет принять лекарство. А потом, когда ему станет лучше, мы снова пойдем на прогулку в горы и будем петь вместе. Ничто бы не обрадовало меня сейчас больше, чем снова услышать, как он нескладно поет.

В течение всего утра не было слышно ни звука, кроме журчания реки молитв Ибрагима. Я чувствовала, как тяжелеют веки. Не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как я проснулась. Лицо отца по-прежнему было спокойным, и я снова уснула. На рассвете меня успокаивал прервавший тишину звонкий щебет воробьев. Они напомнили мне о птицах, которых мы слышали во время прогулок, мы тогда останавливались, чтобы посмотреть, как они собирают прутики для гнезд.

Снаружи послышался скрип телеги, и это разбудило меня. Люди выходили из своих домов к дневным трудам, шли к колодцу, в горы или на поля. Ибрагим все еще читал молитвы, но его голос был сухим

и хриплым. Матушка зажгла лампу, которую она поставила у подстилки. Отец не двигался с тех пор, как заснул. Матушка поднесла пальцы к его ноздрям, чтобы проверить дыхание. Пальцы задержались у ноздрей, дрогнули, потом опустились к приоткрытому рту. Затем они снова поднялись к ноздрям и застыли в воздухе. Я наблюдала за матушкой, пытаясь по ее успокоившемуся лицу увидеть, что она нашла дыхание. Но она не смотрела на меня. Она запрокинула голову, и тишину разорвал ужасный вопль. Молитва оборвалась, Ибрагим бросился к отцу, проверил его дыхание, затем опустился на корточки и обхватил голову руками.

Матушка кричала все громче и громче, рвала на себе волосы. Ее шарф упал и лежал теперь около отца. Он остался завязанным и сохранил форму ее головы.

Я схватила руку отца, потерла, но она никак не желала согреться. Когда же я подняла ее, ладонь безжизненно повисла. Морщины на его лице казались шрамами, полученными в сражении со злым джинном.

Я испустила всего один короткий, резкий крик и упала на тело отца. Кольсум и матушка оставили меня лежать несколько минут, а потом Кольсум ласково увела меня.

И я, и отец знали, что скоро нам суждено расстаться. Но я всегда думала, что это я уйду от него в свадебных серебряных украшениях, слыша его благословения.

Первые дни после смерти моего отца были черными, но последовавшие за ними оказались еще черней.

Этим летом от нашей семьи некому было убирать урожай, поэтому мы получили очень мало зерна из отцовской доли, хотя его друзья старались быть милосердными к нам. Зерна было недостаточно, чтобы менять его на топливо, обувь, краски и шерсть. Нам пришлось продавать коз, а это означало, что теперь у нас не будет сыра. Каждый раз, когда мы отдавали козу, моя матушка плакала.

К концу долгих теплых дней наши запасы стали уменьшаться. По утрам мы ели хлеб, испеченный матушкой, с сыром или простоквашей, которые приносили нам сжалившиеся соседи. Но наш ужин становился все более скудным. Скоро мы даже перестали думать, можно ли съесть кусочек мяса. Матушка начала продавать вещи отца,

чтобы купить еды. Сначала ушла одежда, потом обувь, его чалмы, а затем и бесценная трость.

Другие люди обычно обращались за помощью к семье, но, к сожалению, ни у меня, ни у матери не осталось близких родственников. Мои бабушки и дедушки умерли, когда я была совсем маленькой, я даже не помнила их. Два брата матери были убиты в войне с турками. Сводный брат и единственный родственник моего отца, Гостахам, был сыном деда от первой жены. В молодости Гостахам переехал в Исфахан, и мы ничего не слышали о нем последние шесть лет.

Пока не начались холода, мы жили на тонком куске хлеба и маринованной моркови, которая осталась с прошлого года. Каждый день я ощущала голод, но знала, что матушка ничего не может поделаться, и потому старалась не говорить ей о болях в животе. Я постоянно чувствовала себя усталой, и дела, которые раньше были очень простыми, например принести воды из колодца, сейчас казались невыполнимыми.

Единственной нашей ценностью был мой бирюзовый ковер. Вскоре после того, как я закончила бахрому, Хасан, торговец шелком, вернулся, чтобы забрать его. Хасана испугали наши черные одежды, и он поинтересовался, отчего мы в трауре. Узнав о случившемся, он спросил, не может ли чем-то помочь. Моя матушка боялась, что мы не переживем холодную зиму, и попросила торговца, когда тот вернется в Исфахан, найти Гостахама, нашего единственного родственника, и рассказать ему о нашей горе.

Примерно через месяц торговец ослами, проходивший через деревню на пути в Шираз, принес письмо из столицы. Матушка попросила Хадж Али прочитать его, так как никто из нас не владел грамотой. Оно было от Гостахама. Он писал, что глубоко опечален утратой, которую нам пришлось понести, и приглашает нас пожить у него, пока наши дела не поправятся.

Так в одно морозное зимнее утро я узнала, что мне впервые придется покинуть дом, где прошло мое детство, и отправиться в дальние края. Если бы матушка сказала, что нам придется ехать в христианские земли, где женщины варваров выставляют свое тело всем напоказ, едят опаленное свиное мясо и моются только раз в год, путь едва ли показался бы мне более дальним.

Весть о нашем грядущем отъезде разлетелась по деревне очень быстро. Женщины стали приходить в наш дом с маленькими детьми. Сняв шарфы, они распускали волосы, приветствовали других и подсаживались к пришедшим раньше. Дети постарше собирались и играли в своем углу.

— Пусть это будет последней вашей печалью, — сказала Кольсум, которая вошла и в знак приветствия поцеловала матушку в обе щеки. Из глаз матушки брызнули слезы.

— Это все комета, — сочувственно добавила Кольсум. — Простые люди не могут сопротивляться такой силе.

— Муж мой, — сказала матушка так, будто отец все еще был жив, — зачем ты хвалился, что все идет хорошо? Зачем навлек гнев кометы?

Зейнаб сделала гримаску:

— Махин, помнишь мусульманина, который путешествовал из Исфахана в Табриз, чтобы обогнать ангела смерти? Когда он прибыл, Азраил поблагодарил его за то, что он прибыл вовремя. Твой муж не сделал ничего плохого. Он просто исполнил волю Аллаха.

Моя матушка слегка ссутулилась, как и всегда, когда ей было грустно.

— Я никогда не думала, что придется покинуть мой единственный дом, — ответила она.

— Пусть в Исфахане ваша судьба переменится. Да будет на то воля Аллаха, — сказала Кольсум.

Она принесла дикой руты, которая должна была защитить нас от дурного глаза. Кольсум подожгла траву углем из печи, и скоро воздух наполнил резкий запах.

Мы предложили гостям чая и фиников, которые принесла Кольсум, ведь у нас не было ничего, чтобы угостить их. Я поднесла чашку чая Сафе, самой старой жительнице деревни, которая сидела в углу и курила кальян. Он булькал, когда она втягивала дым.

— Что ты знаешь о своей новой семье? — выдохнув, спросила она.

Это был настолько внезапный вопрос, что на минуту в доме воцарилась полная тишина. Все знали, что мой дед женился на матери отца много лет назад, когда навещал друзей в нашей деревне. Тогда он уже был женат и жил с первой женой и Гостахамом в Ширазе. Как

только у бабушки родился отец, он изредка навещал их, посылал деньги, но по понятным причинам семьи близки не были.

— Очень мало, — ответила матушка. — Я не видела Гостахама больше двадцати пяти лет. Я встречалась с ним только один раз, когда он останавливался у нас дома по пути в Шираз, город поэтов. Он ехал туда навестить родителей. Уже тогда он был одним из самых прославленных ковроделов в столице.

— А жена? — спросила Сафа. Голос ее был хриплым от дыма в легких.

— Я ничего о ней не знаю, кроме того, что она родила Гостахаму двух дочерей.

Сафа удовлетворенно выдохнула.

— Если ее муж успешен, значит, ей приходится вести большое хозяйство, — сказала она. — Надеюсь только, что его жена будет достаточно щедрой и справедливой, чтобы найти для вас работу.

Слова Сафы заставили меня осознать, что мы с матерью больше не хозяйки собственных жизней. Если мы любили печь черный и хрустящий хлеб, а она нет, мы будем есть тот, который любит она. И как бы мы себя ни чувствовали, мы должны будем молиться о ней. Думаю, Сафа заметила мое замешательство, потому что прекратила курить, дабы утешить нас.

— У брата твоего отца доброе сердце, раз он пригласил вас жить к себе, — сказала она, — только задабривайте его жену, и они будут хорошо к вам относиться.

— Иншалла, — сказала моя матушка. Но голос ее звучал неуверенно.

Я оглядела добрые лица всех, кого знала: моих подруг, подруг матери. Все эти женщины заменили мне теток и бабушек, пока я росла. Я не могла даже представить, как буду жить, не видя их: Сафу с лицом, сморщенным, как старое яблоко, худую и ловкую Кольсум, известную своими знаниями о травах, и, наконец, мою лучшую подругу Голи.

Она сидела рядом со мной, держа на руках новорожденную дочь. Когда ребенок начинал плакать, Голи спускала с плеча рубаху и подносила его к груди. Щеки Голи были розовыми, как и у ребенка; обе они выглядели здоровыми и довольными. Я всем сердцем желала, чтобы моя жизнь была такой же.

Закончив кормить дочь, Голи передала ее мне. Я вдохнула запах новорожденной, свежий, как у побега пшеницы, и прошептала:

— Не забывай меня.

Я погладила крошечную щечку, жалея о том, что не услышу ее первых слов, не увижу первых шагов.

Голи обняла меня.

— Подумай, как велик Исфахан! — сказала она. — Ты будешь гулять по самой большой площади из всех, которые строили когда-либо. А твоя матушка сможет выбрать мужа для тебя из многих тысяч женихов!

На мгновение я оживилась, будто мои старые мечты все еще осуществимы, но потом опять вспомнила о своей судьбе.

— У меня нет приданого, — напомнила я ей. — Какой мужчина возьмет меня ни с чем?

В комнате опять стало тихо. Моя матушка стала раздувать руту, на лбу у нее появились морщины. Другие женщины заговорили наперебой:

— Не переживай, Махин-джоон! Новая семья поможет тебе!

— Они не позволят такой милой девушке остаться старой девой!

— Хорошего жеребца для каждой кобылы и крепкого солдата для каждой луноликой!

— Шах Аббас, может быть, захочет забрать твою дочь в свой гарем, — сказала Кольсум матери, — он будет откармливать ее сыром и сладостями, и грудь у нее будет больше, а живот круглее, чем у нас всех.

Когда я в последний раз пошла в хаммам, то увидела свое отражение в металлическом зеркале. Моя грудь не была такой пышной, как у Голи или других кормящих матерей. Каждая жилка на моих плечах выпирала, а лицо казалось изможденным. Я была уверена, что ни для кого не смогу стать луноликой, но улыбнулась, представив, как мое худое костлявое тело становится женственным. Мою улыбку заметила Зейнаб и начала смеяться. Она хохотала так, что согнулась пополам, и скалилась, будто лошадь, которая пытается освободиться от уздечки. Я покраснела до корней волос, когда поняла, что Кольсум просто хотела быть добрее ко мне.

Сборы не заняли у нас много времени — вещей было совсем мало. Я положила смену черной траурной одежды в ковроплетанный хурджун между двумя тяжелыми одеялами и наполнила водой столько кувшинов, сколько смогла. В утро нашего отъезда соседи принесли нам хлеб, сыр и сушеные фрукты для долгого пути. Кольсум бросила пригоршню гороха, чтобы узнать, удачный ли сегодня день для путешествия. Предсказания были благоприятными, и она подняла священную книгу Корана и трижды обвела ею вокруг наших голов. Молясь о благополучном путешествии, мы прикоснулись к ней губами. Перед тем как мы отправились в путь, Голи вытащила кусочек засушенного плода у меня из сумки и спрятала в своем рукаве. Она «украдала» что-то, и однажды я должна вернуться за этим.

— Надеюсь, — прошептала я.

Больней всего мне было прощаться именно с Голи.

Мы должны были ехать вместе с торговцем мускусом по имени Абдул-Рахман и его женой. За плату они сопровождали путешественников из города в город. Они часто бывали на северо-восточной границе страны, чтобы найти там мускус из Тибета и продать его в больших городах. От их сумок, одеял и палаток исходили ароматы, за которые на рынках платили баснословные деньги.

У верблюда, которого отвели мне и матери, были мягкие черные глаза, обведенные для защиты сурьмой, и густой косматый мех того же цвета, что и песок. Абдул-Рахман украсил его славный нос полосой красной шерстяной ткани с голубыми кисточками на манер уздечки. Мы забрались на него поверх горы свернутых ковров и мешков с едой и вцепились в горбы. Верблюд вышагивал плавно, но он был дурного нрава, и от него воняло, как от отхожих мест в нашей деревне.

Я никогда не видела мест к северу от нашей деревни. Когда мы миновали живительные горные потоки, земли стали бесплодными. Бледно-зеленые кустарники сражались за жизнь совсем как мы. Кувшины с водой становились здесь ценней мускусных желез. По пути мы часто замечали разбитые кувшины, а иногда и скелеты тех, кто недооценил длину путешествия.

Абдул-Рахман вел наш караван вперед в ранние часы, напевая верблюдам, а они шли, повинаясь переливам его голоса. Солнце палило нещадно, и мои глаза болели от яркого белого света. Земля была холодной, редкие растения, которые мы заметили, были

подернуты инеем. К концу дня мои ноги окоченели настолько, что я уже не чувствовала их. Как только стемнело, матушка ушла в палатку спать. Она сказала, что не может больше видеть звезды.

Через десять дней пути показались горы Загрос, что означало близость Исфахана. Абдул-Рахман сказал, что где-то высоко в горах берет начало единственный источник жизни Исфахана, Зайенде-Руд, или Вечная река. Сначала это было лишь бледно-голубое сияние, прохлады которого доходила до нас даже через многие фарсахи. Как только мы приблизились, река показалась мне невероятно длинной: никогда не видела воды больше, чем в горных реках.

Подойдя к берегу, мы спустились с верблюдов — их нельзя было вводить в город — и остановились, чтобы полюбоваться рекой.

— Восхвалим Аллаха за его щедрость! — воскликнула матушка, а река неслась; мимо проплыла ветка, слишком быстро, чтобы ее поймать.

Восхвалим, — согласился Абдул-Рахман, — эта река дает жизнь сладким исфаханским дыням, освежает городские улицы, наполняет колодцы. Без нее Исфахана не существовало бы.

Мы оставили верблюдов другу Абдул-Рахмана и продолжили наше путешествие пешком по мосту Тридцати Трех Арок. Пройдя половину пути, мы остановились под одной из них, чтобы насладиться видом.

Я вцепилась в матушкину руку:

— Смотри! Смотри!

Река текла, словно и она восхищалась; отсюда мы видели другой мост, а за ним сиял третий. Один из них был выложен синей черепицей, на другом есть чайханы, а арки третьего похожи на бесконечные двери, зовущие странников раскрыть секреты города. Перед нами раскинулся Исфахан — с тысячами домов, садов, мечетей, базаров, школ, караван-сараев, кебабных, чайхан, и мы дрожали от восторга. От моста начиналась длинная улица, обсаженная деревьями, она тянулась через весь город и вела к площади, построенной шахом Аббасом, и площадь эта была настолько известна, что даже дети знали ее название — Лик Мира. Мои глаза остановились на Пятничной мечети, огромный голубой купол которой сверкал в солнечном свете. Оглядевшись, я увидела другой голубой купол, затем еще один и потом

дюжины, блистающие на фоне домов цвета шафрана, и отныне Исфахан стал для меня россыпью бирюзы, оправленной в золото.

— Сколько человек здесь живет? — громко спросила матушка, чтобы ее было слышно в шуме толпы.

— Сотни тысяч, — ответил Абдул-Рахман, — больше, чем в Лондоне или Париже. Больше Исфахана только Константинополь.

— Ох! — восхищенно воскликнули мы. Невозможно было представить себе столько людей в одном месте.

Перейдя мост, мы попали на крытый базар и пошли через ряды, где торговали специями. Мешки, стоявшие на прилавках, были наполнены мятой, укропом, кориандром, засушенным лимоном, куркумой, шафраном и еще многими приправами, которых я даже не знала. Я уловила душистый, горьковатый запах пажитника, и у меня потекли слюнки. Им заправляли тушеное мясо ягненка, которого мы не ели уже много месяцев.

Вскоре мы добрались до караван-сарая, принадлежащего брату Абдул-Рахмана. Здесь был двор, где могли отдохнуть ослы, мулы и лошади, а окружала его прямоугольная галерея из комнат. Мы поблагодарили Абдул-Рахмана и его жену за помощь в пути, пожелали им всего хорошего и расплатились за постой.

Наша комната была маленькой, без окон, стены были толстыми, а засов тяжелым. На полу лежала свежая солома, других спальных принадлежностей я не заметила.

— Хочу есть, — сказала я матушке, вспоминая кебаб из ягненка, который жарили у моста.

Она развернула грязный лоскут и печально посмотрела на несколько монет, оставшихся в нем.

— Прежде чем встретиться с родственниками, мы должны помыться, — ответила она. — Придется обойтись остатком хлеба.

Хлеб был черствым и крошился; чтобы выдержать пустоту в желудках, мы решили лечь спать. Пол был жестким по сравнению с песком пустыни, меня качало, потому что я привыкла к плавному колыханию верблюжьих горбов. Я чувствовала себя очень уставшей и заснула сразу, как только голова моя коснулась соломы. Посреди ночи мне приснилось, что отец тербит меня за ногу, пытаюсь разбудить к очередной пятничной прогулке. Я вскочила, чтобы последовать за ним, но отец уже скрылся за дверью. Я попыталась догнать его, но только и

смогла увидеть, как отец поднимается по горной тропе. Чем быстрее я бежала, тем быстрее он поднимался. Я прокричала его имя, но отец не остановился и даже не повернулся. Внезапно я проснулась в поту, не понимая, где я, солома впивалась в спину.

— Мамочка?

— Я здесь, доченька, — слышался в темноте голос матушки, — во сне ты звала отца.

— Он не взял меня с собой, — пробормотала я, все еще в паутине сна.

Матушка прижала меня к себе и начала гладить по голове. Я лежала рядом с ней, закрыв глаза, но снова заснуть не могла. Вздохнув, я сначала повернулась на один бок, потом на другой. Во дворе принялся кричать осел, казалось, он оплакивает свою судьбу. Затем матушка начала говорить, и голос ее будто заставлял рассеиваться ночную тьму.

Сначала не было, а потом стало. Прежде Бога не было никого.

Сказки матушки помогали мне с самого детства. Иногда они помогали мне доискаться до сути той или иной задачи, словно очищали лук от шелухи, или советовали, как решить ее; иногда успокаивали так, что я засыпала утешительным сном. Отец часто говорил, что ее сказки лечат лучше любого лекарства. Вздохнув, я прижалась к матушке, будто маленький ребенок, зная, что ее голос бальзамом будет литься на мое сердце.

Давным-давно жила на свете дочь мелкого торговца, и звали ее Гольнар. Целыми днями она помногу работала в саду. Все любили огурцы, которые она выращивала, они были хрустящими и вкусными, капуста — большой и сочной, редиска — жгучей и ароматной. Девушка очень любила цветы, однажды она попросила отца разрешить ей посадить в углу сада розовый куст. Хотя семья была бедной и нужен был каждый кусочек еды, которую девушка выращивала, отец решил вознаградить ее позволением.

Гольнар продала немного овощей богатому соседу за отросток розового куста и посадила его, расчистив место от огурцов. Вскоре куст зацвел, появились крупные бутоны. Цветы были больше

мужского кулака и белей луны. Когда дул теплый ветерок, куст начинал раскачиваться, будто танцевал в ответ на песни соловьев, а его белые бутоны раскрывались, как кружащаяся юбка.

Отец Гольнар продавал кебаб из печени. Однажды он вернулся и рассказал, что продал последний кебаб мастеру-седельщику и его сыну. Торговец похвастался, что его дочь — замечательная труженица, никогда ей не станет плохо из-за едких испарений дубящейся кожи. Вскоре мастер вместе с семьей посетил дом торговца. Гольнар не понравился сын мастера: его плечи и руки были тощими, а глаза похожи на козы.

Семьи выпили чаю, побеседовали, после этого родители уговорили Гольнар показать юноше свой сад. Она неохотно вывела его туда. Юноша похвалил ее овощи, фрукты и травы, а розовый куст поразил его своей красотой. Смягчившись, она попросила юношу принять цветы в подарок семье и срезала несколько больших стеблей. Когда они вдвоем вернулись в дом, руки их были полны роз, и родители заулыбались, представив их в день свадьбы.

Вечером, когда гости уставшей и сразу легла спать, даже не взглянув перед этим на свои розы. На следующее утро тревога разбудила ее, и девушка выбежала на улицу. Под утренним солнцем куст поник, а на белых лепестках появились грязные пятна. В саду было тихо, все соловьи улетели. Гольнар аккуратно срезала самые тяжелые цветы, но, когда она отвела руки от куста, по ним стекала кровь.

Устыдившись, девушка поклялась, что отныне будет лучше ухаживать за кустом. Она полила землю вокруг него водой, в которой мыла ножи для кебаба, и покрыла ее слоем удобрения, сделанного из крошечных крупинок печени.

Днем от семьи юноши прибыл посланец с предложением брака. Отец сказал, что лучшего юноши ей не найти, а матушка робко прошептала ей о том, что у них появятся дети. Но Гольнар расплакалась и отказалась принять предложение. Родители не могли понять, в чем дело, очень рассердились и, хотя они пообещали девушке послать письмо с отказом, тайком послали записку, где просили дать немного времени на раздумья.

На следующий день ранним утром Гольнар вновь услышала сладкую песнь соловьев и увидела, что розы вновь стали крупными и

горделивыми. Вскормленные соком потрохов, бутоны раскрылись, и цветы сияли теперь, как звезды на предутреннем небе.

Она осторожно срезала несколько цветков, а растение в ответ погладило кончики ее пальцев, испуская такой аромат, словно желало прикосновения девушки.

В день празднования Нового года у Гольнар было столько забот, что ей не удалось полить свой куст. Она помогла матери приготовить и упаковать еду, а затем вся семья пошла к своему любимому месту у реки. Там они встретили мастера с семьей. Отец девушки пригласил их выпить чаю и попробовать засахаренных фруктов. Юноша передавал Гольнар лучшее печенье, и его любезность поразила девушку (ведь она думала, что отказала ему). Родители уговорили их прогуляться вместе у реки. Когда они остались наедине, юноша поцеловал кончик ее указательного пальца, но Гольнар повернулась и убежала.

Когда девушка вернулась домой, уже стемнело. Гольнар решила пойти в сад, чтобы напоить томившийся жаждой куст. Когда она подошла к нему с ведром колодезной воды, внезапно подул ветер и ее волосы запутались в ветвях; куст обнял Гольнар и сжал ее в своих длинных тонких руках. Чем больше она сопротивлялась, тем прочней шипы удерживали ее, царапая лицо. Крича, она вырвалась и, ослепленная кровью, поползла в дом.

Завидев Гольнар в дверях, родители закричали так, будто увидели злого джинна. Поначалу девушка не разрешала прикасаться к ней. Отец схватил ее руки и держал, чтобы матушка смогла промыть раны. К своему ужасу, отец и матушка увидели, что в ее указательном пальце крепко, будто ноготь, торчит крупный черный шип. Когда матушка вытащила его, кровь из пальца начала бить фонтаном.

Отец девушки в ярости выбежал из дома. Через мгновение раздались звуки топора, разрубающего куст до сердцевины. С каждым ударом Гольнар дрожала все больше и в горестной ярости рвала на себе волосы. Матушка уложила ее в постель, где девушка пролежала несколько дней, рыдая в бреду и горячке.

По настоянию родителей через две недели она вышла замуж за юношу с козьими глазами. Молодожены поселились в одной из комнат дома мужниной семьи, и когда муж по вечерам возвращался домой, от

него пахло кровью и дубильными смесями. Когда он приходил к Гольнар, она отворачивалась, вздрагивая от каждого его прикосновения. Вскоре она забеременела, родила ему сына, а за ним двух дочерей. Каждое утро она поднималась затемно, одевалась в старую одежду, одевала своих детей в поношенное платье, еще более истрепанное, чем ее. И не было у нее больше времени выращивать цветы, а проходя мимо сада, в котором цвел розовый куст, Гольнар закрывала глаза и вспоминала аромат роз, сладкий, как сама надежда.

Когда моя матушка окончила рассказ, я начала вертеться, чтобы лечь удобней и избавиться от колючей соломы, но это мне никак не удавалось. Было так неуютно, словно в ухо мне залетела пчела.

Матушка прикоснулась к моим щекам и спросила:

— В чем дело, доченька? Ты больна? Тебе грустно?

С моих губ слетел печальный стон, и я притворилась, что засыпаю.

— Я не знаю, зачем рассказала тебе эту историю. Она вылилась из меня до того, как я вспомнила, к чему она, — сказала матушка, будто размышляя вслух.

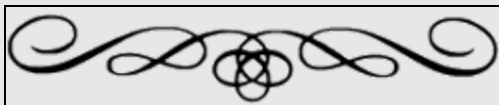
Я помнила сказки, которые рассказывала матушка в нашей деревне. Они никогда не беспокоили меня. Они всегда предсказывали мужа, который выстелит мою дорогу лепестками роз, а не того, что будет пахнуть гнилой воловьей кожей. Я никогда и не подумала бы, что повторю судьбу Гольнар, но сейчас, во мраке этой странной комнаты, этого странного города, сказка матери звучала как пророчество. Отец больше не мог защитить нас, и не было рядом человека, который стал бы нам опорой. Моя матушка была слишком стара, чтобы кто-нибудь захотел взять ее замуж, а у меня не было приданого. С первым появлением кометы все мои надежды на счастье были разрушены.

Мои глаза были открыты; в комнату пробирались лучи бледного света, и я увидела, что матушка смотрит на меня. Она выглядела напуганной, и я опечалилась за нее больше, чем за себя. Сделав глубокий вдох, я постаралась казаться спокойной.

— Мне было нехорошо, но теперь я почувствовала себя лучше, — сказала я.

В глазах ее появилось столько облегчения, что я поблагодарила Аллаха за силу, которую он дал мне, чтобы сказать сказанное.

ГЛАВА ВТОРАЯ



Мы проснулись следующим утром, когда путешественники навьючивали своих мулов, чтобы отправиться в путь. Я не меняла свои черные шаровары и рубаху больше недели, и они стали жесткими от пыли и пота. На последние деньги мы сходили в хаммам неподалеку, где оттирали грязь и мыли волосы до тех пор, пока они не начали скрипеть. Затем мы совершили Великое Очищение, окунувшись в бассейн, в котором поместилось бы еще двадцать женщин. Мойщица терла мне ноги и спину, пока я не почувствовала, что усталость от долгого путешествия растворилась. Пока она работала, я разглядывала свои тощие бока, впалый живот, пальцы в мозолях, жилистые руки и ноги. В мечтах я представляла себя изнеженной, с округлыми, будто дыни, бедрами и грудью. Но это были просто мечты: моя фигура не изменилась, разве что лицо и руки, к моему ужасу, сильно потемнели после стольких дней пути.

После купания мы надели чистую черную одежду и шали и отправились искать Гостахама на площади Лик Мира, которую построил шах Аббас, объявив Исфахан своей новой столицей. Мы вошли через узкие ворота, за которыми, казалось, не должно быть ничего огромного и величественного. Но, ступив на площадь, мы застыли в изумлении.

— Вся наша деревня... — начала я.

...могла бы дважды поместиться на этой площади. Не зря люди называют Исфахан «половиной мира», — закончила матушка, которой пришла в голову та же мысль.

Площадь была такой большой, что люди казались фигурками с миниатюры. Минареты Пятничной мечети были такими тонкими и высокими, что, когда я смотрела на них, у меня начинала кружиться голова — казалось, их вершины скрывались за облаками.

Огромный купол мечети словно парил в воздухе; только рука Аллаха могла вести человека, сделавшего глину такой легкой! Ворота, ведущие к базару, были украшены фресками с изображением битвы; она казалась настоящей, словно войны сражались прямо перед нашими глазами. Каждый кусочек площади словно бросал вызов обыденности.

— Ханум, пожалуйста, проходите вперед! — раздался окрик позади нас — мужчина уважительно обращался к замужней женщине.

Мы извинились и отошли, чтобы пропустить его. Проходя, человек оглянулся и с улыбкой сказал:

— Первый раз здесь? До сих пор люблю наблюдать изумление на лицах приезжих.

Воистину изумление. На торцах площади находился лазурно-золотой дворец шаха Аббаса, его собственная мечеть с золотым куполом, который сиял, как крошечное солнце. На длинных сторонах располагались выход к Большому базару и Пятничная мечеть — место, которое должно было напоминать торговцам о честности.

— Власть, деньги и Аллах — все здесь, — оглянувшись по сторонам, сказала матушка.

— И чавгонбози, — добавила я, заметив стойки ворот для игры в конное поло на противоположных краях площади: такого расстояния было достаточно, чтобы проводить соревнования.

С одного из минаретов Пятничной мечети муэдзин начал созывать людей на молитву. Воздух пронизал его благозвучный, слегка носового тембра голос.

— Аллах Акбар! — возгласил муэдзин, и его голос несся над нами.

Пока мы шли по площади, я заметила, что многие здания выложены черепицей цвета ясного неба и солнца. Издалека Пятничная мечеть казалась голубой, но, подойдя ближе, я увидела, что ее оживляет вьющийся бело-золотой орнамент. Лазурно-золотые гирлянды обвивали купол шахской мечети цвета лимона. На арочных воротах, ведущих в мечети, распускались белые цветы из черепицы, казавшиеся звездами в закатном небе. Фасад каждого здания был украшен орнаментом. Казалось, лучший ювелир выбрал безупречную бирюзу, редчайшие сапфиры, ярко-желтые топазы и чистейшие бриллианты и собрал их в прекрасные узоры, переливающиеся всеми цветами и излучающие свет.

— В жизни не видела ничего прекрасней, — сказала я матушке, на минуту даже забыв о том горе, что привело нас сюда.

Но она не забыла.

— Это место слишком большое, — ответила она, обводя рукой огромную площадь, и я поняла, что матушка тосковала по нашей маленькой деревне, где она знала всех и все.

Площадь была полна людей. Вокруг сновали мальчишки, держа чашки с каким-то горячим темным напитком, и кричали: «Кофе! Кофе!» Я никогда не пробовала этого питья, но запах был сильный, как от горячей еды. Два жонглера перебрасывали друг другу мячи, прося зрителей быть щедрыми и подать им пару монет. Нас сотню раз останавливали торговцы, предлагая одежду, краску для век и даже бивни слонов, огромных животных из Индии, славящихся своей памятью.

— Через несколько минут мы достигли дворца шаха. По сравнению с Пятничной мечетью он казался скромным. В нем было всего несколько этажей, он был защищен всего лишь парой толстых резных деревянных дверей, восемью медными пушками и отрядом стражников, вооруженных мечами. Матушка подошла к одному из них и спросила, где ей найти Гостахама, изготавливающего ковры.

— А какое у вас к нему дело? — нахмурившись, спросил стражник.

— Он сказал мне найти его, — ответила матушка.

Стражник презрительно улыбнулся, услышав, как она по-деревенски растягивает гласные.

— Он *вас* пригласил?

— Он из семьи моего мужа.

Стражник посмотрел так, будто сомневался в ее словах.

— Гостахам сейчас в шахской мастерской по изготовлению ковров, за дворцом, — ответил он. — Я скажу ему, что вы пришли.

— Мы пыль под вашими ногами, — поблагодарила матушка, и мы вернулись на площадь.

Рядом был базар чеканщиков, и мы наблюдали, как кузнецы плющили фигурки птиц и животных, чтобы сделать из них чайники, чашки и ложки.

Вскоре стражник нашел нас и отвел к Гостахаму, который ждал у ворот дворца. Меня удивило, как они с моим отцом не похожи.

Конечно, они были всего лишь сводные братья, но мой отец был высоким, всегда выбрит настолько чисто, насколько это возможно было сделать ножом. Гостахам же был низенький, круглый, как картофелина, с раскосыми глазами, носом, изогнутым, как ястребиный клюв, и большой седой бородой. Он тепло поприветствовал нас, сказал, что рад нашему приезду в Исфахан. Улыбнувшись, он взял меня за руки и сказал:

— Так... значит, ты и есть дочь Исмаила. У тебя его смуглая кожа, его прямые волосы. А эти прекрасные маленькие ручки я узнаю где угодно.

Он сделал вид, будто изучает мои руки, потом сравнил их со своими. Я рассмеялась: для мужчины они были очень маленькие, узкие, с длинными пальцами.

— Семейное сходство очевидно, — сказал он. — Ты ткешь ковры?

— Конечно, — сказала матушка. — Она делала лучшие ковры в нашей деревне.

И она рассказала Гостахаму историю, как мы продали мой бирюзовый ковер еще до того, как я закончила его.

— Да пребудут с тобой руки Али, — сказал пораженный Гостахам.

Он расспросил матушку о новостях в деревне. Пока мы шли по площади, она начала рассказывать ему об отце. Слова лились из нее, словно она хранила их в себе слишком долго, и столько чувства было в ее рассказе, что у Гостахама на глазах выступили слезы.

Мы покинули Лик Мира через узкие ворота, несколько минут шли через квартал Четырех Садов и вскоре достигли дома Гостахама. Квартал разделяли сады для отдыха, оголенные зимой. Кедр высился в начале улицы, где жил Гостахам. Снаружи все дома выглядели неприступными крепостями. Они были скрыты за толстыми стенами, которые защищали хозяев от любопытных глаз.

Гостахам провел нас через навесные деревянные ворота, и мы остановились на секунду, чтобы оглядеть его дом. Он был так велик, что мы не знали, куда пойти сначала. Гостахам миновал узкий коридор, поднялся по ступеням и провел нас в *бируни*, наружные комнаты, где принимали гостей-мужчин. В Большой комнате на окнах изображены два зеленых лебедя, пившие воду из фонтана. Потолок и стены украшали белые лепные цветы и виноградная лоза. Рубинового цвета

ковры, сотканые самыми плотными узлами, которые я видела, дополняли мягкие подушки темно-красного цвета. Даже в этот холодный день комната словно излучала тепло.

Гостахам поднял окна, открывшиеся до земли, и мы вошли в большой внутренний двор. В тени двух тополей я увидела бассейн, наполненный водой. Это заставило меня вспомнить о единственном дереве в моей деревне — большом кипарисе. Иметь собственную тень для единственной семьи и собственные деревья показалось мне невообразимой роскошью.

Во дворике мы встретили Гордийе, жену Гостахама. То была полная женщина, с крупными широкими бедрами и тяжелой грудью. Она медленно приблизилась и поцеловала каждую из нас в обе щеки. Один из ее слуг только что вскипятил воду, и, наблюдая за тем, как она доликает воду в чайник, я удивлялась, что в таком богатом доме заваривают уже использованные листья. Чай был безвкусный, как вода, но мы поблагодарили Гордийе:

— Пусть ваши руки никогда не болят.

— Сколько тебе лет? — спросила она меня.

— Пятнадцать.

— А! Тогда тебе нужно встретиться с Нахид. Ей тоже пятнадцать, и она дочка женщины, которая живет по соседству.

Она повернулась к моей матери.

— Нахид из очень хорошей семьи. Я все надеюсь, что они закажут у нас ковер, но пока они этого не сделали.

Меня удивило, что эта женщина хочет продать как можно больше ковров, хотя у нее и так было все, что только можно желать. Но прежде чем я успела спросить что-нибудь, Гордийе сказала, что мы, наверное, устали, и проводила нас в маленькую комнатку, втиснутую между кладовой и отхожим местом. Здесь не было ничего, кроме подстилок, одеял и подушек.

— Прошу прощения за то, что комната такая неуютная, — сказала Гордийе, — но все остальные к вашему приезду были заняты.

Моя матушка попыталась скрыть свое разочарование. Стены в комнате были грязными, а на полу виднелись полосы пыли. Дом Гостахама был дворцом по сравнению с нашим, но комната, которую мы отныне должны делить, казалась гораздо бедней.

— Ничего, — учтиво ответила матушка, — мы и так не заслуживаем вашей доброты.

Гордийе оставила нас отдохнуть. Я развернула свою подстилку, стряхнула пыль и тут же раскашлялась. Я услышала, как один из слуг вошел в комнату по соседству с нашей, а другой открыл дверь в отхожее место. Разнесся густой запах, резче верблюжьего.

— Мы теперь слуги? — с тревогой спросила я матушку.

Она лежала на своей подстилке, и глаза ее были широко открыты.

— Пока нет, — ответила она.

Но я заметила, что ей не дает покоя тот же вопрос.

Отдохнув, мы присоединились к Гостахаму и Гордийе за ужином. Какой пир предстал нашим глазам! Я никогда не видела такой еды даже на свадьбах, однако для Гостахама и Гордийе это было обычной трапезой. Здесь был охлажденный суп из простокваши с укропом, мятой, зеленым изюмом, орехами и лепестками роз; тушеная курица с подслащенным барбарисом; нежные баклажаны, приготовленные с чесноком и пахтой; рис, приправленный шафраном, с хрустящей коричневой корочкой; пряный овечий сыр; горячий хлеб, а также тарелка редиски, свежей мяты и горьких трав для пищеварения. В этот вечер я съела слишком много, будто пытаюсь восполнить то время, когда мы недоедали.

Когда все наелись, моя матушка начала говорить:

— Драгоценные хозяева, высокая честь нам, что вы приняли нас и накормили так, будто мы расстались только вчера. А мы ведь не виделись больше двадцати пяти лет, почтенный Гостахам. За это время ты поднялся выше, чем самая высокая из звезд. Как же ты пришел к этому: к прекрасному дому, к успеху, которого желает любой человек?

Гостахам улыбнулся и сложил руки на своем большом животе.

— Более того, когда я сам просыпаюсь утром, оглядываюсь вокруг, то не верю своим глазам. А когда вижу Гордийе рядом со мной, понимаю, что мечты мои стали явью. И я благодарю Аллаха за дарованное мне.

— Пусть оно и дальше прирастает, — отозвалась матушка.

— Но так было не всегда. Задолго до твоего рождения, — сказал он мне, — мой отец понял, что если он вернется в родную деревню, то останется беден. Наследство он получил бы маленькое, вот и решил

переехать в Шираз попытать счастья. Мы были так бедны, что мне пришлось помогать ему ткать ковры. В двенадцать лет я обнаружил, что умею вязать узлы быстрее многих других.

— Как и моя дочь, — гордо сказала матушка.

— Наш дом был так мал, что в нем не было места для ткацкого станка. В хорошую погоду я работал на заднем дворе, должно быть, как и ты. Однажды я начал ткать ковер так быстро, что люди собрались поглядеть. Тогда мне очень повезло — один из них был хозяином самой крупной мастерской Шираза. Он никогда не искал учеников специально — зачем, если можно просто учить сыновей своих рабочих. Но, увидев, как быстро я могу ткать, он предложил мне работу. Следующие пять лет были самыми тяжелыми. Хозяин мастерской требовал от каждого по способностям, не обращая внимания на возраст. Из-за того что мог работать быстро, я должен был выткать ковров больше, чем любой другой подмастерье. Однажды хозяин заметил, что я отошел от станка. В тот день он приказал своим подручным бить меня по спине и ступням, пока я не начну кричать. Только глупец будет калечить руки ткача, но какое хозяину было дело до того, смогу ли я ходить...

Его история потрясла меня. Я слышала о детях младше меня, в основном сиротах, которых заставляли часами работать за ткацким станком. Иногда в конце рабочего дня им не хватало сил подняться с земли, и опекунам приходилось тащить их домой. Эти дети проводили годы сидя за станком, поэтому ноги у них вырастали искривленными, а головы казались слишком большими для искалеченных тел. Когда они пытались ходить, то ковыляли, как старики. Я была рада, что выросла в деревне, где никто не позволил бы ткацкому станку искалечить ребенка. Но, несмотря на это, когда мне приходилось работать за станком в жаркий весенний день, я завидовала птицам и даже бегущим по улице собакам. Ведь они могут умчаться куда захотят. Быть юным и подолгу сидеть смирно и работать, когда в жилах бурлит кровь, хочется смеяться и отдыхать, — такой труд заставлял взрослеть быстро.

— Все дело в том, что хозяин мастерской был прав, — продолжил Гостахам, — я отлынивал, потому что не хотел быть ткачом. Когда выдавалась возможность, я наблюдал за работой художника и красильщика. Художник позволял мне копировать некоторые из его

образцов, а красильщик брал с собой на базар и показывал, как он подбирает оттенки для шерсти. Тайком я учился всему, чему мог.

Мне никогда не приходило в голову, что можно быть не только ткачом. Потому я внимательно слушала Гостахама, невзирая на одолевающий меня после сытного ужина сон.

— Моему мужу не пришлось учиться много, — перебила Гордийе. — Он чувствует цвет лучше, чем кто-либо.

Довольный похвалой жены, Гостахам с улыбкой откинулся на подушки.

— В своем честолюбии я решил сказать главному художнику, что хочу выткать свой ковер. Он отдал мне образец, которым уже пользовался, и позволил скопировать его. Собрав все свои деньги, я пошел на базар и купил самой лучшей шерсти, какую смог себе позволить. Часами я выбирал цвета; торговцы даже начинали кричать, чтобы я купил какие-нибудь краски или же уходил прочь. Но я должен был быть совершенно уверен, что выбрал нужные оттенки. К тому времени мне было семнадцать. Понадобился год, чтобы самому выткать ковер в свободное от работы время. Моя матушка была довольна, так как это могло принести денег семье. Но затем я пошел на величайший риск, и именно благодаря этому вы видите меня здесь, в прекрасном доме, с женой, своей красотой затмившей самые яркие звезды.

Я выпрямилась, готовая слушать о настигшей Гостахама удаче.

Я услышал, что шах Аббас Великий собирается приехать в Шираз и каждый день у него будет аудиенция. Я закончил ковер, свернул его, закинул на спину и отправился во дворец. Страже я сказал, что это подарок. Его развернули, проверили, нет ли там убийцы, зверя или отравы, и обещали показать ковер шаху.

— Воистину смелый поступок — расстаться со своей единственной драгоценностью! — воскликнула моя матушка.

— Ковер был передан шаху после того, как он выслушал признание от слуги, обвиненного в воровстве, и приказал высечь его, — продолжил Гостахам. — Думаю, он был готов услышать более приятные вести. Когда мой ковер раскатали перед ним, он завернул уголок, чтобы проверить плотность узлов. Я боялся, что шах прикажет унести его, но он сказал, что создатель этого ковра прославится. Глядя на меня глазами, узревшими, казалось, и мою бедность, и мое

честолюбие, шах произнес: «Каждый день короли преподносят мне богатейшие дары, но никто из них не смог пойти на ту жертву, на которую пошел ты». Мне очень повезло — шах Аббас открыл в Исфахане королевскую мастерскую, чтобы ткать роскошные ковры для своих дворцов или продавать их богачам. Ему настолько понравился мой ковер, что он решил нанять меня в мастерскую на год. Моя матушка чуть не побила меня, когда я сказал, что отдал ковер. Теперь же она восхваляла имя шаха.

— Эта история историй! — сказала матушка.

— Но то было лишь начало пути, — ответил Гостахам. — Когда я начал работать в королевской мастерской, был низшим из низших. К счастью, нам ежегодно выплачивали жалованье. Хотя мое и было самым маленьким, его хватало на жизнь и на то, чтобы высылать деньги домой. Условия здесь были гораздо лучше, чем в Ширазе. Мы выполняли обязательную работу с рассвета до полудня, а после могли работать для себя. С разрешения шаха после обеда я оставался учиться у мастеров.

— Так вы хорошо знакомы с шахом? — удивилась я, ведь шах Аббас был вторым после Аллаха.

— Я лишь его скромный слуга, — сказал Гостахам. — Он очень интересуется коврами и даже умеет ткать их сам. Время от времени он заходит в мастерскую — она находится недалеко от дворца, — наблюдает за работой мастеров, иногда мы обмениваемся парой слов. Но вернемся к моему рассказу. Один их красильщиков заинтересовался мной и начал обучать меня искусству правильно сочетать краски. И вот уже почти двадцать лет я занимаюсь этим. После того как моего почтенного наставника забрал к себе Аллах, я стал одним из помощников главного красильщика.

— Это вторая по значению должность в мастерской, — гордо добавила Гордийе. — И возможно, когда-нибудь он станет главой всей мастерской.

— Необязательно, — возразил Гостахам. — У меня есть сильный соперник, Эфшин, помощник главного художника. А я думаю, что шах больше впечатлен работой художников, чем красильщиков. Но это ничего не изменит в моей жизни. Потому что человек, который сделал меня своим подмастерьем, научил всему, что знал, и отдал мне в жены свою дочь, был красильщиком.

И он улыбнулся Гордийе с такой любовью и желанием, что это напомнило мне, как смотрел на матушку мой отец. Матушка тоже заметила это, и на миг ее глаза наполнились слезами.

— А какие именно ковры вы ткете в своей мастерской? — спросила я, надеясь, что Гостахам перестанет смотреть на жену.

— Самые лучшие в мире, — ответил он. — Ковры, изготовление которых требует армии мастеров. Ковры, которые шах держит свернутыми в темных комнатах, чтобы они никогда не пострадали от солнечного света. Ковры, которые заказывают короли из других стран, с вышитыми серебряной нитью гербами. Ковры, которые будут бесценны еще долгое время после того, как мы все обратимся в прах.

— Да снизойдет благословение Аллаха на шаха Аббаса! — воскликнула Гордийе.

— Если бы не он, я до сих пор был бы ткачом в Ширазе, — согласился Гостахам, — он помог достичь успеха не только мне, он помогает возвыситься самому искусству создания ковров.

Было уже поздно. Мы с матерью пожелали хозяевам спокойной ночи и ушли спать в нашу маленькую комнату. Завернувшись в одеяло, я думала о семьях, которым удача сопутствует повсюду. Возможно, теперь, когда мы живем в Исфахане, в доме такой семьи, удача наконец улыбнется и нам, несмотря на зловещие предзнаменования.

На следующий день Гордийе отправила посланца к матери Нахид сообщить, что я недавно прибыла с юга и что я ровесница ее дочери. В ответ та передала, что ждет нас в гости после обеда. Когда Гордийе сказала, что время идти, я пригладила волосы под шарфом и объявила, что готова.

— Ты не можешь выйти из дома в таком виде! — возмущенно сказал она.

Я посмотрела на свою одежду. На мне был халат с длинными рукавами, длинная рубаха и шаровары, потому что я все еще была в трауре. Я прижала волосы к вискам, убирая выбившиеся из-под шарфа пряди. Одежда, которую я носила, считалась скромной даже для деревни.

— Почему не могу?

— В городе все по-другому, — ответила она. — Здесь девушки из хороших семей полностью закрывают себя.

Я не смогла проронить ни слова в ответ. Гордийе отвела меня в свою комнату. Она открыла сундук, набитый одеждой, и рылась в нем, пока не нашла то, что искала. Поставив меня перед собой, она сняла мой шарф и разгладила волосы по обеим сторонам лица. Мне хотелось сказать, что это неопрятно. Затем она обернула легкую белую ткань вокруг моей головы и закрепила у подбородка.

— Вот, — сказала она, — теперь ты выглядишь как Нахид и другие девушки дома или в гостях.

Она подняла металлическое зеркало, чтобы я могла посмотреть. Ткань закрывала шею и плечи, но мне не понравилось, каким голым и мясистым казалось теперь лицо. За дни, проведенные в пустыне, оно потемнело, а белая ткань подчеркивала это.

Я отвернулась от зеркала, поблагодарила ее и собралась уходить.

— Подожди, — остановила меня Гордийе, — дай закончить.

Она отряхнула какой-то мешок и умело надела его мне на голову. Несмотря на то что он был белый, под ним было темно и нечем дышать.

— Ничего не вижу, — пожаловалась я.

Гордийе расправила мешок так, что часть кружева накрыла мои глаза. Я снова могла видеть, но теперь только через плетение.

— Это твой пичех, — сказала Гордийе. — Ты должна носить его на улице.

Было трудно дышать, но я вновь поблагодарила ее, думая, что мы закончили.

— Какая же ты забавная малышка! — сказала Гордийе. — Маленькая, быстрая, как зайчик, и такая же торопливая. Куда ты торопишься? Подожди, пока я найду все, что тебе нужно!

Она неторопливо разбирала одежду, пока не нашла большой кусок белой ткани. Она накинула ее мне на голову и показала, как держать, сжав ткань в кулаке у подбородка.

— Теперь ты выглядишь как надо, все скрыто под чадором, — сказала она.

Я выбралась из ее комнаты, чувствуя себя так, будто на меня надели шатер кочевников. Хотя я могла видеть перед собой, если смотрела прямо сквозь кружево, по сторонам я не видела ничего. Я не привыкла быть в чадоре, только в мечети, и наступала на него до тех пор, пока не научилась придерживать над лодыжками.

Кое-как я спустилась в коридор, а Гордийе сказала:

— Пока все будут видеть, что ты не горожанка. Но очень скоро ты научишься двигаться тихо и мягко, словно тень.

Когда мы вернулись в бируни, Гостахам поздравил меня с новым нарядом, а матушка даже сказала, что не узнала бы меня в толпе. Мы с Гордийе направились к дому Нахид, до которого было всего несколько минут ходьбы по кварталу Четырех Садов. Это была освежающая прогулка — по пересекающей квартал широкой улице, построенной шахом Аббасом, усаженной деревьями; в узких каналах струилась вода. Улица была так широка, что по ней, выстроившись в ряд, могли пройти двадцать человек; вокруг росли платаны, чьи листья, похожие на ладони, весной и летом, словно тенистый зеленый купол, укрывали улицу. Дорога вела к Вечной реке и мосту Тридцати Трех Арок, и с нее открывался вид на горы Загрос, зубчатые вершины которых были покрыты снегом. Сады домов, мимо которых мы проходили, были большими, словно парки, а сами дома казались дворцами по сравнению с крошечными, жмущимися друг к другу домами моей деревни.

Скрытая пичехом, я чувствовала себя свободней, потому что могла рассматривать все это и никто не видел, куда я смотрю. Старик с культей вместо ноги просил милостыню, примостившись под кедром около дома Гостахама. Неподалеку бесцельно бродила девушка, глаза ее бегали так, будто она искала то, о чем даже стыдно было сказать. Слева от меня над городом парил, как благословение, бирюзовый купол Пятничной мечети, и казалось, он легче воздуха.

Как только показался мост Тридцати Трех Арок, мы свернули на широкую улицу, ведущую к дому Нахид. Войдя, сняли чадоры и пичехи и отдали их служанкам. Теперь я чувствовала себя гораздо легче.

Нахид напомнила мне принцесс из сказок, которые любила рассказывать матушка. На ней был халат цвета лаванды, оранжевое платье и шаровары, а шея, руки и лодыжки ее были открыты. Она была высокая и тонкая, как кипарисовое дерево, а ее одежда разлеталась, когда она шла. У Нахид были зеленые глаза — подарок русской матери Людмилы — и длинные волнистые волосы, покрытые белой вышитой тканью. Две пряди выбились и лежали на груди. Сзади волосы были заплетены в косы, которые спускались до колен и были повязаны

оранжевой шелковой лентой. Я хотела заговорить с ней, но мы сидели молча, пока взрослые обменивались приветствиями. Матушка Нахид заметила это и сказала:

— Иди, джонам, душа моя, покажи свои работы твоей новой подруге.

— С радостью, — ответила Нахид. Как только мы вошли в ее милую маленькую мастерскую, она прошептала: — Наконец мы сможем поговорить без этих старух!

Ее неуважение позабавило меня.

Нахид открыла сундук, полный бумаги с черными знаками, и протянула один из листов мне. Минуту я смотрела на него, пока не поняла, что умеет Нахид.

— Аллах Всевышний! — воскликнула я. — Ты умеешь писать!

Она была не только красивой, но и образованной. В нашей деревне почти не было грамотных; а девушку, умеющую пользоваться пером, я не видела никогда в жизни.

— Хочешь, я покажу тебе, как это делается?

— Да!

Нахид окунула красное перо в сосуд с черными чернилами и стряхнула излишек. Взяв чистый лист, она крупными буквами написала слово с той легкостью, которую дают только долгие упражнения.

— Вот, — сказала она, показывая мне лист. — Знаешь, что это значит?

Я отрицательно щелкнула языком.

— Это мое имя, — сказала Нахид.

Я смотрела на эти изящные буквы с точкой над ними и росчерком внизу. Я впервые в жизни увидела чье-то имя, написанное чернилами.

— Возьми, это тебе, — сказала она.

Я прижала листок к груди, забыв о том, что чернила могут испачкать мое траурное одеяние.

— Как ты научилась этому?

— Отец учит меня. Он дает мне уроки каждый день.

Нахид улыбнулась, вспомнив отца, и я поняла, как она близка со своим бабб. Сердце мое защемило, и я отвернулась.

— Что-то не так? — спросила Нахид.

Я рассказала ей о том, почему нам пришлось проделать такой долгий путь и приехать в Исфахан.

— Сожалею, что удача отвернулась от тебя, — сказала она, но теперь вы здесь, и я уверена, все изменится к лучшему.

— Да будет на то воля Аллаха.

— Ты, наверное, скучаешь по друзьям? — спросила она, пытаясь заглянуть мне в лицо.

— Только по Голи, — ответила я, — мы дружим с детства. Я могу сделать ради нее все.

В глазах Нахид читался вопрос.

— Если бы Голи доверила тебе тайну, ты бы хранила ее? — спросила она.

— До могилы.

Нахид казалась довольной, словно моя преданность была важным делом.

— Надеюсь, мы станем хорошими подругами, — сказала она.

Я улыбнулась, удивленная тем, как быстро Нахид предложила мне дружбу.

— Я тоже. Можно еще посмотреть, как ты пишешь?

— Конечно, — сказала Нахид. — Вот, возьми калам и попробуй сама.

Нахид показала мне, как написать несколько простых букв. Я была неуклюжа и оставила на бумаге несколько больших клякс, но она сказала, что все делают так вначале. Я поупражнялась немного, и Нахид закрыла чернильницу и убрала ее в сторону.

— Хватит писать, — властно сказала она. — Давай поговорим о чем-нибудь!

Она так заманчиво улыбалась, что я сразу поняла, о чем Нахид хочет поговорить.

— Скажи мне, ты помолвлена?

— Нет, — печально ответила я. — Мои родители собирались найти мне мужа, но потом бабб...

Я не смогла договорить.

— А ты? — спросила я.

— Пока нет, — ответила Нахид, — но собираюсь в скором времени.

— Кого же выбрали твои родители?

Нахид торжествующе улыбнулась:

— Я нашла его сама.

— Как тебе удалось? — изумленно спросила я.

— Теперь, когда я узнала самого прекрасного мужчину в Исфахане, я не хочу выходить замуж за старого козла, которого знают мои родители.

— Где же ты нашла его? — спросила я.

— Обещаешь, что никому не скажешь?

— Обещаю.

— Ты должна поклясться, что не проронишь ни слова, иначе я нашлю на тебя проклятие.

— Клянусь священным Кораном, — сказала я, испуганная мыслью о проклятии. Довольно с меня несчастий.

Нахид радостно вздохнула:

— Он самый лучший наездник в соревнованиях по чавгонбози, проходящих на Лике Мира. Видела бы ты его на лошади!

Нахид поднялась и изобразила наездника, усмирявшего жеребца, вставшего на дыбы. Это рассмешило меня.

— Но, Нахид, — произнесла я с беспокойством, — что, если твоя матушка узнает?

Нахид снова села, чуть запыхавшись.

— Мама не должна узнать, — сказала она, — потому что откажет человеку, которого я выбрала сама.

— Но как ты собираешься приманить его?

— Мне нужно быть очень хитрой. Но я не волнуюсь. Я всегда нахожу способы заставить родителей делать то, чего хочу я. И почти всегда они уверены, что на самом деле это их идея.

— Да исполнит твои мечты Али, князь среди людей! — ответила я, пораженная ее бесстрашием.

Немногие девушки так уверены в своем будущем, как Нахид. Я восхищалась ее уверенностью так же, как и ее гладкой белой кожей, зелеными глазами, шелковым лавандовым халатом и умением писать.

Я не понимала, почему она хочет быть моей подругой, ведь я была всего лишь бедной деревенской девушкой, а она образованной горожанкой, но Нахид, казалось, была одной из тех, кто может нарушать любые правила, если им того захочется.

На следующий день, в пятницу, мы с матерью встали, когда было уже светло, и отправились на кухню поискать что-нибудь к завтраку. Миловидная служанка по имени Шамси дала нам горячего хлеба и мою первую чашку кофе. От его щедрого вкуса у меня на глазах выступили слезы удовольствия. Неудивительно, что все говорили о волшебстве кофейных зерен. Чай вызывал аппетит, кофе же был достаточно сытным, чтобы его утолить. Напиток был сладким, но я высыпала туда еще одну полную ложку сахара, когда никто не видел. Мы с матушкой болтали о чем придется. Щеки ее порозовели, и я заметила, что она тоже щебечет, как птичка.

Пока мы ели, вошла Гордийе и сказала, что ее дочери с детьми собираются прийти в гости, как они всегда делают в святые дни, и сегодня все должны помочь ей с праздничным обедом. Задача была серьезная, так как хозяйство в этом доме оказалось еще больше, чем представлялось на первый взгляд. Здесь было шестеро слуг: кухарка; Али-Асгар, отвечавший за мужскую работу, например забой скота; две служанки, Шамси и Зохре, мыли, чистили и скребли; мальчик по имени Самад, единственной обязанностью которого было готовить и разносить кофе и чай; Таги, мальчик на посылах. Всех этих людей, а также нас с матушкой, Гордийе и Гостахама, их дочерей, внуков и любого, кому случалось заглянуть, нужно было кормить.

Али-Асгар, маленький, жилистый человек с кулаками величиной с его же голову, зарезал утром ягненка и подвесил его, чтобы выпустить кровь. Пока мы чистили острыми ножами баклажаны, он освежевал и разделал тушу. Кухарка, худошавая женщина, которая никогда не переставала двигаться, кинула мясо в котел с кипящей водой, добавив туда соль и лук. Мы порезали баклажаны и посолили, чтобы из них вышел кислый черный сок.

Время от времени появлялась Гордийе и наблюдала за приготовлениями. Взглянув на баклажаны, которые только начали отдавать сок, она сказала матери:

— Больше соли!

Я почувствовала, что матушка хотела возразить, но слова так и остались у нее на языке. Она насыпала еще немного соли.

— Больше! — сказала Гордийе.

Моя матушка сыпала соль, пока почти не погребла под ней баклажаны, и только тогда Гордийе остановила ее.

Как только горький сок вытек, мы промыли баклажаны в холодной воде, и матушка обжарила их в кипящем масле. Когда все куски были готовы, я промокнула их тканью, чтобы она впитала лишний жир. Баклажаны нужно было выложить на мясо перед тем, как подать на стол, чтобы они успели впитать мясной сок.

Приготовление длились уже несколько часов, и Гордийе велела нам приготовить большой кувшин *торши*, острой приправы для риса. Кухарке требовалась целая корзина баклажанов, моркови, сельдерея, турнепса, петрушки, мяты и чеснока, которые мы должны были промыть, очистить и нарезать. Потом она отмерила уксус и все перемешала. Когда мы закончили, мои руки болели от усталости и порезов.

Дочери Гордийе, Мербану и Джанара, зашли на кухню посмотреть, что мы готовим. У старшей, двадцатидвухлетней Мербану, были две свои дочери, выглядевшие как маленькие куклы: в желтом и оранжевом халатиках, с золотыми сережками в ушах и золотыми браслетами на руках. У Джанары, годом младше, был сын, трехлетний мальчик по имени Мухаммед, очень маленький для своего возраста и с сопливым носом. Обе жили с семьями мужей, но приходили в гости к родителям по меньшей мере раз в неделю. Меня представили им как дочь сводного брата отца, «дальнюю родственницу», как сказала Гордийе.

— Сколько же *их* у нас? — хохоча, спросила свою матушку Мербану, и я заметила у нее несколько гнилых зубов. — Сотни?

— Всех и не сосчитаешь, — ответила Гордийе.

Меня поразила такая несдержанность.

— Наша семья очень велика, девочки не всех знают, — объяснила матери Гордийе.

Как раз тут в кухню заглянула Шамси и сообщила Гордийе:

— Прибыл ваш почтенный муж.

— Пойдемте, девочки, ваш отец всегда очень голоден после пятничной молитвы, — сказала Гордийе, выводя дочерей.

На кухне началась суета.

— Быстрей, — прошипела кухарка, протягивая мне несколько покрывал, — расстели их на коврах в Большой комнате. Не задерживайся!

Я последовала за Гордией и ее дочерьми, которые расположились на подушках и разговаривали, не обращая на меня никакого внимания. Мне хотелось присесть и пообедать с ними, но кухарка позвала меня на кухню и дала поднос с горячим хлебом, козьим сыром и мятой; она взяла праздничное блюдо, на котором возвышалась гора баклажанов и зелени, а Зохре с трудом удерживала в руках тяжелое блюдо с рисом. Появилась и моя матушка, неся большой кувшин с напитком, который она сделала из розовой воды и мяты.

Хотя мы даже не поели, вернувшись на кухню, кухарка сказала:
— Можем начинать мыть посуду.

Она подала мне тряпку и жирный горшок, на стенки которого налипли пригоревшие баклажаны. Я смотрела на него, недоумевая, когда же нас позовут обедать. Матушка убрала выбившуюся прядь волос под шарф и начала отскребать горшок из-под риса. Нас непременно скоро позовут! Я попыталась заглянуть в глаза матери, но она была занята своим делом и, казалось, ничего не ожидала.

Как только мы вымыли большую часть посуды, кухарка послала меня обратно в комнату с кувшином горячей воды, чтобы обедавшие могли помыть руки. Все закончили трапезу и расположились удобнее на подушках, а животы их раздулись от съеденного. У меня заурчало в животе, но этого, кажется, никто не заметил. Зохре и Шамси собрали посуду, а затем кухарка разделила оставшуюся еду между шестью слугами, мной и матерью. Али-Асгар, Таги и Самад ели снаружи, а мы, женщины, остались на кухне.

Хотя на стол уже накрыли, кухарка никак не могла перестать работать. Она клала себе кусок, потом поднималась, чтобы помыть ложку или заткнуть кувшин пробкой. Вкус ее блюд обеспечил бы ей хороший брак, но ее суетливость притупила бы удовольствие. Когда мы закончили, кухарка сказала, что каждый должен сделать для окончания уборки. Когда кухня была вычищена до блеска, она отпустила нас на послеобеденный отдых.

Я упала на подстилку; мои руки и ноги болели. Наша комната была настолько маленькой, что мы лежали нос к носу.

— Я больше ничего не могу, — зевая, проговорила я.

— Я тоже, — ответила матушка. — Тебе понравилась еда, свет моих очей?

— Она достойна шаха, — сказала я и тут же добавила: — Но не настолько хороша, как твоя.

— Она была лучше, — возразила матушка, — кто бы мог подумать, что они едят мясо каждую неделю! Человек может прожить на одном рисе.

— Аллах милосерден, — ответила я, — ведь прошел год с тех пор, как мы последний раз ели баранину.

— Год, если не больше.

Мне было приятно, что я смогла поесть то, что видела на рынке два дня назад.

— Мамочка, — сказала я, — а что с баклажанами? Они же были такими солеными!

— Сомневаюсь, что Гордийе приходилось готовить все эти годы.

— Почему же ты не сказала ей, что соли слишком много?

Матушка закрыла глаза:

— Дочь моя, помни, что нам больше некуда идти.

Я вздохнула. Сафа была права: отныне мы больше не принадлежали себе.

— Я думала, Гордийе пригласит нас снова пообедать с ними, — сказала я.

Матушка посмотрела на меня с жалостью.

— Ох, доченька, которую я люблю больше всех, — сказала она, — такая семья будет заботиться только о себе.

— Но мы тоже их семья.

— Были бы, если бы приехали в Исфахан с твоим отцом, преподнеся дорогие подарки, — ответила она. — Но мы бедные родственники второй жены твоего деда.

Чувствуя себе уставшей больше, чем когда-либо, я закрыла глаза и уснула как мертвая. Казалось, прошло всего несколько мгновений перед тем, как кухарка постучала в дверь и попросила помочь. Дочери собирались расходиться и ждали кофе, свежих фруктов и сладостей.

— Какая чудная жизнь! — пробормотала я, но матушка не ответила.

Она спала, и брови ее были сведены тревогой. Я не решилась разбудить ее и сказала кухарке, что поработаю за двоих.

Дважды в год Большой базар Исфахана был закрыт для мужчин и женщины из шахского гарема могли свободно делать покупки. Три дня вместо торговцев в лавках заправляли их жены и дочери, поэтому все женщины, и продавщицы, и покупательницы, могли ходить по базару без тяжелого чадора.

Гостахам держал небольшую лавку, где были развешаны несколько ковров не столько для продажи, сколько чтобы напомнить некоторым людям, к примеру куртизанкам, что у него можно сделать заказ. Поскольку это были самые прибыльные его продажи и они укрепляли его связи в гареме, он всегда выставлял в женские дни самые модные свои работы.

В гаремные дни Гостахам обычно посылал туда Мербану, но накануне она заболела. На базар отправилась Гордийе, и я уговорила Гостахама отпустить меня с ней. Я слышала истории о женах шаха, которые, как цветы, были собраны со всей страны, чтобы украсить повелителя. Я хотела посмотреть, насколько они прекрасны, полюбоваться их шелковыми одеждами. Я пообещала, что буду тиха как мышь, когда Гордийе будет беседовать с покупательницами.

В первый гаремный день мы пришли на площадь прямо перед рассветом. Огромная, обычно заполненная продавцами орехов, уличными торговцами, музыкантами и акробатами, она была теперь отдана только девушкам и голубям. Мужчинам под страхом смертной казни было запрещено появляться на площади, чтобы никто из них даже мельком не увидел женщину без чадора. Опустевшая площадь выглядела еще просторнее. Мне было интересно, как шах из дворца попадает в мечеть, которая находилась на другой стороне площади. Казалось, это слишком долгий путь на людях для его величия.

— Как шах ходит молиться? — спросила я Гордийе.

— Разве ты не догадываешься? — спросила она, указав на землю.

Минуту я смотрела на обычную грязь и не могла сообразить, что она имеет в виду.

— Подземный ход? — недоверчиво спросила я, и Гордийе кивнула.

Искусство мастеров шаха создавало для его жизни любые удобства.

Когда солнце взошло, могучие базарные стражники открыли ворота и разрешили нам войти. Мы ждали у входа, пока женщины

гарема верхом на лошадях, облаченных в богатые украшения, не начали съезжаться на базар. Одной рукой они придерживали чадор, другой — поводья. Только когда всадники с лошадьми скрылись за воротами, женщины смогли с облегчением и радостью снять чадоры и пичехи. Они жили всего в нескольких минутах ходьбы отсюда, но таким знатным женщинам не разрешалось ходить пешком.

Тысячи лавок предлагали товары на любой вкус, будь то ковры, золотые украшения, одежда из шелка или хлопка, вышивка, обувь, благовония, лошадиные сбруи, изделия из кожи, книги, бумага, а по обычным дням самая разная еда. Одни только туфли без задников женщины могли выбирать у двухсот торговцев. Но хотя мы слышали их болтовню и смех, до конца дня не смогли даже поговорить ни с одной из них.

Мне казалось, что все в гареме должны быть красавицами, но я ошибалась. Четырем женам шаха было по пятьдесят-шестьдесят лет. Некоторые наложницы провели в гареме многие годы и давно утратили свою красоту. Многие из них не были даже просто миловидными. Внимание привлекла красивая девушка — я никогда не видела таких волос, цвета пылающего заката. Однако она казалась чужой среди своих сестер, и я поняла, что девушка не говорит на нашем языке. Мне стало жаль ее: скорей всего, она была захвачена во время одного из сражений.

— Смотри, — с трепетом проговорила Гордийе. — Вон идет Джамиле.

Это была любимая наложница шаха. Черные кудри обрамляли маленькое белое личико со ртом, словно бутон розы. На ней была кружевная блуза с разрезом от шеи до пупка, так что были видны изгибы груди. Поверх — облегающее ярко-шафрановое шелковое платье с длинными рукавами. С плеч ниспадал красный шелковый халат, открытый на горле так, чтобы был виден златотканый узор изнанки. Вокруг бедер она повязала широкий пояс шафранового цвета, развевавшийся при движении. Голову охватывала золотая нить с рубинами и жемчужинами, которые сверкали, когда она поворачивалась.

— Она точный портрет девушки, которую шах любил еще юным, — сказала Гордийе. — Говорят, она целыми днями

расспрашивает старух в гареме о своей мертвой предшественнице.

— Зачем?

— Чтобы угодить шаху. Она теперь постоянно щиплет себя за щеки, потому что у других девушек они как цветущие розы.

Когда Джамиле со свитой подошла к нашей лавке, Гордийе была взволнована, словно кошка. Склоняясь почти до земли, она пригласила женщину выпить что-нибудь. Горячий кофе я принесла быстро, так как не хотела ничего пропустить. Когда я вернулась, бледнолицая Джамиле проверяла плотность узлов, ощупывая угол каждого ковра.

Когда я подала кофе, она рассказывала, что меняет обстановку в гостиной своей части гарема. Ей нужны были двенадцать подушек, чтобы разложить их у стен, длиной с мою руку и сотканых из шерсти и шелка.

— Чтобы ему было удобно лежать, — многозначительно сказал она.

Нанять Гостахама для изготовления подушек было то же, что и нанять главного архитектора строить глиняный сарай, но Джамиле нужно было только лучшее. Ее губы струили хвалебные слова его коврам: «Несомненно, светило шахской мастерской...»

Гордийе следовало бы не придавать значения этой лести, но слова Джамиле растопили ее, как летнее солнце кусок льда. Когда они начали торговаться, я поняла, что мы обречены. Даже первая цена Гордийе была очень низкой. Я прикинула, что эта работа займет у одного мастера три месяца работы, не учитывая времени на создание узора. Но стоило Джамиле нахмурить свои прекрасные брови или ущипнуть себя за белые щеки, Гордийе тут же сбрасывала еще пару туманов, а то и больше.

— Да, бахрому можно сделать из нитей, витых с серебром. Нет, подушки будут совсем не те, что были у ее предшественницы. Да, они будут готовы через три месяца. Когда они закончили торговаться, в глазах у Джамиле читалась вся хитрость деревенской девочки, которой она когда-то была. Без сомнения, сегодня ее подруги в гареме будут громко смеяться над историей о том, какую выгодную сделку заключила Джамиле.

Один из евнухов составил две копии договора и поставил на них узорчатую восковую печать шаха. Сделка совершилась.

Мы прибыли домой с наступлением сумерек. Гордией сразу пошла спать, сославшись на головную боль. В доме было необычно тихо, словно все ждали бури. И действительно, когда Гостахам, вернувшись, прочитал расписки, он закричал на нее, что она сломала ему хребет.

На следующий день Гордией отомстила ему, оставшись лежать в постели, и Гостахаму пришлось самому управляться с домашним хозяйством и гостями. В отчаянии Гостахам послал мою матушку на базар, и я пошла с ней. Он не мог сделать лучшего выбора: моя матушка знала цену каждому узелку. Это стало неожиданностью для молодых обитательниц гарема, которые не могли позволить себе дорогих покупок, но слышали об удаче Джамиле. Весь день матери пришлось торговаться с ними. Они жаловались на ее высокие цены, на ее упрямство, но все равно платили, так как им очень хотелось заполучить ковры того же мастера, что и у любимицы шаха.

Тем вечером Гостахам посмотрел расписки и поблагодарил мою матушку за умение обращаться с деньгами.

— Твоя торговля принесла прибыль, несмотря на уловку Джамиле, — сказала он. — Как мне отблагодарить тебя?

Матушка сказала, что ей хотелось бы новую обувь, потому что старая слишком износилась за время нашего путешествия по пустыне.

— Две пары новых туфель для каждой из вас, — сказал Гостахам.

Я с нетерпением ждала случая попросить у Гостахама то, чего я хочу на самом деле. Сейчас, казалось, был самый благоприятный момент.

— Туфли — это замечательно, — выпалила я, — но вместо них могу я посмотреть шахскую мастерскую?

Это очень удивило Гостахама:

— Никогда не думал, что молодая девушка может отказаться от пары новых туфель, ну да ладно. Я покажу тебе мастерскую, как только базар начнет работать по-обычному.

Мы с матушкой пошли к себе, полные радостных чувств. Улеглись и начали шептаться о странностях дома, в котором нам отныне суждено жить.

— Теперь я понимаю, почему Гордией заваривает по несколько раз одни и те же чайные листья, — сказала матушка.

— Почему?

— Из нее вышел плохой управляющий. Она теряет голову в одной ситуации, а потом пытается все исправить в другой.

— Тогда ей придется перезаваривать множество чая, чтобы восполнить убытки с подушек Джамиле, — сказала я. — Что за смешная женщина!

— «Смешная» — это неправильное слово, — ответила матушка. — Нам нужно показать, что мы усердно работаем, а не живем у нее на иждивении. Кроме того, Гостахам не сказал, сколько мы сможем прожить здесь.

— Но у них столько всего!

— Верно, — сказала матушка, — но какое это имеет значение, если у тебя в сарае семь куриц, а ты полагаешь, что только одна?

Мои родители всегда выбирали противоположные подходы. Отец любил говорить: «Доверяй Аллаху, и будешь обеспечен». Это был очень ненадежный, но гораздо более приятный способ прожить.

Несколько недель спустя я надела пичех и чадор и отправилась вместе с Гостахамом в шахскую мастерскую, которая находилась неподалеку от Лика Мира. Был полдень, в квартале Четырех Садов появились первые знамения весны. На деревьях светились первые зеленые листья, а в садах распускались белые и пурпурные гиацинты. До первого дня нового года оставалась только неделя. Мы собирались отметить начало года в день весеннего равноденствия, когда солнце пересекало небесный экватор.

Гостахам с нетерпением ждал праздника, потому что он и его рабочие получали двухнедельный отпуск. Он начал рассказывать мне о своих последних работах.

— Сейчас мы работаем над ковром, в котором на один радж будет приходиться семьдесят узлов, — с гордостью говорил он.

Я застыла на месте; человек, который управлял ехавшей мне навстречу повозкой с медными горшками, закричал, чтобы я ушла с дороги. Мой средний палец был длиной примерно в один радж. В моих коврах приходилось не более тридцати узлов на радж. С трудом можно было представить, сколько шерсти потребуется на такой ковер и какими ловкими должны быть руки ткача.

Заметив мое изумление, Гостахам рассмеялся.

— А некоторые будут еще тоньше, — добавил он.

Шахская мастерская располагалась в большом здании неподалеку от Большого базара и дворца шаха. Главное помещение было просторным, хорошо освещенным, с высокими потолками. У каждого станка работало по два, четыре и даже по восемь ткачей, а многие ковры были настолько длинны, что приходилось сворачивать их у подножия станка, иначе ткачи не могли ткать дальше.

Рабочих удивило появление женщины в мастерской, но когда они увидели, что я пришла с Гостахамом, отвели глаза. Многие были невысокими — известно, что лучшие ткачи маленького роста. И хотя их руки были больше моих, они могли вязать еле видимые узлы. Я задумалась, смогла бы я научиться делать их еще меньше.

Первый ковер напомнил мне квартал Четырех Садов около дома Гостахама. На нем и были изображены четыре сада, отделенные друг от друга каналами, с розами, тюльпанами, лилиями и фиалками, прекрасными, словно настоящие. Над ними склонилось персиковое дерево с белыми цветами, дававшее отростки каждому из садов. Я будто наблюдала за работой природы, которая сама питала и восстанавливала свою красоту.

Мы остановились у следующего станка, ковер на котором был так плотно усеян узорами, что мои глаза не сразу разглядели подробности. Самым заметным был красный рассвет, освещавший нежно-голубые и темно-синие цветы, окаймленные белым. Невероятно, но ткачу удалось сделать два отдельных слоя узоров: первый, прерывистый, состоял из причудливых изгибов, а второй, непрерывный, — из арабесок, легких, будто дуновение ветра. Кроме этих двух орнаментов, ничего не переплеталось друг с другом, и ковер будто дышал.

— Как можно сделать такой тонкий рисунок? — спросила я.

Гостахам рассмеялся, но это был добрый смех.

— Дотронься до одного из мотков.

Я встала на цыпочки, чтобы достать до одного из голубых шариков на верхушке станка. Каждая нить была намного тоньше и мягче той шерсти, что я использовала дома.

— Это шелк? — спросила я.

— Да.

— Откуда он?

Давным-давно два христианских монаха, желая угодить завоевателям-монголам, тайно привезли несколько коконов

шелкопряда в Иран. Теперь мы продаем шелка больше, чем Китай, — с улыбкой закончил он.

Ираддж, отвечавший за ковер с рассветом, позвал своих рабочих к станку. Как только они расположились на подушках, он склонился к станку и начал вслух читать наименования красок, нужных для белого-голубых цветов. Поскольку узор на ковре был симметричный, ткачи могли работать с двух сторон ковра. Ираддж постоянно требовал менять краски, две пары рук непрерывно вытягивали шелковые нити, вывязывая узлы. В правой руке рабочие держали ножи, чтобы успеть отделить сплетенный узел от пряжи.

— Абдалла, — резко сказал Ираддж, — вернись. Ты пропустил перемену на белый.

Абдалла выругался и срезал несколько узлов. Другие натягивали, пока он исправлял ошибку. Затем Ираддж снова начал монотонное чтение.

Я заметила, что время от времени он заглядывает в листок, чтобы не перепутать следующий цвет.

— Почему они расписывают узоры на бумаге, а не держат в голове? — спросила я.

— Потому что так они точно знают, когда должен появляться каждый узелок и каждый цвет, — ответил Гостахам. — И ковер получается настолько безупречным, насколько это в человеческих силах.

В деревне я всегда ткала узоры по памяти, додумывая мелочи в ходе работы. Поэтому я считала себя искусной ткачихой, хотя мои ковры не были идеально симметричны, а закругленные детали в форме птиц, животных или цветов получались скорее квадратными, чем круглыми. Но теперь я видела, как работают настоящие мастера, и хотела научиться всему, что знают они.

Перед тем как вернуться домой, Гостахам решил проверить свою торговлю на базаре. Мы петляли по переходам базара, минуя мечети, хаммамы, караван-сарай, школы, общедоступные колодцы и лавки со всевозможными изделиями, которые, казалось, мог сделать или использовать человек. Запахи говорили мне, по какой части мы идем: от щипавшего нос запаха пряностей и аромата корицы до острого запаха кожи, которую используют сапожники, затем запах крови и мяса

только что зарезанного барана с мясных рядов — и так до свежего аромата цветов, используемых для получения экстрактов.

— Я работаю здесь двадцать лет, — сказал мне торговец коврами, — и до сих пор есть части базара, в которых ни разу не бывал.

И я могла поверить его словам.

После того как Гостахам забрал свои расписки, мы решили посмотреть на ковры других торговцев. Вдруг я увидела свой ковер и вскрикнула:

— Взгляните! Это тот ковер, который я продала купцу. Матушка рассказывала вам!

Он висел у входа в лавку. Пальцами знатока Гостахам ощупал край.

— Узлы красивые и тугие. Неплохая работа, хоть и видно, что деревенская.

— Орнамент кривоват, — согласилась я.

После увиденного в мастерской я понимала недостатки своей работы.

Гостахам немного постоял, рассматривая узор ковра.

— О чем ты размышляла, когда подбирала цвета? — спросил он.

— Я хотела сделать его необычным. В деревне обычно используют природный цвет верблюжьей шерсти, белый или красный.

— Понятно, — сказал Гостахам.

Посмотрев на него, я испугалась, что выбрала неверный ответ.

Гостахам спросил у купца, сколько стоит мой ковер. Услышав ответ, я на мгновение лишилась дара речи.

— В чем дело? — спросил Гостахам.

— Слишком дорого. Будто они просят за кровь отца, — раздраженно сказала я. — Мы бы смогли прожить в деревне, если бы у меня купили его за такую цену.

— Да, ты заслуживаешь большего, — печально кивнул он.

— Спасибо. Но теперь, когда я видела вашу мастерскую, понимаю, как многому мне еще нужно научиться.

— Ты еще слишком молода, — ответил он.

Кровь бросилась мне в голову, я ведь точно знала, чего хочу, и надеялась, что Гостахам поймет меня.

— Вы не научите меня?

Он выглядел удивленным.

— Что еще ты хочешь узнать?

— Все, — ответила я. — Как вы создаете такие прекрасные узоры, подбираете краски, словно это образы рая.

Гостахам колебался.

— У меня никогда не было сына, которого я мог бы выучить своему делу, — вздохнул он. — Ни одна из моих дочерей никогда не хотела учиться. Как жаль, что ты не мальчик. Сейчас у тебя самый подходящий возраст для подмастерья.

Я понимала, что мне нельзя работать среди всех этих мужчин.

— Возможно, я смогу помогать вам дома, конечно, если вы решите, что я подхожу для этого.

— Увидим, — ответил Гостахам.

Я ожидала другого ответа. Когда-то Гостахам умолял своего учителя о наставлении, но теперь, пожалуй, забыл, как это бывает.

— Можно я посмотрю, как вы создаете узор для подушек Джамиле? — взмолилась я. — Обещаю, вы даже не заметите меня. Я буду приносить кофе, когда вы устанете, и помогать всем, чем смогу.

Лицо Гостахама смягчилось. Он улыбнулся, и его глаза подобрили.

— Если тебе действительно интересно, спроси Гордийе, будет ли у тебя время, свободное от работы по дому, — ответил он. — И не переживай из-за своего ковра. В городе цены гораздо выше. Помни: если за твой ковер просят большие деньги и вывесили его у всех на виду, значит, его высоко оценивают.

Его слова подали мне идею. Я могу соткать другой ковер, продать его и заработать деньги, которые присвоил Хасан.

В тот же день я нашла Гордийе в ее покоях. Она рассматривала отрезы шелка и бархата, которые принес купец. Конечно, он не видел Гордийе: ткань купец передал через слуг, а теперь дожидался в бируни, пока она выберет.

Пальцы Гордийе остановились на ткани с узором из красных и желтых осенних листьев.

— Взгляни, — сказала она. — Из нее получится отличный халат для холодов.

Оглядев свое траурное одеяние, я могла только представить, каково ходить в такой прекрасной одежде. Выразив восхищение выбором Гордийе, я рассказала ей о посещении мастерской и попросила разрешения наблюдать за работой Гостахама дома. Вспомнив, как Гордийе растаяла от лести Джамиле, я приправила свою просьбу восхвалением мастерства Гостахама.

— Зачем тебе тратить время таким образом? — спросила Гордийе, неохотно отодвигая рулон шелка. — Тебе никогда не позволят учиться в мастерской среди мужчин, и ты не изготовишь таких искусных изделий без армии мастеров.

— И все равно я хочу учиться, — упрямо повторила я, чувствуя, как сжимаются зубы. Матушка говорила, что в такие минуты я становлюсь похожа на мула.

Гордийе колебалась. Припомнив слова матери, я быстро добавила:

— Быть может, со временем я смогу помогать Гостахаму, выполняя небольшие заказы. Так я смогу помогать ему, а значит, и вам в хозяйстве.

Эта мысль явно понравилась Гордийе, но она не готова была согласиться.

— На кухне работы всегда больше, чем рук, которые могут ее выполнять.

У меня был придуман ответ. Обещаю делать для кухарки все, что в моих силах. Я не стану работать с меньшим усердием.

Гордийе снова принялась за рулоны шелка.

— В таком случае, если мой муж даст согласие, можешь помогать ему. Но только если не начнешь пренебрегать остальными обязанностями.

Я так обрадовалась, что пообещала работать лучше, чем обычно, хотя казалось, я и так делаю столько же, сколько любая служанка.

Всю следующую неделю долгие часы я проводила на кухне, помогая матушке, Шамси, Зоуре и кухарке готовиться к Новому году. Мы вычистили весь дом сверху донизу, проветрили все одеяла. Мы поднимали подстилки, моя и протирая под ними. Мы наполнили дом вазами с цветами, горами орехов и сладостей. Для традиционного новогоднего блюда из белой рыбы с мятой, кориандром и петрушкой мы почистили, казалось, целое поле зелени.

В ночь на Новый год нас с матушкой разбудила суматоха на кухне. Когда выстрелили пушки, мы поцеловали друг друга в щеки и выпили кофе со сладостями на розовой воде. Гостахам и Гордийе раздали своим детям золотые монеты и подарили немного денег слугам. Я поблагодарила Аллаха за то, что Он помог нам пережить этот год и привел нас в семью, где я столькому научилась.

Мастерская Гостахама располагалась в мужской половине. Это была простая комната, где повсюду лежали ковры и подушки, а в нишах были полки для бумаги, чернил, перьев и книг. Когда Гостахам делал наброски, он сидел скрестив ноги на подушке, а деревянную доску держал на коленях. Я присоединилась к нему, когда он начал работать над подушками для Джамиле, и наблюдала, как Гостахам делает эскиз вазы с тюльпанами, окруженной гирляндами других цветов. Меня поразило, какими естественными они получались и как быстро выходили из-под его пера.

Гостахам решил, что цветы будут розовыми и желтыми, с бледно-зелеными листьями на черном фоне. По краю цветы будут прошиты стежками шелковой нити, витой с серебром, как и обещала Гордийе. Когда я заметила, что он очень быстро делает узор для подушек, он только сказал: «Это один из тех заказов, на которые я потратил уже гораздо больше, чем они стоят».

На следующий день он разложил перед собой лист бумаги, который подмастерье расчертил сеткой. Гостахам тщательно перерисовал готовый тюльпан в верхние клетки и раскрасил его акварелью. Сетка осталась видна под рисунком, деля его на тысячи крошечных цветных квадратиков, обозначавших узлы. По ней художник называл сочетания цветов или ткач мог читать ее сам, как путешественник карту.

Когда Гостахам закончил, я попросила его дать мне задание, чтобы поупражняться самостоятельно. Первое, чему он научил меня, — расчерчивать сетку. Взяв перо и чернила в свою комнатку, я попробовала нарисовать ее на полу. Сначала никак не могла управиться с чернилами. Они проливались и оставляли кляксы, а линии получались неровными. Но вскоре я научилась окунать перо правильно и убирать излишек так, чтобы линии получались прямыми и тонкими. Обычно для этого приходилось задерживать дыхание. Это

была скучная работа; один лист бумаги отнимал у меня большую часть дня, а когда я пыталась подняться, ноги сводило судорогой.

Когда я научилась расчерчивать сетку, Гостахам подарил мне перо. Оно было вырезано из прикаспийского болотного тростника. И хотя оно весило не больше птичьего пера, для меня этот подарок был дороже золота. Теперь Гостахам доверял мне расчерчивать сетки для его частных заказов. Он также начал давать мне задания, чтобы тренировать мои навыки в рисовании. Он выбирал наброски цветов, листьев, лотосов, облаков, животных и велел мне копировать их. Особенно мне нравилось срисовывать сложные узоры вроде цветов, вложенных друг в друга.

Позже, когда я стала рисовать уверенней, Гостахам начал давать мне образцы, сделанные для подушек Джамиле, чтобы я срисовывала наоборот: букет должен быть наклонен вправо, а не влево. На больших коврах узоры часто шли сначала в одну сторону, а затем в другую, и художник должен знать оба. Работая, я напевала песни моей деревни. Я была счастлива учиться новому.

Как только у меня появлялось время, я навещала Нахид. Мы стали очень близки, и теперь у нас был не один секрет, а два.

Впервые увидев ее написанное имя, я попросила Нахид давать мне уроки письма. Когда я приходила, она занималась со мной. Если кто-то заходил, я притворялась, что просто рисую. Деревенская девушка, учащаяся писать, выглядела бы не совсем обычно.

Мы начали с буквы *алиф*. Ее было легко написать, мгновение — и буква готова.

— Она длинная и высокая, как минарет, — сказала Нахид, всегда думавшая об образе, который помог бы мне запоминать буквы.

Алиф. Первая буква в слове «Аллах». Начало всего.

Уголкем глаза следя за Нахид, я исписала страницу длинными прямыми чертами. Иногда я добавляла закругленную верхушку, чтобы при произношении получился низкий гортанный звук. Когда Нахид одобрила мои успехи, мы перешли ко второй букве — *ба*, которая была похожа на миску. Она была гораздо сложнее. Мои буквы были неуклюжими и детскими по сравнению с буквами Нахид. Однако, просмотрев мои прописи, она осталась довольна.

— А теперь напиши их вместе, *алиф* и *ба*, и ты получишь самую драгоценную вещь в мире, — сказала Нахид.

Я написала их и произнесла слово *аб* — «вода».

— Писать — это то же самое, что и ткать ковры, — сказала я.

— Что ты имеешь в виду? — спросила Нахид с презрением в голосе. Она никогда не ткала ковров.

Я положила перо и постаралась объяснить:

— Слова пишутся буква за буквой, так же как ткутся ковры — узел за узлом. Разные сочетания букв дают разные слова, а разные сочетания цветов — разные узоры.

— Но письмо даровано Аллахом, — возразила Нахид.

— Аллах даровал всего тридцать две буквы, — ответила я, гордясь тем, что знаю это, — но как же ты объяснишь, зачем он дал нам больше цветов, чем мы можем сосчитать?

— Я думаю, это верно, — ответила Нахид тоном, дававшим понять, что она, как и многие, считала письмо выше.

Нахид глубоко вздохнула.

— Мне следует поупражняться, — сказала она.

Отец дал ей книгу с каллиграфическими упражнениями, которые она должна была сделать перед тем, как попытаться написать фразу «Аллах Акбар», «Аллах Велик», в форме льва.

— Но я больше не могу, — добавила она и обвела взглядом комнату. — Моя голова занята другим.

— Ты, верно, узнала что-нибудь новое о том симпатичном игроке в чавгонбози? — спросила я.

— Я узнала его имя: Искандар, — с нескрываемым удовольствием произнесла Нахид.

— А о его семье?

Она отвела глаза:

— Я ничего не знаю.

— А знает ли он, кто ты такая? — спросила я, чувствуя зависть.

— Думаю, начинает догадываться, — улыбнулась Нахид самой прелестной из своих улыбок.

— Как?

— На прошлой неделе я с подругой пошла на Лик Мира посмотреть игру в чавгонбози. Искандар забил так много мячей, что зрители кричали в восхищении. После игры я пошла туда, где

поздравляли игроков. Я притворилась, что беседую со своей подругой, пока Искандар не посмотрел на нас. Потом я приоткрыла пичех, будто надо было поправить его, и дала Искандару взглянуть на мое лицо.

— Неужели!

— Я сделала это, — торжествующе произнесла Нахид. — Он смотрел на меня так, словно сердце его птица, которая наконец нашла нужное место для гнезда. Он не мог перестать смотреть, даже когда я закрыла лицо.

— Но как же он теперь найдет тебя?

— Буду ходить на игры, пока он не узнает, кто я.

— Осторожней, — вздохнула я.

Прищурившись с сомнением, Нахид недоверчиво посмотрела на меня:

— Ты ведь никому не расскажешь?

— Конечно нет, мы ведь друзья!

Нахид с беспокойством посмотрела на меня. Вдруг она повернулась и позвала служанку. Вскоре та вошла, держа в руках поднос. Нахид предложила мне кофе и фиников. Я отказывалась от фруктов уже несколько раз и, чтобы не показаться невежливой, выбрала маленький финик и положила его в рот. Пришлось собрать всю силу воли, чтобы на лице не отразилось отвращение, как у ребенка. Я быстро проглотила его и выплюнула косточку.

Нахид внимательно наблюдала за мной.

— Все хорошо?

Я хотела было произнести одну из фраз, которые обычно говорят в таком случае: «Я, ваша покорная слуга, недостойна такого гостеприимства», но не смогла. Подбирая слова, я откинулась на подушку и сделала большой глоток кофе.

— Он кислый — наконец произнесла я.

Нахид смеялась так, что ее стройное тело раскачивалось, как кипарис на ветру.

— Вот такая ты и есть!

— А что я еще могу сказать, кроме правды?

— Многое, — ответила она, — вчера я подала эти же финики своим друзьям. Среди них была и та девушка, с которой я ходила на игру. Она съела один и сказала: «Финики в райских садах, должно быть, похожи на эти», а другая девушка добавила: «Но эти еще

лучше». После их ухода я попробовала финики и поняла истину. Я устала от лжи, — сказала она. — Как жаль, что люди не могут быть честными.

— Людей из моей деревни считают прямолинейными, — ответила я, не зная, что добавить.

Перед моим уходом Нахид спросила, могу ли я оказать ей особую честь.

— Это насчет чавгонбози на площади, — объяснила она. — Моя подруга боится идти со мной снова, и потому я прошу тебя составить мне компанию.

Я представила, что на игру придет много юношей, которые будут собираться в толпы и кричать, поддерживая свою любимую команду. Хотя я жила в городе совсем недавно, но понимала, что это не место для двух незамужних девушек.

— Разве тебя не волнует, что подумают твои родители?

— Как ты не понимаешь? Я должна пойти, — умоляюще произнесла Нахид.

— Но как мы пойдем туда, не сказав родителям?

— Я скажу родителям, что пошла к тебе, а ты своим, что ко мне. Мы наденем чадоры и пичехи, нас никто не узнает.

— Даже не знаю, — нерешительно сказала я.

Презрение заволокло глаза Нахид, и я почувствовала себя жалкой. Поэтому я согласилась пойти с ней и помочь пленить возлюбленного.

Нахид удивила меня храбростью, которую она проявила, чтобы поразить любимого. Но всего лишь через несколько дней я сама открылась человеку, которого никогда раньше не видела. В четверг я возвращалась из хаммама, и волосы у меня были мокрыми. Я закрыла за собой высокую тяжелую дверь, ведущую в дом Гостахама, сняла пичех, чадор, надетый поверх шарф и распустила волосы. Я не заметила незнакомца, ждавшего Гостахама; слуга, видимо, ушел, чтобы доложить о его приходе. На незнакомце был разноцветный тюрбан, прошитый серебряной нитью, голубой шелковый халат поверх оранжевой рубахи. В ноздри ударил запах свежей травы и лошадей. Я так испугалась, что вскрикнула: «О Али!»

Если бы незнакомец был вежлив, он отвернулся бы. Вместо этого мужчина продолжал разглядывать меня, наслаждаясь моим

удивлением и неловкостью моего положения.

— Хватит стоять и смотреть! — огрызнулась я и быстро побежала в андаруни, часть дома, где женщины были в безопасности от мужской бесцеремонности.

Позади раздался взрыв хохота. Кто был это дерзкий человек? Поблизости не было никого, чтобы спросить. Чтобы выяснить, я поднялась на второй этаж, который был чуть больше чердака. Здесь мы обычно развешивали белье для просушки. Я забралась в закуток под лестницей, откуда была видна гостиная. Украшения из гипсовых цветов и ветвей образовывали решетку, через которую я могла видеть и слышать.

Взгляду моему предстали тот хорошо одетый незнакомец, сидевший на почетном месте, и Гостахам, говоривший: «...большая честь быть орудием исполнения ваших желаний».

Я никогда не слышала, чтобы он разговаривал с таким уважением, особенно с теми, кто вдвое младше его. Оставалось надеяться, что я не оскорбила важного посетителя. Я разглядела его повнимательнее. Тонкая талия, осанка, загорелая кожа позволяли предположить, что незнакомец опытный наездник. У него были густые широкие брови, плавно сходящиеся у переносицы, и властные глаза полумесяцем. Длинный нос нависал над пухлыми красными губами. Он носил коротко подстриженную бороду. Незнакомец не был красив, однако могуч и привлекателен, словно леопард. Пока Гостахам говорил, гость курил кальян и шурился от удовольствия при каждой затяжке. Даже из своего укрытия я чувствовала сладкий аромат смешанного с фруктами табака, щекотавший мне нос.

— Надеюсь, — сказал Гостахам, — гость чувствует себя уютно и окажет хозяину честь, поведав о своих недавних путешествиях.

— Весь город только и говорит, что о подвигах армии на севере, — сказал он. — Я был бы признателен, если вы сами расскажете нам о происходящем.

Гость поведал о том, как сто тысяч турок обстреливали крепость, охранявшую северо-западную границу. Спрятавшись в туннелях, они обстреливали ее ворота.

— Много дней подряд мы думали, что Аллах решил отдать победу нашим врагам, — сказал он.

Он вывел из крепости отряд через турецкий лагерь, и они доставили необходимые припасы, чтобы армия выдержала осаду. Через два с половиной месяца турки начали голодать. Умерло около сорока тысяч солдат перед тем, как они решили отступить.

— Среди защитников крепости тоже царил голод, — сказал гость. — К концу осады у нас оставался только хлеб из муки, кишасей жуками. После этой шестимесячной войны я радуюсь каждый раз, когда ем горячий хлеб, испеченный в моем тандыре.

— Как радовался бы любой, — ответил Гостахам.

Гость на мгновение умолк, вдохнув дым кальяна.

— Конечно, человек не может знать, что произойдет, пока он на войне, — сказал он. — У меня есть трехлетняя дочь, которая дороже мне всего на свете. Пока я воевал, она перенесла холеру и выжила лишь по милости Аллаха.

— Альхамдулила.

— Как ее отец, я поклялся подавать милостыню в благодарность за ее спасение.

— Поступок истинного мусульманина, — согласился Гостахам.

— Когда я последний раз был в медресе в квартале Четырех Садов, то заметил, что ковры там изнашивались.

Мы ждали и надеялись, в то время как он снова вдохнул, а затем медленно выдохнул дым.

— Но даже если я решу заказать ковер во славу Аллаха, у меня есть особое требование, — продолжил он. — Ковер должен быть создан в благодарность Аллаху за выздоровление моей дочери, и я хочу, чтобы на нем были вытканы талисманы, чтобы защитить ее в будущем.

— Милостью Бога, — сказал Гостахам, — ваше дитя всегда будет укрыто от болезней.

В этот момент я услышала, как Гордией зовет меня; нужно было идти. Я надеялась, что она расскажет мне больше. Гордией нашлась во дворе — проверяла несколько выюков с керманскими фисташками, которые Али-Асгар загружал в кладовые. Им требовалась помощь.

— Кто наш гость? — спросила я Гордией.

— Ферейдун, сын богатого торговца лошадьми. Для будущего нашей семьи не было бы лучшего дара, чем его благоволение.

— А он... *очень* богат? — спросила я, пытаюсь выяснить, насколько знатного человека оскорбила.

— Очень. Его отец разводит лучших арабских скакунов на всем севере страны. Раньше он был простым скотоводом, но как только хороший скакун стал символом положения в обществе, он разбогател.

В моей деревне ни у кого не было роскошной лошади. Даже последняя кляча стоила больше, чем многие могли себе позволить. Я поняла, что Гордийе имеет в виду самые знатные семьи Исфахана.

— Семья Ферейдуна покупает дома по всей стране. И в каждом нужны ковры, — продолжала Гордийе. — Если Гостахам заинтересует Ферейдуна, мы сможем получить от одной его семьи большие деньги.

Гордийе протянула мне несколько фисташек, пока мы разгружали тяжелые мешки. Я любила фисташки, но сейчас в животе были неприятные ощущения. Мой язык слишком часто опережал разум. Теперь, в новом городе, я должна быть более осторожна — я плохо отличала хозяев от слуг.

Позже Гордийе сказала мне, что Ферейдун заказал у Гостахама ковер и обещал заплатить хорошую цену. Я испытала облегчение и предложила помогать Гостахаму во всем. Празднуя удачу дня, Гордийе освободила меня от работы, и я решила пойти в гости к Нахид.

После визита Ферейдуна Гостахам отложил прочие заказы, а я присоединилась к нему в мастерской, наблюдая за его работой. Я ожидала, что Гостахам придумает орнамент так же быстро, как и для подушек Джамиле, но его пером будто завладел демон. Он часами рисовал узоры, пока не заполнял лист от края до края, и начинал новый. Если Гостахаму не нравился очередной узор, он комкал лист и бросал его на пол.

Его руки потемнели от чернил, а комната была завалена неудавшимися набросками. Когда же Шамси попыталась убрать скопившийся мусор, он зарычал: «Как я могу закончить работу, если мне постоянно мешают!» Иногда он поднимался, начинал ходить по комнате, просматривать отвергнутые наброски, пытаюсь найти новое.

Единственной причиной, по которой он терпел мое присутствие, было мое молчание. Когда Гостахаму нужно было еще бумаги, я нарезала листы нужного размера. Когда кончались чернила, я доливала

новые. Если он уставал, я приносила кофе и финики, чтобы он мог передохнуть.

Через несколько дней Гордийе, увидев беспорядок в мастерской, попыталась сменить подход и пожаловаться на дороговизну бумаги.

— Женщина, — взревел Гостахам, — опомнись! Это не просто ковер для непонятно кого!

Пока Гостахам корпел над рисунками, я размышляла о талисманах, которые Ферейдун просил выткать на ковре. Раньше в деревне на коврах ткали самые разные талисманы: петухов — символы плодородия или ножницы для защиты от злых духов. Но деревенские символы выглядели бы странно на городском ковре. Кроме того, на ковре для медресе не должно быть изображено ни одного живого существа, лишь цветы, деревья и травы, иначе это сочли бы поклонением идолам.

Однажды, когда Гостахам, швырнув очередной набросок, в ярости выбежал из комнаты, я прикоснулась к висящему на шее ожерелью, которое отец дал мне для защиты от дурного глаза. Это был серебряный треугольник со священным камнем сердоликом в центре, и я часто касалась его, прося благословения. Понимая, что не следовало бы, я все же взяла перо Гостахама, бумагу и начала рисовать. Я не задумывалась над рисунком, просто испытывала удовольствие от того, как перо скользит по бумаге, от того, как на листе постепенно появляется треугольник с кругом посередине. У вершины я дорисовала несколько маленьких фигурок, напоминающих бусинки, монеты и драгоценные камни.

Когда Гостахам вернулся, он выглядел очень уставшим.

— Что ты делаешь? — спросил он в тот момент, когда я окунала перо в чернила.

— Просто играю, — извиняясь, ответила я, опуская тростниковый калам на подставку.

Казалось, голова Гостахама стала больше тюрбана и сейчас должна была взорваться.

— Никто не смеет трогать мое перо без разрешения, ты, дочь шакала!

Он злобно отобрал перо и чернила. Я сидела тихо, как тень, боясь, что Гостахам опять закричит на меня. Он снова принялся за работу, но по его наморщенному лбу было понятно, что он не может найти

нужное. Глубоко вздохнув, он встал и начал ходить по комнате мимо меня. Гостахам взял лист, над которым я работала, пробормотал, что может использовать и другую сторону для наброска.

А потом его взгляд остановился на моем рисунке.

— Что это? — спросил он.

Гостахам опустил на подушку.

— Это талисман — ответила я, покраснев. — Талисман, который просил Ферейдун.

Гостахам долго разглядывал рисунок. Все это время я сидела не шелохнувшись. Вскоре он снова погрузился в работу, но перо его теперь словно порхало над бумагой. Я наблюдала за тем, как он превращает мой грубый, простой рисунок в произведение искусства. Он набросал треугольник, висящие бусины, монеты, драгоценные камни, соединив их так, что получился изящный узор. Набросок получился красивым и искусным — именно таким я видела талисман для дочери Ферейдуна.

Закончив, Гостахам впервые за многие недели выглядел довольным.

— Неплохая идея, — похвалил он. Однако я заметила тень гнева в его глазах. — Для тебя должно быть ясно как день, что никогда в жизни ты больше не посмеешь прикасаться к моему перу.

Опустив глаза, я умоляла простить меня за дерзость. Позже я сказала матушке, что участвовала в создании ковра, но не сказала как, ибо она сочла бы это безрассудством.

Вскоре Гостахам показал рисунок ковра Ферейдуну, и тот одобрил его. Ферейдун никогда не видел такого орнамента и захотел узнать, откуда он. Гостахам был достаточно уверен в своем мастерстве, чтобы сказать о дальней родственнице, которая подсказала ему узор с висящим самоцветом.

— Он прелестен, совсем как моя дочь, — ответил Ферейдун.

— Правда, — ответил Гостахам, — этот узор основан на украшениях, привезенных с юга страны.

Ферейдун изобразил южный акцент, и Гостахам, рассмеявшись, заметил, что так говорит его племянница-южанка. Вспомнив, как закричала на Ферейдуна, я поняла, что теперь он догадается, кто я. Однако я успокоила себя тем, что он не принял близко к сердцу мою грубость, раз одобрил набросок.

После ухода Ферейдуна Гостахам похвалил меня и сказал матери, что я преданный помощник. В награду он обещал показать мне особенный ковер, который называл одним из светочей века.

Заказ Ферейдуна был очень важен, и Гостахам решил лично проследить, чтобы шерсть окрасили, в точности как ему надо. Он ценил красильщика по имени Джаханшах, мастерская которого располагалась на набережной Зайен-де-Руд, и позволил мне пойти, чтобы посмотреть, как он будет заказывать индиго, самый изысканный цвет, рецепт которого держали в секрете.

У Джаханшаха были белые густые брови, белая борода и багровые щеки. Он поприветствовал нас, стоя у железных горшков, полных воды. Она была холодной, казалось, ремесленник забыл о нашем приходе.

— В первый раз? — спросил Джаханшах, указывая на меня.

— Да, — ответил Гостахам.

— Ах! Смотри внимательно! — сказал он, широко улыбнувшись.

Джаханшах намочил несколько мотков и аккуратно опустил их в горшок. Вода в нем был странного зеленоватого цвета. Я посмотрела на шерсть: казалось, цвет ее не изменился.

Мы сидели на скамье, любуясь рекой. Пока мужчины обсуждали быстро растущие цены на овечью шерсть, я наблюдала за пешеходами, проходившими по старинному мосту Шахристан, чьи толстые сваи были вбиты за четыре века до моего рождения. Древней его были только острые, словно мечи, горы Загрос, устремленные высоко вверх, будто хотели проткнуть небесный свод. Даже пастухи никогда не добирались до вершин этих загадочных гор.

Порыв ветра поднял волны и чуть не сорвал с меня покрывало. Я придержала его за концы, с нетерпением ожидая, когда же Джаханшах добавит волшебный индиго, но он, похоже, не торопился. Мы пили чай, пока красильщик медленно помешивал воду в горшке.

Рядом другой красильщик сутился над своими горшками. Он высыпал из мешка сушеные цветки живокости, которые начали в воде таинственный танец, оставляя ярко-желтые полосы. Я наблюдала, как он опускает туда мотки белой шерсти, обретавшие цвет солнца. Мне захотелось подойти поближе, но Джаханшах остановил меня, протянув зубчатый прут:

— Вынь один из мотков.

Я опустила прут в горшок, поводила им, подцепила моток шерсти и подняла его вверх. У шерсти появился неприятный зеленый оттенок, как у мочи больной лошади.

Обернувшись к Джаханшаху, я в замешательстве спросила:

— Разве вы не собираетесь добавить туда индиго?

Джаханшах рассмеялся, а через мгновение к нему присоединился и Гостахам. Я стояла, держа капающий моток, не понимая, над чем они потешаются.

— Не спускай с шерсти глаз, — сказал Гостахам.

Моток почему-то уже не был такого болезненного цвета.

Я моргнула, чувствуя себя как изнуренный путешественник в пустыне, увидевший воображаемую зелень. Но ничего не изменилось: моток теперь был цвета бледного изумруда. Через мгновение он окрасился в цвет первых весенних листьев, затем в сине-зеленый, как вода Каспийского моря. Цвет становился все насыщенней, пока не стал похож на цвет воды в глубине озера.

Я сунула моток Джаханшаху, воскликнув:

— Аллах, защити нас от выдумок джиннов!

Джаханшах снова рассмеялся и сказал:

— Не волнуйся, это человеческие выдумки.

Теперь голубой цвет был таким ярким, что поразил меня своей бесконечной глубиной. Завороженная, я разглядывала шерсть, а потом воскликнула:

— Еще раз!

Джаханшах разрешил мне вытащить еще один моток, чтобы я могла снова увидеть, как шерсть окрашивается во все оттенки синего и зеленого, пока не приобретает густой цвет ляпис-лазури.

— Как это? — удивленно спросила я.

Но Джаханшах только улыбнулся.

— Этот секрет моя семья хранит уже более тысячи лет, — сказал он, — с тех самых пор, когда пророк Мухаммед привел своих учеников в Медину, родину моих предков.

Гостахам хотел, чтобы цвет был темней, и Джаханшах еще раз опустил шерсть в горшок, пока Гостахам не остался доволен. Потом он отрезал от мотка для Гостахама, а оставшееся забрал себе, чтобы каждый смог проверить цвет при новом заказе.

Дома, едва сняв чадор и пичех, я тут же спросила у Гостахама, что еще могу сделать.

— Разве ты не хочешь передохнуть? — удивленно спросил он.

— Ни минуты, — сказала я; волшебство индиго пробудило во мне тягу к работе.

Гостахам улыбнулся и велел мне расчертить еще одну сетку.

С того дня чем больше я просила у Гостахама дать мне какую-нибудь работу, тем охотней он соглашался. А работы было достаточно: нужно было расчерчивать новые сетки, смешивать цвета, отмерять бумагу. Я наслаждалась этими моментами так же, как ненавидела уборку и работу на кухне. Гостахам звал, и я бросала нож или ступку и с радостью присоединялась к нему. Остальные слуги возмущались, а особенно кухарка, которая с усмешкой спрашивала, накормит ли меня ужином олень или онагр, которых я учусь рисовать. Не нравилось мое увлечение и Гордийе.

— Когда нужно прокормить столько ртов, важна помощь каждого, — однажды сказала она, но Гостахам не обратил внимания на ее слова.

С тех пор как я стала помогать ему в мастерской, он начал выполнять заказы быстрее. Думаю, он наслаждался моей компанией в течение долгих часов, проведенных за работой, ведь мало кто понимал ее так же хорошо.

Однако моей матушке в Исфахане было не так легко. По милости Гордийе ей разрешалось оставаться на кухне и выполнять работу за меня. Та всегда поправляла матушку, насмехаясь над ее деревенскими привычками. Думаю, она чувствовала сопротивление матери и хотела сломать его, чего бы это ни стоило. Матушка должна была промывать рис по шесть раз, чтобы очистить от крахмала; нарезать редиску в форме роз; должна была делать печенье из горошка с фисташковой посыпкой, а для шербета нужно было использовать меньше фруктов и больше розовой воды. Матушке, ставшей хозяйкой в доме еще в моем возрасте, теперь указывали как ребенку.

Однажды во время дневного отдыха она вернулась в нашу комнатку настолько злая, что я чувствовала жар, исходящий от ее кожи.

— Ай Хода, — вскричала она, моля Аллаха о милосердии, — я не вынесу этого больше!

— Что такое? Что произошло?

— Ей не нравится печенье, которое я сделала, — ответила матушка, — оно должно быть квадратным, а не овальным! Мне пришлось выбросить все тесто собакам и сделать новое.

В моей деревне такое расточительство было невероятным. Но Гордийе требовала совершенства.

— Прости, — сказала я, чувствуя вину, — я целый день провела с Гостахамом, и работа моя была легкой и приятной.

— Дело не только в печенье. Я устала быть прислугой. Если бы только твой отец был жив, мы бы жили в собственном доме и по своим законам!

— По крайней мере, мы не умираем с голода, — попыталась я ее утешить; ведь мне так нравилось то, чему я училась в этом доме.

— Пока она не вышвырнет нас из дома.

— Зачем ей это?

Матушка сердито фыркнула:

— А тебе никогда не приходило в голову, что рано или поздно она захочет избавиться от нас?

Я подумала, что она преувеличивает.

— Посмотри, как много мы помогаем им в хозяйстве!

Матушка сбросила туфли и рухнула на подстилку. Пальцы на ногах у нее покраснели из-за того, что она долго стояла, делая печенье.

— Как же болят ноги! — простонала она.

Я поднялась и подложила под них подушку.

— Гордийе считает, что мы разоряем их. Ведь она не нанимала нас и не может прогнать. Сегодня она сказала, что дюжины женщин Исфахана отдадут глаз, чтобы работать у нее. Молодые женщины, которые могут работать без жалоб. А не те, которые тратят бесценное кухонное время, учась ткать ковры.

— Что же нам теперь делать?

— Остается только молиться, чтобы Аллах послал тебе мужа и ты смогла вести собственное хозяйство. Хорошего мужа, который счел бы своим долгом заботиться и о твоей матери.

— Но как я найду мужа без приданого?

Матушка вытянула ноги, стараясь уменьшить боль.

— Что за злосчастная звезда! Почему она забрала его раньше, чем мы обеспечили тебя! — причитала она. — Я решила делать лекарства

из трав и продавать их соседям, чтобы собрать тебе приданое. Больше мы ждать не можем.

— Я начну ткать другой ковер для приданого, — пообещала я.

— Жених — это единственный способ для тебя снова жить, как хочешь ты, — сказала матушка.

Она отвернулась и уснула почти мгновенно. Как бы я хотела сделать ее жизнь слаще. Я развернулась в сторону Мекки и стала молиться за скорое окончание злобного действия кометы.

Однажды вечером у меня не было дел; я взяла большой кусок бумаги, выброшенный Гостахамом, и отнесла его в комнатку, которую делила с матушкой. Согнувшись у светильника, я начала рисовать орнамент, который украсил бы гостиную богатого человека и затмил его остальные ковры. Я использовала все мотивы, которым научилась, — мне хотелось найти в узоре место каждому из них. Я делала наброски скачущих коней, павлинов с разноцветными хвостами, газелей, щипавших траву, высоких кипарисов, расписных ваз, рисовала полные пруды, плавающих уток, серебряных рыб, и все соединялось между собой лозами, листьями и цветами. Работая, я думала о том незабываемом ковре, который видела на базаре. На нем было выткано величавое дерево, но его ветви заканчивались не только молодыми листьями, но и головами газелей, львов, онагров и медведей. Торговец называл его «дерево ваквак», это была иллюстрация к стихотворению, в котором рассказывалось о животных, обсуждающих людей и их загадочные поступки. В голову пришла мысль, что такое дерево могло бы целую ночь сплетничать о нашем новом доме.

Я ждала, пока Гостахам будет в хорошем настроении, чтобы показать ему свои наброски. Он был удивлен просьбой, но поманил меня за собой в мастерскую. Мы уселись на подушки, и он развернул лист. Воцарилась такая тишина, что я могла слышать последние слова молитвы, доносящиеся из Пятничной мечети. У муэдзина, сидевшего по вечерам в минарете, был ясный, приятный голос, наполнявший мое сердце надеждой и счастьем. Я думала, что он будет мне добрым знаком.

Гостахам смотрел на рисунок всего минуту, а потом поднял глаза и спросил:

— Что все это значит?

— Н-ну, — замаялась я, — мне хотелось бы сделать что-нибудь красивое, что-нибудь вроде...

В мастерской повисла неприятная тишина. Гостахам бросил лист, который свернулся и откатился.

— Послушай, джонам, видимо, ты считаешь, что ковры лишь вещи — вещи, которые можно продать, купить или сидеть на них. Но в один прекрасный день ты станешь настоящим мастером и поймешь, что значат они гораздо больше для тех, кто хочет увидеть.

— Знаю, — сказала я, хоть и не совсем догадывалась, о чем он.

— Нет, — сказал Гостахам, — ты *думаешь*, что знаешь. Итак, скажи, что общего у всех этих изображений?

Я старалась придумать объяснение, но не могла. Я нарисовала их лишь потому, что эти узоры казались красивыми.

— Ничего, — наконец ответила я.

— Верно, — сказал Гостахам, вздохнув, будто сейчас он выполнял самую тяжелую работу в своей жизни. Он дернул свой тюрбан, словно хотел вытащить оттуда какую-то мысль. — Когда я был в твоём возрасте, — начал он, — в Ширазе я услышал историю, глубоко поразившую меня. В ней рассказывалось о Тамерлане, монгольском завоевателе, который двести лет назад прихромал к Исфахану и приказал его жителям сдаться под страхом смерти. Наш город восстал против его железной длани. Маленькое восстание, у жителей не было воинской мощи, но в отместку Тамерлан обратил все свои клинки против пятидесяти тысяч горожан. Тогда пощадили только одну часть жителей: ремесленников, изготавливающих ковры, чья ценность была слишком высока, чтобы уничтожить их. Но даже после этого бедствия... скажи — разве ткачи вплетают в свои ковры смерть, разрушение и хаос?

— Нет, — тихо сказала я.

— Никогда! — ответил Гостахам, и голос его окреп. — Что бы тогда ни случилось, художники продолжали создавать образы еще более совершенной красоты. Так мы, ковроделы, сопротивляемся любому злу. Таков наш ответ на жестокость, боль и страдания; мы должны напомнить человеку об облике красоты, возвращающем спокойствие, очищающем его сердце от зла, ведущем его по пути правды. Все ковровщики знают, что красота придает человеку сил, как

ничто иное. Но без цельности не будет и красоты. Теперь ты понимаешь?

Я снова взглянула на свой эскиз, теперь словно глазами Гостахама. Это был орнамент, который пытался за красивыми витками скрыть внутреннюю пустоту. Продать такой ковер можно было только немытому «ференги», который ничего бы не понял.

— Вы поможете мне исправить его? — смиренно спросила я.

— Конечно, — кивнул Гостахам, беря калам.

Его поправки были такими строгими, что от моего рисунка не осталось почти ничего. Взяв чистый лист, он изобразил один из моих мотивов: «ботех», нечто вроде большой капли, еще его называют «мать и дочь», так как внутри него словно собственный зародыш. Он нарисовал его точно и чисто, намереваясь разместить три таких же поперек ковра и семь вдоль. Это было все; но оно было гораздо красивей, чем то, что я изобразила.

Урок был отрезвляющим. Я почувствовала, что учиться мне придется дольше, чем отмерено моего времени на земле. В изнеможении я откинулась на подушки.

Гостахам прилег рядом.

— Я никогда не встречал никого, кто хотел бы учиться так, как ты, — сказал он.

«Кроме самого себя», — подумала я. Но теперь мне было стыдно: у женщины не должно быть таких сильных желаний.

— Все изменилось после смерти отца...

— Конечно, это самое большое горе для вас с Махин, — печально согласился Гостахам. — Однако возможно, что это совсем не плохо для тебя, отвлечься учебой.

В уме я держала гораздо больше, чем только отвлечение.

— Я надеялась, что с вашего разрешения смогу вы ткать ковер, который вы только что нарисовали, для приданого... если оно мне, конечно, понадобится.

— Неплохая мысль, — похвалил Гостахам. — Но сможешь ли ты позволить себе купить шерсть? Придется занять деньги, — ответила я.

Гостахам задумался на минуту.

— Хотя по сравнению с коврами, которые мы делаем в шахской мастерской, этот будет очень простым, но стоит он будет гораздо больше, чем шерсть для него.

— Я буду упорно трудиться, — сказала я. — Обещаю, что не разочарую вас.

Гостахам пристально смотрел на меня и минуту не отвечал ничего. Внезапно он вскочил с подушек, словно испугался джина.

— Что случилось? — с тревогой спросила я.

Гостахам глубоко вздохнул и снова сел.

— На секунду у меня появилось странное чувство... будто я сидел рядом с молодым самим собой.

Вспомнив его историю, я улыбнулась:

— Юноша, который отдал свое лучшее сокровище шаху?

— Он самый.

— Я поступила бы так же.

— Знаю, — сказал Гостахам. — Вот поэтому в уплату за удачу, вошедшую в мои двери, я разрешу тебе выткать ковер. Когда закончишь, с вырученными деньгами можешь делать все, что угодно, верни мне только деньги за шерсть. Но не забывай: ты все еще обязана выполнять поручения Гордийе по дому.

Я склонилась и поцеловала ноги Гостахама, прежде чем побежала рассказывать матушке благие вести.

У Нахид не было затруднений с приданым, но было много других. Когда она постучала в дверь Гостахама, приглашая меня навестить ее, я уже знала, чего хотела моя подруга. Иногда мы шли к ней домой, и я продолжала учиться письму под ее присмотром. Иногда же мы тайком приходили к тем рядам для зрителей у Лика Мира, где Нахид впервые приоткрыла Искандару свое лицо. Завороженная, я наблюдала за людьми, снующими по площади во время игры, — загорелые солдаты с длинными мечами, косматые дервиши с чашами для подаяния, бродячие музыканты, индусы с дрессированными обезьянами, христиане, которые жили за мостом Джульфа, странствующие купцы, приехавшие сбыть товар, женщины в чадорах со своими мужьями. Мы старались затеряться в толпе, словно рядом были наши семьи. Когда началась игра, Нахид отыскиала глазами своего возлюбленного и следила за ним, как зрители за мячом, все ее тело рвалось к нему.

Искандар был прекрасен, как Юсуф, известный по сказкам своей прелестью, сводившей женщин с ума. Я вспомнила слова, которые обычно использовала матушка: «Ослепленные красотой Юсуфа,

египтянки радостно резали пальцы на своих ногах, а алая кровь капала из ран на пурпурные сливы». Думаю, они сделали бы то же, глядя на Искандара. Особенно меня влекла красота его рта. Белые, ровные зубы сияли как звезды, когда он улыбался. Интересно, каково быть девушкой, подобной Нахид, способной отдать свое сердце такому мужчине, очаровав его. У меня таких надежд не было.

Однажды мы добрались до площади днем, прямо перед началом игры. Я заметила, что люди с восторгом смотрят в сторону дворца шаха. Вдруг затрубили шахские фанфары, и на балконе высоко над толпой появился шах Аббас. Он был одет в длинный бархатный халат, расшитый маленькими золотыми цветами, зеленую рубаху и пояс из ткани трех цветов: зеленой, голубой и золотой. На голове у него был белый тюрбан с изумрудным султаном, его борода была длинной и седой; даже издали я могла видеть, что у него нет многих зубов.

— Ох! — восхищенно произнесла я, впервые узрев царственное величие.

Нахид, выросшая в городе, рассмеялась надо мной.

Шах сел на низкий трон, стоявший посередине голубого с золотом ковра. Затем люди из его свиты уселись полукругом, поджав ноги. Шах подал знак рукой, и игра началась.

Налюбовавшись на него сквозь пичех, я решила оставить Нахид и посмотреть на ковры, которыми торговали на базаре. Я не слишком любила поло из-за пыли и грязи, поднятой лошадьми, и людей, сновавших взад-вперед, чтобы лучше видеть игру, и выкрикивавших имена любимых игроков. Мне захотелось посмотреть на сотканный мной ковер, но я обнаружила, что его больше нет в лавке. Торговец сказал, что вчера продал его иноземцу. Вернувшись, я поделилась новостью с Нахид, но ее ответ был краток и полон упрека. Хотя на ней были пичех и чадор и узнать ее не могли, Нахид все равно нельзя было находиться здесь, и тем более одной. Я была ей нужна.

Нахид снова повернулась к играющим. Она надеялась, что Искандар подаст ей знак, хотя площадь была полна зрителей. Как он узнает ее, маленькую, скрытую от посторонних под белым чадором, среди сотен женщин? Она стояла на том же месте, где впервые открыла ему лицо. Сегодня мы увидели, как он забил три мяча подряд, чем привел зрителей в бешеный восторг. После игры он выехал на поле, чтобы подъехать к каждому из четырех углов и поприветствовать

толпу. Когда он подъехал к нашему углу, то достал из-за пояса кожаный мяч для чавгонбози и швырнул его в воздух. Мяч взлетел высоко вверх и приземлился на вытянутую руку Нахид. Словно *пари* — огненная фея — принесла его ей.

Мы дождались, пока поздравят всех игроков и рассеется толпа. Нахид все еще держала мяч в руках. Через некоторое время к нам подбежал мальчик с кривыми зубами и показал ей из рукава полоску бумаги. Нахид степенно дотронулась до его руки и незаметно втянула письмо в свой рукав, перед тем как дать ему монетку. Спрятав мяч под одеждой, она взяла меня под руку, и мы направились домой. Когда мы миновали людные места, она развернула записку. Я заглянула ей через плечо, надеясь прочитать.

— Что он пишет?

— Здесь только одна строка, и та написана второпях: «В многотысячной толпе никто не сияет так ярко, как ты, о звезда моего сердца. Твой любящий раб Искандар».

Я не могла видеть лица Нахид, целиком скрытого под чадором и пичехом, но я слышала радость в ее голосе.

— Возможно, ваши судьбы сплетены, — сказала я, пораженная.

— Я должна знать наверняка. Пусть Кобра расскажет нам о нашем будущем.

Кобра, старая служанка в доме Нахид, славилась на всю округу точностью своих предсказаний. Она напоминала мне некоторых женщин из нашей деревни, которые по звездам или по пригоршне гороха могли определить благоприятный момент для исполнения желаний. Кожа ее была цвета финика, а тонкие морщины на лбу и щеках делали ее лицо мудрым.

Сразу после нашего возвращения Нахид позвала Кобру в свою комнату. Та принесла две чашки кофе и велела нам выпить их, стараясь не взболтать гущу. Мы управились за пару глотков. Сначала она взяла чашку Нахид и улыбнулась, обнажив беззубые десны. Она предсказала Нахид замужество за богатым человеком, сильным и красивым, как герой Ростам, и детей больше, чем можно сосчитать.

— Он тебе не даст и земли коснуться, — сказала Кобра.

Предсказание было именно таким, какое хотела услышать ее хозяйка, и это заставило меня усомниться в его истинности.

Когда же настала моя очередь, Кобра долго всматривалась в гущу. Несколько раз мне показалось, что она хочет сказать что-то, но она все вглядывалась в чашку, будто видела в ней тревожные знаки.

— Что там? — не выдержала Нахид.

Пряча глаза, Кобра пробормотала, что мое будущее будет таким же, как у Нахид. Потом она быстро собрала чашки и вышла из комнаты, сославшись на занятость.

— Странно, — сказал я, — почему она не сказала, что видела?

— Но она сказала!

— Как мое будущее может быть таким же, как твое?

— Почему же нет? Ты тоже можешь выйти замуж за красивого мужчину и родить много сыновей.

— Но если все так просто, почему она казалась такой испуганной?

— Не обращай внимания, — попыталась успокоить Нахид, — она просто старая. Ей, скорей всего, надо было в уборную.

— Боюсь, зло кометы до сих пор преследует меня, — печально сказала я. — Кобра, наверное, увидела темное в моем будущем.

— Конечно же нет!

Нахид снова позвала Кобру и попросила подробней рассказать, что она видела. Сложив руки на груди, Кобра сказала:

— Больше я ничего не могла прочесть по гуще, но расскажу вам одну историю, которая пришла мне в голову, пока я гадала, хотя мне неведом ее смысл.

Нахид и я снова устроились на подушках, чтобы послушать рассказ Кобры.

Сначала не было, а потом стало. Прежде Бога не было никого.

Жил-был на свете принц, и плохо ему спалось почти каждую ночь. Во сне являлась ему дева, красотой своей затмившая даже луну. Кудри обрамляли белое лицо. Под розовым шелком платья можно было разглядеть ее прекрасное тело и все женские округлости, словно сладкие дыни. Но дальше во сне принц видел, что она плачет, вскинув руки к небу, чтобы показать отчаянье и беспомощность. Он просыпался в холодном поту, не в силах смотреть на ее страдания. Он мечтал помочь ей, но сначала принцу надо было найти эту

девушку. Однажды принц отправился на битву с жестоким вождем, который грабил путешественников, переходивших мост на его землях. Вместе со своими воинами принц прошагал по мосту, чтобы выманить на себя засаду, и много часов сражался с вождем и его племенем под полуденным солнцем. В одной схватке вождь пронзил мечом лучшего солдата принца и, подняв, швырнул его тело с моста. С яростным воплем принц бросился на вождя, клянясь отомстить за смерть друга. Скрестились мечи, но принц был сильнее, он выбил меч из рук врага, повалил его на землю и сел на закованную в латы грудь. Потом он вытащил кинжал, собираясь насладиться смертью человека, который бросил в реку его лучшего солдата, словно лист.

— Остановись! — вскричал вождь. — Ты не знаешь даже, кого убьешь.

— Все просят сжалиться над ними, когда наступает конец, — ответил принц. — Но скоро ты будешь умолять об этом Бога. — Он поднял кинжал.

— Дай же мне хотя бы снять доспехи, чтобы показать тебе, кто я на самом деле.

Разбойник снял шлем, открыв нежное, словно женское, лицо и длинные кудрявые черные волосы.

Принц был поражен.

— Как жаль, что такой прекрасный юноша скоро обратится в прах! Ты сражался так неистово, и я подумал, что ты взрослый мужчина.

— Ты опять ошибся, — сказал разбойник.

Он снял броню и поднял рубаху, открыв мускулистый живот и маленькие груди, словно бутоны роз в солнечном свете.

Кинжал принца дрогнул, а затем упал на землю. Желание убить обратилось в совершенно другое вождение. Он наклонился и поцеловал девушку в нежные губы.

— Что заставило тебя надеть доспехи?

Лицо девушки помрачнело, она опять стала похожа на воина.

— Мой отец был разбойником, он научил меня убивать. После его смерти я продолжала защищать людей и собственность отца.

Несколько дней принцу хватило, чтобы узнать девушку поближе и проникнуться к ней восхищением. Она была такой же хорошей наездницей, как и он, заставляла его взмокнуть в поединке на мечах и

быстрее взбегала на гору. Ее мышцы были сухими и упругими, а в ловкости девушка не уступала оленю. Она была совсем не той, кого он так часто видел во сне, но вскоре он был очарован и женился на ней.

После первого года счастья принца снова стали беспокоить ночные видения. Луноликая каждую ночь являлась ему во сне, коленопреклоненная, с опущенной головой, словно ей было горше, чем прежде. Однажды утром принц поцеловал свою жену-воительницу и попрощался с ней.

— Куда ты?

— Я должен найти кое-кого, — ответил он. — Иншалла, мы снова увидимся с тобой.

Он вскочил на лошадь и поскакал прочь не оглядываясь, чтобы не видеть ее лица.

Месяцами странствовал принц, рассказывая каждому, кто соглашался слушать, о своих снах, только чтобы услышать в ответ: «Здесь в городе нет никого похожего». Наконец он прибыл в город, где люди не отвечали на его вопросы, и принц догадался, что он в нужном месте. В ночь полнолуния он тихо пришел к городскому дворцу и спрятался у его стен. Вскоре он услышал жалобный плач. Перепрыгнув через стену, он приземлился мягко, как кошка, и увидел наконец женщину, завладевшую его душой. Она стояла на крыше на коленях, протянув руки к небу, и содрогалась в рыданиях. Ее черные кудрявые волосы и нежное тело наполнили принца желанием. И он воззвал к ней от подножия дворца:

— О страдающая, не заставляй облака плакать. Я пришел помочь тебе.

Принцесса подняла голову и в изумлении огляделась.

— Поведай мне, из-за чего ты так страдаешь, и я уничтожу это, — сказал принц, и удовольствие от этой мысли напрягло мышцы его предвкушением.

— Кто ты? — недоверчиво спросила она.

Выйдя на лунный свет, принц рассказал историю своего рода и великие деяния предков, повторив, что желает помочь принцессе побороть скорбь.

Принцесса утерла слезы.

— Моя служанка завладела моим отцом. Днем она прислуживает мне, а ночью обвивается вокруг него. Она грозилась сказать отцу, что

я готовлю против него заговор с верховным советником. Я уже отдала ей все свои деньги и драгоценности. Что, если отец поверит в ее ложь? Меня вышлют или казнят.

Принц взобрался на крышу и предложил девушке уехать с ним. Он встретил любовь, так много лет жившую в его сердце, и обещал девушке достойно поступить с ней и жениться на ней. Вместе они покинули город на его коне, а как только добрались до большого селения, принц женился на ней с благословения муллы. Свою первую ночь они провели в покоех караван-сарая, отведенных для шахов. Принцесса была именно такой, о какой он мечтал, нежная, как летний персик. Сон стольких лет обернулся явью.

Принц привез новую жену домой, и первая жена оскалилась, увидев новое приобретение. Но тем не менее все трое вернулись в дом к отцу принца. Многое переменилось с тех пор, как принц покинул его. Теперь он был женатым человеком и прославленным воином, а не просто мечтателем, отправившимся на поиски невозможного.

Отец устроил праздничный ужин в честь возвращения сына. Первая жена попросила принца быть осторожней с едой, которую ему подадут. Последовав совету, принц скормил еду кошке, которая тут же забилась в судорогах и умерла. Отец, решивший взять в жены воительницу, приказал выколоть принцу глаза и бросить в пустыне. Оставшись один, принц долго скитался по пустыне, держа в руках глаза, неспособный даже плакать. Услышав журчание ручья, он опустился на колени и стал водить руками по земле, пока не почувствовал влагу. Напившись воды, он сел отдохнуть. Сверху падали листья, и он мял их в руках, втирая в глазные впадины, чтобы унять боль. И боль немедля унялась. Принц взял глаза и вставил их обратно. Он снова видел!

Принц вернулся в город. Уже на окраине он оказался в гуще сражения. Даже издали среди сотен солдат, закованных в доспехи, он узнал гибкую фигуру своей жены-воительницы, чей меч беспощадно сверкал в воздухе. Издав громовой клич, принц ринулся в бой, и вместе они победили воинов его отца.

Когда битва была окончена, они вернулись в город. Став шахом, принц поселил каждую из своих жен в собственном дворце, заверив, что будет навещать их одинаково часто, и одарил каждую равным числом подарков. С первой женой он охотился, рубился на мечах,

обсуждал военные замыслы, со второй — познавал искусство страсти, и так в согласии они прожили до конца его дней.

Когда Кобра окончила свой рассказ, мы с Нахид сидели молча. Кобра встала и вернулась к своей работе.

— Такая странная сказка, — сказала я, — никогда ее прежде не слышала.

— И я, — отозвалась Нахид. — Какой талисман, верно, был у принца, если он получил все, чего желал!

Она зевнула и растянулась на подушках, подложив руки под щеку. Мне казалось, что Нахид представляет себя такой же счастливой, как и принц. Я с грустью вспомнила, как когда-то воображала себя на месте сказочной принцессы, которая отказывала всем поклонникам, пока один из них не добился ее любви.

Я тоже легла на подушки, подложив обе ладони под щеку, лицом к Нахид.

— Как ты думаешь, он сказал своей второй жене, что у него уже есть одна?

— Надеюсь.

— Я бы этого не перенесла, — яростно сказала Нахид.

— Быть второй женой?

— И третьей, и четвертой. Мои родители никогда не допустят такого. Я буду или первой, или вообще не выйду замуж.

— Для тех, кто из скромных крестьянских семей, — это единственная возможность, — сказала я. — Большинство моих поклонников не смогут позволить себе второй жены, даже наложницы.

Нахид приподняла бровь.

— У богатых все иначе, — ответила она. — Мне кажется, если мой муж возьмет вторую жену, я буду причинять ей горе.

Она зло улыбнулась.

Я вспомнила, что случилось в моей семье.

— После того как мой дед женился во второй раз, на моей бабушке, семьи жили отдельно и мой отец с дядей Гостахамом почти не виделись. Но иногда все происходит по-другому. Когда самый богатый торговец моей деревни привел в дом вторую жену, первая невзлюбила ее. Но однажды она заболела, и младшая ухаживала за ней с такой заботой, что потом они стали лучшими подругами.

Нахид пожала плечами:

— Иншалла, этого никогда не случится со мной.

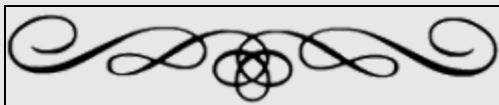
— Я тоже не хочу делиться, — согласилась я. — Но мы не знаем, как относились друг к другу жены принца. Кобра не рассказала нам эту часть.

— Потому что история на самом деле была не о них, — сказала Нахид. — Какой мужчина не захочет скакать с воительницей на коне, а в постели на аппетитной женщине?

Мы рассмеялись, зная, что можем говорить так свободно, оставаясь вдвоем.

В этот раз я задержалась у Нахид. На улице почти стемнело, и она настояла, чтобы служанка проводила меня. Когда мы подошли к моему дому, служанка протянула мне большой сверток, сказав, что это подарок. Внутри были яркие халаты из хлопка шафранового, розового и красного цветов, пара узких платьев, которые надевают под них, и просторные расшитые шаровары, похожие совсем новые. Самым дивным был плотный лиловый халат, обшитый мехом на рукавах, подоле и на груди, доходивший мне до колен. Танцуя от радости, я показала матери эту яркую одежду, и она разрешила мне снять траур, хотя сама собиралась носить его до конца жизни. Счастью моему не было границ; я едва верила в удачу, что свела меня с Нахид.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ



Летним утром, спустя полгода, как мы перебрались в Исфахан, проснувшись, я вспомнила стихотворение, которое часто читала вслух моя матушка, о возлюбленной с щеками, будто розы, волосами черными, словно уголь, и дразнящей родинкой у рубиновых губ.

*Загляни в глаза своей любимой —
Словно в зеркале, увидишь в них себя.*

Мой возлюбленный не был ни красивым игроком в чавгонбози, как у Нахид, ни могущественным старым шахом, ни одним среди тысяч молодых людей, собиравшихся на мостах Исфахана, кутивших кальян в его кофейнях или праздно шатавшихся по кварталу Четырех Садов. Мой возлюбленный был куда загадочней, куда разнообразней, куда чудесней — это был сам город. Каждый день, встав со своей подстилки, я выходила изучать его. Не было глаз голодней моих: они запомнили все дома, людей, животных моей деревни, и теперь я не могла насытиться новыми.

Начинать лучше всего было с мостов Исфахана. Отсюда можно было увидеть величественные горы Загрос, мчащуюся подо мной реку, купола зданий, мерцавшие, как звезды, над домами цвета земли. Одним из самых моих любимых был мост Тридцати Трех Арок, именно по нему мы впервые въехали в Исфахан. Стоя в одной из его знаменитых арок, я наблюдала за людьми, прибывавшими в город и покидавшими его. Некоторые из них, с кожей черной, словно нефть, были с залива, другим, с северо-запада, в наследство от предков-монголов достались раскосые глаза и прямые черные волосы. Иногда попадались кочевники, ноги которых были похожи на стволы деревьев:

им приходилось, неся на спинах свои детей, подниматься вверх в горы, чтобы найти новые пастбища для овец.

Город утолял и мою любовь к коврам. Куда бы я ни устремляла взгляд, везде я видела узоры. Я изучала растения, деревья и цветы Четырех Садов, чтобы понять, как по-настоящему выглядит изображенное на коврах; сам квартал казался мне огромным ковром. По той же причине я рассматривала туши и дичь, которые продавали на базаре: крепкого мускулистого онагра, изящную газель и даже величественного льва, чью гриву так трудно рисовать. «Говорят, можно рисовать лошадей тысячи лет, прежде чем они начнут выскакивать из-под твоего пера, будто живые», — сказал однажды Гостахам.

Я внимательно изучала ковры, которые привозили со всех концов Ирана, и училась распознавать узлы и узоры, характерные для каждой части страны. Даже здания, окружавшие Лик Мира, помогали мне придумывать узоры. Однажды, проходя мимо Пятничной мечети, я заметила, что изразцы на стенах около дверного проема напоминают мне ковры для молитвы. Они были темно-синими, с яркими белыми и желтыми цветами, окруженными зеленым клевером. Я пообещала себе, что когда-нибудь научусь ткать такие же сложные узоры.

Дома ковры занимали большую часть моих дневных мыслей. Я решила усвоить все, что знал Гостахам, и теперь день и ночь работала над заказами, которые он поручал мне. Я быстро сделала эскиз «ботех» и получила разрешение ткать ковер по нему. Один из работников мастерской соорудил у нас дома простой станок, на который я натянула хлопковые нити. Гостахам одолжил мне денег, чтобы купить шерсть, и я пошла на базар выбирать цвета, совсем как он в юности. Я решила купить пряжу простых оттенков, как те, что использовались в моей деревне: насыщенно-коричневую, окрашенную скорлупой грецких орехов, пурпурную — от корня старой марены, алую — из кошенили, желтую — из цветов сафлора. Но как богат был набор оттенков на Большом базаре! Я пришла в восхищение от тысяч мотков шерсти, висящих, словно фрукты на дереве. Здесь были и оттенки синего — от лазури светлой, как летнее небо, до самого темного индиго. И это лишь синий! Глядя на мотки шерсти, я воображала разные цвета рядом друг с другом на ковре. Как насчет лимонно-зеленого или потрясающего оранжевого? Или винно-вишневый с царственно-синим? Я выбрала двенадцать оттенков, радовавших мой глаз, —

гораздо больше, чем я обычно использовала для ковров. Оказалось, что меня влекут яркие цвета: желтый, словно пух цыпленка, травянистый зеленый, оранжевый, как восход солнца, гранатово-красный. Принеся ослепительные мотки домой и установив их на вершине станка, я нарисовала водяными красками рисунок, чтобы правильно вывязывать цвета, которые собиралась использовать. Мне не терпелось начать ковер, помня, как важно доказать, что я приношу пользу в доме. В обед, пока все спали, я вязала, и вскоре ковер под моими пальцами начал обретать вид.

Пока я была занята ковром, матушка пыталась отдалиться от Гордийе, делая травяные снадобья. Лекарства стоили дорого, и хотя она не была большим знатоком их изготовления, Гордийе разрешила матери заниматься этим, так как думала, что в деревне матушка обрела особые силы.

Целыми днями моя матушка собирала корни, растения, травы и насекомых у подножия гор Загрос. Она часто посещала аптекарей, чтобы расспросить о травах Исфахана. Когда-то Кольсум поделилась с ней несколькими рецептами, и матушка помнила их до сих пор. Она также научилась варить снадобья для лечения головной боли и женских трудностей. И хотя снадобья получались вязкими и черными, Гордийе верила в ее силы. Однажды, когда у Гордийе разболелась голова, матушка дала ей отвар, снявший боль и позволивший уснуть.

— Нужно делать больше таких прекрасных лекарств, — заключила Гордийе.

Она пообещала матери, что, когда та приготовит достаточно для дома, остаток ей можно будет продавать и оставлять деньги себе. Это обрадовало матушку — теперь она могла заниматься тем делом, в котором Гордийе не разбиралась.

Однажды Нахид навестила меня, чтобы посмотреть, как я выгляжу в ее старой одежде. Я надела шафрановое платье, шаровары, подшитые матерью, и тот самый дивный лиловый халат.

— Ты такая хорошенькая! — похвалила Нахид. — И щеки у тебя румяные, словно розы.

— Приятно снова надеть яркое после года в черном, — ответила я. — Благодарю тебя за щедрость.

— Не стоит благодарности, — ответила Нахид. — А теперь, надеюсь, я могу рассчитывать на твою помощь? Ты пойдешь со мной на поло?

В этот день я не могла пойти на площадь, у меня было много работы.

— Нахид-чжан, я бы с радостью, но мне надо помочь дома.

— Пожалуйста, — взмолилась она, — мне так нужна твоя помощь.

— Но как же я успею закончить работу?

— Зови Шамси, — повелительным тоном сказала Нахид.

Вошла Шамси в красивом оранжевом шарфе и дешевых базарных бусах. Нахид вложила пару монет в ее ладонь и шепнула, что она получит еще больше, если выполнит сегодня мою работу. Шамси ушла, позвякивая монетами и весело улыбаясь.

Все же я не хотела идти на площадь.

— Ты не боишься, что в один прекрасный день нас поймают?

— Тогда скажем, что мы впервые пришли сюда. А теперь пойдем.

— Но только ненадолго, — согласилась я, хотя чувствовала тревогу.

Мы выскользнули наружу, когда Гордийе отвернулась.

Нахид нужно было передать письмо Искандару, открывающее ее чувства к нему. Она не стала читать его вслух, потому что хотела, чтобы ее возлюбленный был первым, чьи глаза увидят это письмо. Она говорила, что хочет признаться ему в вечной любви словами, которые используют поэты. Я знала, что ее изящный почерк донесет признание до самого сердца Искандара.

Пока мы шли к Лику Мира, солнце палило безжалостно. На синем куполе неба не было ни единого облачка, защищающего от лучей. Дышать под пичехом было словно вдыхать огонь, одежда пропиталась потом. Когда мы пришли, игра уже началась. Зрители кричали сильнее, чем обычно, — была ничья. Пыль висела в воздухе и оседала на нашей одежде. Я надеялась, что игра закончится скоро и никто не обнаружит, что я бросила свои обязанности. Но игра продолжалась до тех пор, пока игроки не устали, и была объявлена ничья.

Но Нахид, казалось, и не заметила, что команда Искандара не выиграла.

— Ты видела, как искусно он играл? — спросила она.

Ее голос был напряженным и высоким, как и обычно, когда она видела своего возлюбленного. Когда толпа начала расходиться, она нашла мальчика, которого посылал Искандар, и искусно передала ему письмо и монету. Затем мы разошлись неподалеку от площади по домам. Поскольку лошади подняли пыль, моя одежда была испачкана. Я надеялась спрятать ее, когда вернусь домой. Но у порога дома ждала Зохране, которой было приказано отвести меня к Гордийе. Раньше этого никогда не случалось. От страха мое сердце билось как безумное. Я сняла верхнюю одежду, свернула ее и вошла в покои Гордийе, надеясь, что она не заметит пыль. Она сидела на подушках, смазывая подступы ступней мазью из хны.

— Где ты была? — сердито спросила она.

— У Нахид, — ответила я, чувствуя, как ложь застревает у меня на языке.

— Неправда, — сказала Гордийе. — Я нигде не могла найти тебя и послала Шамси в ее дом. Тебя не было там.

Боясь встать и смазать хну, она поманила меня к себе.

— Дай руку, — сказала Гордийе.

Я простодушно вытянула руку, и Гордийе ударила по ней деревянной лопаткой, которой только что наносила мазь.

Я пошатнулась, рука вспыхнула болью. Я была уже взрослой, а меня наказывали, как ребенка.

— Посмотри на свою одежду, она вся в грязи. Как можно было так перепачкаться, если ты сидела дома у Нахид?

Боясь, что она снова ударит меня, я быстро призналась:

— Мы были на игре.

— Нахид нельзя появляться на игре. Девушка ее происхождения может потерять все, когда люди начнут говорить о ней.

Раздался стук в дверь, и служанка впустила мать Нахид. Людмила вошла настолько печальная, будто потеряла единственного ребенка.

— Как ты могла? — разочарованно произнесла она. Этот тихий голос был даже страшней удара Гордийе. Людмила говорила на фарси очень медленно, с сильным русским акцентом. — Ты поступила плохо. Ты не поймешь, что значит для такой девушки, как Нахид, появиться в неправильном месте.

— Я очень-очень сожалею, — сказала я, пряча отбитую руку за спину.

Людмила, как и мы с матерью, была чужой в Исфахане. Она всегда напоминала мне маленькую птичку, которая порхала над своим домом, боясь опуститься, словно он был чужой даже после двадцати лет жизни. Из-за виденного на родине во время войн Людмила не выносила вида человеческой крови. Если она видела, как слуга порезал палец, готовя мясо, то начинала дрожать и укладывалась в постель. Нахид рассказывала, что иногда по ночам она кричала о потоках крови, бьющих из груди и глаз людей.

Бледное лицо Людмилы было испуганным.

— Нахид сказала мне, что ты любишь чавгонбози и часто упрашиваешь ее пойти с тобой на игру. Ужасный эгоизм! Надеюсь, ты понимаешь, что это совершенно недопустимо.

Должно быть, я выглядела очень растерянной, ведь я даже поверить не могла, что Нахид переложит свою вину на меня. Но я решила молчать, понимая, какое несчастье ожидает ее, если Людмила узнает, почему мы ходили на игру.

— Я еще не все понимаю в городе, — смиренно сказала я, — этого больше не повторится.

— А в наказание ты будешь убирать ночные горшки из каждой комнаты до следующей луны, — сказала Гордийе.

Мне поручили работу для самых низших из слуг. Забирать горшки с нечистотами из каждой комнаты, сливать их в большую яму, а затем мыть. От одной мысли об этом, меня начинало тошнить.

Мне приказали вернуться в свою комнату. Я рассказала матери о случившемся, но она не приняла мою сторону.

— Мамочка, она ударила меня!

— Как ты могла так глупо поступить? Ты разрушила бы доброе имя Нахид в один день, не говоря уже о своем собственном.

— Ты же знаешь, что я никогда не любила чавгонбози! Нахид сама попросила пойти с ней.

— Зачем?

Я не хотела раскрывать секрет Нахид, это принесло бы ей огромные неприятности.

— Родители очень строго воспитывают ее. А она обожает игру.

— Тебе следовало отказаться! Как будто ты сама не знаешь!

— Прости меня. Я всего лишь хотела угодить ей.

Матушка смягчилась. Я знаю, ты всего лишь хотела помочь. Но раз ты совершила ошибку, надеюсь, примешь наказание без жалоб.

— Хорошо, — печально согласилась я.

— А теперь подойди сюда.

Она смазала горевшую руку припаркой из бараньего жира, сделанной по рецепту Кольсум. Боль в руке уменьшилась.

— Так гораздо лучше, — сказала я.

— Я наконец нашла нужные травы. — Она задумалась на секунду. — Скажи, Нахид обвинила в этой выходке тебя?

— Да.

— Какая подруга поступает так?

— Не думаю, что она сделала это намеренно.

— Надеюсь, — отрезала матушка.

— Наверно, ее просто застали врасплох, — ответила я.

Однако мысль о том, что Нахид пожертвовала мной ради себя, не давала мне покоя несколько дней.

Это был последний раз, когда мы с Нахид ходили на игру. На следующие две недели ее, как и меня, наказали за уход без разрешения. Я оставалась дома, выполняла свою работу и собирала ночные горшки. Теперь, если Нахид собиралась ко мне, служанка провожала ее, ждала, а затем отводила домой.

Отчаявшись увидеть Искандара во время своего заточения, Нахид доверилась Кобре, заплатив ей серебром. Кобра должна была пойти на следующую игру и встать на то самое место, где обычно стояли мы с Нахид. Она возьмет мяч, который поймала Нахид, и будет держать его на виду. Маленький помощник Искандара догадается, что у нее есть послание от Нахид, которая держала мяч так же, когда он впервые нашел ее. С тех пор каждые несколько дней Кобра встречалась с мальчиком на базаре, помогая влюбленным обмениваться письмами.

Отбыв наказание, мы с Нахид начали встречаться каждый четверг в роскошном хаммаме, который посещали самые богатые жительницы нашего квартала. Чтобы мы снова не натворили глупостей, родители Нахид посылали служанку, которая иногда приходила в обед, проверить, на месте ли мы.

В Исфахане я несколько раз ходила мыться в хаммам, но посещать его регулярно было очень дорого, и потому Нахид платила за меня. Это

очень радовало меня, потому что хаммам был одним самых больших удовольствий. Мы проводили почти весь день, купаясь, болтая и исподтишка рассматривая других женщин. Здесь мы узнавали о родах, смертях, помолвках наших соседей. Мы обнаруживали, что женщина беременна, если у нее слегка полнел живот, или смотрели, как молодая жена, которая провела первую ночь с мужем, совершает Великое Омовение.

Хома, главная мойщица, уже была прабабкой, но кожа ее была свежей, как у молоденькой, из-за многих лет работы в пару. Она мыла и растирала меня, как матушка, у нее всегда в запасе были новые истории о посетителях бани. Хома умела искусно расспрашивать, и я часто проговаривалась о себе, расслабляясь до полубесчувствия в горячей воде и под ласковым растиранием. Она узнала все о моей жизни в деревне, о смерти моего отца, о нашей бедности и как это разрушило мои мечты о замужестве. Время от времени я шепотом рассказывала ей даже о трудностях жизни в нашей семье, о желании однажды выйти замуж и иметь свой собственный дом.

— Да исполнит Аллах твои самые сладкие мечты! — любила повторять Хома, но иногда в ее глазах я видела сомнение.

Однажды Хоме пришлось уехать на несколько месяцев ухаживать за больным дядей. Когда я снова увидела ее, она, как обычно, расхаживала по хаммаму с распущенными седыми волосами, обвисшей грудью, достававшей почти до фартука из тонкой ткани, повязанного на пояснице. После радостных поцелуев и приветствий мы с Нахид разделись и отдали ей одежду, которую она сложила для сохранности в корзину. Хома растирала Нахид грубым киссехом, чтобы убрать ороговевшую кожу, и мыла ей голову, в то время как я отдыхала в одном из теплых бассейнов.

Когда Хома закончила, она позвала меня по имени. Ее круглое лицо и седые волосы освещал луч света, падавший из овальных окон на крыше хаммама. Когда я, обнаженная, вышла из тени, глаза банщицы расширились от удивления.

— Как ты изменилась! — воскликнула она.

— Здесь в городе все меняется быстро, — пробормотала я.

— Нет, я не это имела в виду. — Она подвела меня к свету. — Посмотри на себя!

Нахид оглянулась оттуда, где она нежилась, и несколько женщин, мывшихся по соседству, тоже уставились на меня. Мое тело залито было солнечным светом, падавшим сверху. Я попыталась наклониться, чтобы прикрыть себя, но Хома удержала меня.

— Последний раз, когда я тебя видела, ты выглядела маленькой девочкой. Почти ничего здесь, — сказала она, ткнув мне пальцем в грудь, — а здесь просто ничего. — Она шлепнула меня по бедрам. — И что случилось всего через несколько месяцев!

Это была правда. Я так и не выросла, ноги и руки у меня были маленькими, как у ребенка. Но от шеи до бедер мое тело округлилось на удивление. Мои груди, прежде такие маленькие, были теперь как два спелых яблока, а бедра были круглыми, словно дыни.

— Неужели ты тайно помолвлена?

— Нет, — сказала я.

Можно было предположить, что последнее время я стала есть больше сыра, мяса и хлеба.

— Значит, скоро будешь, — добродушно сказала она.

Хома вертела меня, стараясь разглядеть каждый изгиб.

От стыда я вся покраснела. В хаммаме некуда было спрятаться.

— Твое тело совершенно, как юная роза, — наконец провозгласила она. — Скоро тебя одарят мужем, который, да будет на то воля Аллаха, возлелеет каждый лепесток. И Хома начала петь старую южную свадебную песню, голосом прекрасным, словно у соловья.

Юная горянка посреди цветов,
Волосы твои словно фиалки, а тюльпаны — щеки твои,
Не слушай больше птичьих песен,
Ведь прекрасный молодой пастух идет покорить твоё сердце
песней!

Несколько женщин подхватили, а некоторые вскочили и начали притопывать и хлопать в ладоши. Не зная, что делать, я тоже запела. Женщины подбадривали меня, словно это была моя свадьба. Забыв о смущении, выпрямившись во весь рост, я пела.

Когда песня кончилась, женщины стали еще больше смеяться и рискованно шутить.

— Слышала, крепкие молодые пастухи знают, как обращаться со своими женами, — ухмыляясь, сказала одна.

— Отчего бы и нет, они это в стаде видят целыми днями! — воскликнула другая.

Таков был подарок мне от Хома — воспеть мое созревание в хаммаме перед всеми женщинами, которые могли знать подходящего мужа. Она также показала, что мне самой есть что предложить.

— Теперь ты одна из нас, — одобрительно сказала Хома, — за исключением некоторых подробностей, которые ты скоро узнаешь.

Женщины вернулись к своим банным делам, а Хома начала тереть мне спину киссехом. Она поглядела на Нахид, чье тело по-прежнему было худым и длинным, как кипарис.

— Что бы ты ни ела, Нахид тоже должна есть, — сказала Хома.

Глаза Нахид были закрыты, и она не ответила. Я не могла понять, спит она или просто притворяется.

И почему мы всегда думаем, что у соседей курица вкусней нашего гуся? До конца дня я перестала завидовать тому, что у Нахид такая белоснежная кожа, такие кудрявые волосы и такие изумрудные глаза.

В награду за мою помощь с ковром для Ферейдуна Гостахам обещал показать мне ковер, которому не было равных по красоте, и как-то он наказал мне прийти в шахскую мастерскую после последнего призыва к молитве, чтобы увидеть ковер, который будут бережно хранить веками. Я даже не могла представить себе такое сокровище: в моей деревне ковры использовали, пока те не изнашивались в прах.

Я вышла из квартала Четырех Садов, когда прозвучал последний призыв к молитве. Люди расходились от Лика Мира, ибо призыв означал завершение дня. Торговцы собирали свои товары и готовились отправиться домой. Я прошла мимо человека, несшего корзину неспелого миндаля, который я очень любила. Ядра орехов были мягкими, как сыр, но гораздо вкусней.

В мастерской со станками, где я уже побывала, Гостахам ждал меня. Ни одного рабочего не было, и стояла тишина.

— Салам, — оглядевшись, сказала я. — А где же все?

— Дома, — ответил он. — Иди за мной, да побыстрее.

Он вел меня через комнаты, увешанные коврами на разных степенях завершенности. В конце длинного коридора мы подошли к двери, запертой на большой железный замок, изогнутый, словно скорпион. Посмотрев по сторонам, Гостяхам убедился, что поблизости никого нет, достал ключ из кармана рубахи и открыл дверцу. Потом зажег два маленьких светильника и протянул один из них мне. Огонек осветил большой ковер на станке.

Держа перед собой лампы, мы приблизились.

— Смотри внимательнее, — сказал он, поднеся лампу к ковра. — Восемь человек работают над ним уже год, а закончена только четверть.

Сейчас ковер был примерно моего роста, а значит, должен получиться в четыре моих роста. На каждый радж приходилось около восьмидесяти узлов, а узоры были точны, словно на миниатюре. Наездники в оранжевых и зеленых шелковых рубахах, золотых и белых тюрбанах преследовали антилопу и газель. Полосатые тигры и дикие ослы боролись друг с другом, как братья. Музыканты играли на лютнях. Райские птицы чистили перья, распуская свои украшенные драгоценными камнями хвосты. Люди и животные выглядели будто живые, совсем как настоящие. Это был самый прекрасный ковер из всех, что я когда-либо видела.

— Кто может позволить себе такой дорогой ковер?

— Этот мы ткем для покоев шаха. Он олицетворяет самое лучшее на нашей земле — нежнейший шелк, богатые краски, лучших ткачей и художников. Это ковер переживет тебя, меня и даже детей наших детей, когда они станут прахом.

Я вгляделась в ковер пристальнее, стараясь держать лампу на безопасном расстоянии. Взгляд мой остановился на фигурке, сидящей возле кипариса.

— Как им удалось так точно изобразить человека?

— Здесь дело не в фигуре, а, скорее, в лице — такая работа требует высочайшего умения. Другие ткачи кланялись особым искусникам, когда пришлось делать глаза человека. Иначе лицо получилось бы равнодушным, пустым или даже злым.

— А что вы скажете о цветах?

— Они настолько хороши, насколько это нужно для лучшего из ковров, — ответил он с лукавой улыбкой, которой я сперва не

поняла. — Посмотри, как сверкает золотая нить, освещающая сложность узора. Приглядишься, как тусклые цвета — блеклый зеленый, скромный бежевый, бледный голубой — подчеркивают самые насыщенные цвета, словно перья павы подчеркивают красоту павлина.

— Замечательно, — согласилась я. — Чья это работа?

— Моя, — ответил Гостахам, и мы оба рассмеялись.

После этого мы посмотрели на ковер Ферейдуна, который был почти готов. Изображения драгоценных камней в узоре сверкали под светом наших ламп, будто настоящие камни. Гостахам обвел каждый из них тонкой цветной линией, как ювелир заключает камень в серебро или золото. Ковер выглядел очень изящно и женственно; мысленно я сравнила его с охотничьим ковром для шаха.

— Он получился даже красивей твоего наброска, — сказал Гостахам так, будто я сама нарисовала все. Его великодушие не знало границ.

Когда мы покидали мастерскую, я ощутила грусть. Будь я мужчиной, Гостахам сделал бы меня подмастерьем, обучил всем умениям, которыми так хорошо владел. С завистью вспоминались мне молодые ткачи, работавшие в мастерской во время моего прошлого прихода. Они могли целый день посвящать учебе, а я должна была проводить долгие часы на кухне и только после этого могла уделить время ковроделию. Однако у меня было гораздо больше возможностей, чем у многих девушек. — Гостахам взял меня под свою опеку и помогал мне совершенствоваться. За это я каждый день благодарила Аллаха.

Домой я вернулась воодушевленной. Гостахам показал мне жемчужину, на которую дозволено было смотреть лишь немногим; несколько дней назад Хома восхищалась в хаммаме тем, какой я стала женственной. С тех пор как не стало отца, я впервые преисполнилась надеждой.

Проходя через двор, я остановилась, чтобы посмотреть на свой ковер, и увидела его в новом свете. Узор был хорош, слава Гостахаму. Но теперь я понимала, что не слишком постаралась с выбором цветов. Однажды я видела, как Гостахам разглядывает мой ковер со странным выражением лица, словно съел что-то кислое. Хотя он ничего не сказал по поводу моего выбора, он несколько раз замечал, что поможет мне

выбрать краски для моего следующего ковра. Теперь я знала, в чем дело. Я выбирала каждый цвет за его собственную красоту и не уделяла внимания тому, как они будут смотреться вместе. Почему я не спросила совета у Гостахама? Я была так одержима мыслями о ковре и так одурманена разнообразием цветов, что бросилась вперед без оглядки. Я сразу не поняла, что узор такой сложности требует мастерства в подборе оттенков. Ночью я едва смогла заснуть. Звезды еще сияли на небе, и я поднялась, чтобы снова посмотреть на ковер. Цвета были не просто плохи, они враждовали между собой. Я ощутила порыв сорвать ковер со станка и начать заново.

То, что хорошо в моей деревне, в городе смотрелось смешно. С самого первого дня в Исфахане мне вечно напоминали о моем скромном происхождении. Я не умела читать и писать, как дети в богатых семьях, одеваться, чтобы быть похожей на цветок, вести себя с утонченностью придворных. Я хотела сиять так же ярко, как все в Исфахане, единственном городе, достойном называться «половиной мира». Возможно, если мой первый ковер покажет, сколь многому я научилась, я избавлюсь от черного действия кометы и мы с матерью ступим на благоуханный путь удачи.

Я никогда не слышала, чтобы кто-то переделывал ковер. В моих ушах будто звучал голос отца, просившего не делать этого, ведь я уже вывязала тысячи узлов. Но потом я вспомнила, как пошла в красильню Ибрагима, открыла секрет бирюзовой краски и выткала ковер, который радовал глаза незнакомцев, хотя поначалу родители не одобрили мой поступок. Я вспомнила, как взяла перо у Гостахама и нарисовала орнамент, который помог ему, хоть он и кричал на меня за то, что я осмелилась взять его вещь.

С тем же яростным желанием я взяла нож, которым отрезала излишки шерсти, и начала перерезать нитку за ниткой. Тысячи и тысячи узлов, связанных мной, начали терять форму; рисунок искажался. Когда Гостахам проснется, я скажу ему, что поняла свою ошибку в выборе цветов. Я попрошу у него совета, и он будет гордиться моей работой.

Еще до рассвета я закончила распускать ковер и теперь снова натягивала нити на станок. Первой увидела то, что я сделала, Гордийе. Она несла из погреба на кухню большой кувшин с кислым вишневым вареньем, когда увидела пустой станок и уничтоженный ковер. Она

взвизгнула и уронила кувшин, он вдребезги разбился у ее ног, варенье растеклось липкой кроваво-красной лужей. Через мгновение во двор высыпали слуги. Дрожа, я застыла у станка.

— Сумасшедшая! — закричала Гордийе. — Ты сошла с ума, как тот безумец из пустыни, Маджун! Да о чем ты только думала?

Вокруг царила неразбериха, все пытались понять, что случилось. Али-Асгар наклонился к Таги, мальчику-слуге, и расспрашивал его. Шамси подбежала к Гордийе, чтобы спросить, не принести ли розовой воды понюхать, привести в сознание. Кухарка обхватила голову, будто на похоронах. Гостяхам выбежал во двор и застыл, глядя на свисавший, будто порванный ковер. Он переводил взгляд с меня на ковер, не веря глазам.

В ужасе прибежала моя матушка, едва успев накинуть шарф на голову.

— Что случилось? — умоляюще воскликнула она.

Никто даже не оглянулся на нее.

— Ты, деревенская дура! — кричала на меня Гордийе.

Она повернулась к матери, требуя объяснений, но та только ошеломленно застыла, поняв, что я наделала.

— Можешь представить себе, сколько шерсти ты извела? Столько шерсти и столько работы впустую! Ты что, пытаешься разрушить наше хозяйство? — колотя себя ладонью по груди, кричала Гордийе. — Мы приютили их, а они пытаются разорить нас! Почему? Почему Аллах наслал на нас такую беду? Скажи — почему? — требовала она от своего мужа.

От ее слов у меня похолодели кости.

Гостяхам повернулся ко мне, в его глазах был гнев.

— Объяснись! — приказал он.

Он был единственным, у кого я могла просить защиты. Я заговорила, с трудом выдавливая из себя слова.

— Цвета был плохими, — запинаясь, выговорила я и закрыла руками пылающее лицо, будто пытаюсь спрятаться.

Гостяхам не стал спорить.

— Твои глаза ослепило вчерашнее зрелище, так бывает с новичками. Но зачем же ты уничтожила месяцы работы? Почему сперва не посоветовалась со мной?

— Мне было стыдно отвлекать вас, — прошептала я, потеряв от страха голос. — Я решила, что могу сделать лучше.

— Конечно ты можешь, — сказал он. — Но почему ты решила, что не можешь продать этот, а затем соткать другой, много лучше?

— Дура! — закричала Гордийе.

От этого слова я съежилась. Они были правы; надо было все обдумать, но я так была взбудоражена утром, так увлечена мыслью о другом ковре. Теперь я осознала, что натворила. Я стояла у станка, страдая от безжалостных взглядов слуг, смотрящих на меня с презрением и удивлением.

Моя матушка упала на колени перед Гордийе и начала целовать ее пальцы и черную шаль, выпачканную вареньем.

— Вставай! — раздраженно сказала Гордийе.

Матушка поднялась, с мольбой протянув к ней руки.

— Пожалуйста, простите мою своенравную дочь, — сказала она. — Я заплачу за шерсть. Я приготовлю еще снадобий и продам их соседям. Она всего лишь хотела как лучше. Она всегда была такой — иногда она забывает о разуме.

До ее слов я не понимала этого, но теперь знала — это правда. Я стояла перед распущенным ковром, стыдясь того, что не умею отличить хорошую мысль от никудышной.

— Забывает о разуме? О каком еще разуме? — снова закричала Гордийе, продолжая колотить себя в грудь.

Гостях нахмурился, сжав руки так, будто с трудом сдерживался.

— Такой опрометчивый поступок не может остаться безнаказанным, — сердито сказал он. — До следующей луны тебе запрещено выходить из дома. Ты будешь делать все, что прикажет моя жена. Теперь ты не сможешь даже вздохнуть без ее разрешения.

Я знала, что сейчас лучше молчать и не задавать вопросов. Я стояла, опустив глаза, лицо мое пылало от стыда.

— Сначала она убегает смотреть чавгонбози, — сказала Гордийе, — а теперь это. И зачем мы только дали им крышу?

Моя матушка задрожала — ее худшие страхи сбывались. Гордийе попыталась уйти, но не смогла ступить и шагу. В ужасе она посмотрела вниз. Варенье приклеило ее ноги к полу. Пробормотав: «Слабоумная!» — она скинула туфли и босиком направилась в свои покои.

Гостяхам последовал за ней, пытаюсь утешить. Перешептываясь, слуги начали убирать варенье и разбитый кувшин.

— Столько работы зря, — сказала кухарка, которая варила варенье.

— Когда же наш завтрак снова станет слаще? — печально спросил Али-Асгар, потому что все знали, что Гордийе не купит для нас ничего к хлебу.

Опустив голову, я пошла за матерью к нашей комнате.

— Картошка, и та умней, — сказала кухарка, думая, что я не слышу.

— Это все ее дурная звезда, — добавила Шамси.

Когда мы вернулись, матушка не стала ругать меня. Она даже не посмотрела в мою сторону. Она только надела чадор и стала молиться, прикасаясь головой к мохру — глиняной плитке, лежавшей на полу. Закончив, она села, подогнув под себя ноги, и начала повторять:

— Прошу, Аллах, защити нас. Прошу, Аллах, не дай нам стать бродягами. Взываю к вам, о имам Хоссейн, Хазрат-и-Али! Вы, знавшие, что такое быть мучеником, защитите мою дочь, совершившую глупую детскую ошибку.

Как бы я хотела обдумать опасения матери до того, как распустила ковер. Когда она замолчала и замерла, смотря перед собой, я подползла к ней.

— Биби, — сказала я, дотронувшись до ее руки, — от всего сердца прошу у тебя прощения. Если бы я знала, как это разгневает всех, я бы никогда не приняла такое глупое решение.

Но рука была неподвижной, матушка не посмотрела на меня.

— Сколько раз мы с отцом просили тебя не торопиться? Сколько?

— Знаю, — вздохнула я.

Матушка взглянула в потолок, словно прося Аллаха о лучшей дочери.

— Похоже, ты так и не поняла, как тебе повезло, — ответила она. — Однако теперь, думаю, твоя удача закончится.

— Мамочка, но я ведь хотела как лучше, — простонала я.

— Да отсохнет твой язык!

Я отвернулась к стене и осталась так сидеть, глаза мои были сухими, но внутри я вся горела. Я отдала бы жизнь моего сердца,

чтобы облегчить страдания матушки. Она снова принялась молиться, и голос ее был таким громким, будто поток слов мог смыть мою ошибку.

Месяц, который длилось наказание, показался мне бесконечным, как пустыня. Утро я начинала, собирая и опорожняя ночные горшки, позеленев от тошноты. После того как Гордийе советовалась с кухаркой и Али-Асгаром, распределяя обязанности на день, она поручала мне то, чего больше никто не хотел делать. Я мыла сальный пол кухни, резала почки, покрытые слизью, стирала и выкручивала грязное белье, пока не начинали болеть руки. Даже днем, когда все слуги спали, Гордийе нагружала меня работой. Кожа на руках стала грубой, как козьи рога, и каждый вечер я в изнеможении падала на постель. Горько сожалела о совершенной ошибке, я все же думала, что мое наказание слишком сурово, а Гордийе наслаждается своей властью надо мной.

Однажды утром, когда срок моего наказания близился к концу, слуга позвал нас с матерью в бируни, к Гостахаму. Ноги мои задрожали, я была уверена, что он попросит нас покинуть дом. Войдя в Большую комнату, я поразилась, увидев Гостахама сидящим на почетном месте на дальнем краю ковра, а справа сидела Гордийе. Он указал матери на подушку слева. Я осталась стоять напротив, у другой стороны ковра.

— Как ты, ханум? — спросила Гордийе, назвав мою матушку так, как уважительно называют замужних женщин. — Надеюсь, ты хорошо себя чувствуешь? — спросила она с неожиданной вежливостью.

— О да, — ответила моя матушка тоном столь же вежливым. — Очень хорошо, благодарю.

— А ты, моя маленькая? — продолжила Гордийе.

От ее неожиданной заботливости по коже пробежали мурашки. Я ответила, что совершенно здорова. Глядя на Гостахама, я пыталась понять, что происходит. Хотя он привык часами сидеть перед станком скрестив ноги, спина его оставалась прямой, как станок, а сейчас он все пытался усесться поудобней.

Подали кофе и финики, и Гордийе сперва предложила их нам. Пока мы пили, в комнате стояла неловкая тишина.

— Ханум, — не выдержал наконец Гостахам, — я обязан сообщить вам о письме, которое сегодня пришло от Ферейдуна,

торговца лошадьми, несколько месяцев назад заказавшего у меня ковер.

Матушка очень удивилась, так как раньше слышала это имя только однажды, когда я рассказывала ей о моей помощи для ковра с самоцветами.

«Что опять не так? — думала я. — Неужели ему что-то не понравилось в моих узорах?»

— Ясно, что Ферейдуну понравился ковер, судя по тому, что он сказал, увидев его еще на станке, — продолжал Гостахам. — Но письмо, которое он написал, не имеет к этому почти никакого отношения.

Трясущимися руками я поставила чашку, боясь пролить кофе на шелковый ковер и оставить большое коричневое пятно, которое никогда не отмоется.

— Есть только одна вещь, которую может желать такой богатый человек, как Ферейдун, — и это твоя дочь. Гостахам произнес это деловито и прямо, тоном, каким привык договариваться о цене ковра.

Моя матушка прижала ладони к щекам.

— Нет бога, кроме Аллаха, — сказала она, как обычно говорила, когда была удивлена.

Гостахам обеими руками поправил свой тюрбан, будто больше не мог терпеть его тяжесть. Я знала его достаточно хорошо, чтобы заметить по суетливости, как он недоволен. Но почему? Что может быть более лестным, чем предложение богатого мужчины?

Гордийе вскочила и нетерпеливо воскликнула:

— Он хочет взять твою дочь в жены!

Гостахам предостерегающе взглянул на Гордийе, но моя матушка не заметила этого. Она вскочила на ноги, чуть не пролив кофе.

— Наконец-то! — произнесла она, воздев руки. — Небеса послали дар моему единственному ребенку! После всего, что нам пришлось вытерпеть, несчастья отступили! Хвала пророку Мухаммеду! Хвала Али!

Гордийе, казалось, позабавила эта вспышка чувств, но она добросердечно ответила:

— Мое материнское сердце знает, что чувствует твое. Немногим женщинам улыбнулась такая удача, благая, словно дождь в пустыне.

— Дочь моя, весна моего сердца, — воскликнула матушка, раскрывая мне объятия. — С самого рождения ты приносила чудеса в нашу скромную семью! Ты свет моих очей!

В сердце моем забились надежда. Выйдя замуж за богатого человека, я стану одной из тех полных, изнеженных дам, сравнением с которыми дразнили меня женщины в деревне. Возможно ли такое везенье в год появления кометы?

Успокоившись, моя матушка спросила:

— Как же Ферейдун смог возжелать мою дочь? Вне дома она всегда закрыта с ног до головы!

Я молчала. Меньше всего я хотела, чтобы в семье узнали о моем появлении перед незнакомым мужчиной с открытым лицом.

— Думаю, Хома расхваливала твою внешность в хаммаме, — сказала мне Гордийе, — кто-то из женщин Ферейдуна была там в это время и рассказала ему.

Я облегченно вздохнула. Он дожидался удобного случая, чтобы сделать предложение. Внезапно я вспыхнула, подумав о том, что служанки Ферейдуна могли рассказать ему, как я выгляжу без одежды.

Матушка решила, что я молчу из скромности, и спросила Гордийе:

— Когда назначат церемонию? Как только мы будем готовы, я думаю?

— Полагаю, — ответила та, — но не думаю, что Ферейдун будет устраивать пышную свадьбу. Ему и твоей дочери нужно будет только сходить к мулле, чтобы узаконить все.

Я никогда не была на богатых свадьбах, но помнила, что в деревне свадьбы длились по три дня, а иногда и дольше. То, о чем говорила Гордийе, больше походило на заключение договора.

— Не понимаю, — сказала матушка.

— Предложение, которое у меня тут, — сказал Гостахам, протягивая ей изящно написанное письмо, — не о постоянном браке. Он предлагает сигэ на три месяца.

Я слышала это слово, но не знала, что оно значит, — что-то краткое.

— Сигэ? — озадаченно сказала матушка. — Я слышала, что жители Кума могут заключать сигэ на час или на ночь. Но это делается лишь для развлечения. Вы хотите, чтобы моя дочь так вышла замуж?

Должно быть, Гордийе заметила испуг на наших лицах.

— Это правда, такой брак не длится вечно, — подтвердила она, — но волей Аллаха в этом мире ничто не вечно. А это замужество может принести вам деньги, которые вы не заработаете нигде.

Торговые склонности в моей матери не притупились. Она выпрямилась, в глазах появилась свирепость. Сейчас она выглядела как в тот день, когда заламывала высокую цену женщинам из гарема.

— Сколько? — стальным голосом спросила она.

Гостахам развернул письмо и прочел сумму. Столько же Ферейдун заплатил Гостахаму за ковер. Очень приличные деньги для нас, но недостаточно приличные, чтобы купить нашу независимость.

— Мало. Моя дочь потеряет девственность, и кто потом захочет взять ее в жены? Лучше найти ей мужа на всю жизнь.

Гостахам хотел было согласиться, но Гордийе опередила его:

— Ты хочешь сказать, что лучше отдала бы ее сыну пекаря с волосатыми руками, которые будут вечно в муке, чем человеку богатому? Не забывай, что сигэ можно возобновлять. Если твоя дочь угодит Ферейдуну, он может оставить ее рядом надолго. И каждый раз он будет платить установленную сумму. Он также может дарить ей драгоценности или даже дом. Если она удачлива и умна, то этот союз будет очень выгодным.

Гостахам снова заворочался на подушке, лицо его было не таким радостным.

— Не будем забывать, что и закончиться это может скоро, — возразил он. — Обязательство дано только на три месяца. Продлит он срок или нет — полностью его решение.

Гордийе заговорила с матерью ласково, словно пытаясь опровергнуть слова мужа:

— Ну почему такая прекрасная девушка, как твоя дочь, не сможет угодить Ферейдуну? Какая луна будет светить ему все эти ночи, каждую ночь!

— Да, будет, — сказала матушка. — Раз он так восхищен ею, почему же не сделает нам настоящее предложение?

— Он не может, — сказала Гордийе. — Его первая жена умерла от холеры, пощадившей его дочь. Как сын богатого человека, он должен жениться на девушке благородных кровей, которая продолжит его род.

Я знала, что деревенская девушка этого не сможет.

— Хома уже ищет подходящую молодую женщину. Но мне кажется, что Ферейдун жаждет общения, поскольку он только что оплакал первую жену. Он мог выбрать кого угодно, однако выбор пал на твою дочь.

Я ощутила наплыв возбуждения. Он заметил меня и сделал мне предложение — девушке из деревни, чьи пальцы в мозолях от вязания ковров и уборки.

— Ковер с самоцветами, должно быть, заставил его обратить на тебя внимание, — сказала Гордийе, словно прочитав мои мысли. — Среди всех женщин он выбрал тебя. О большем ты и мечтать не могла — привлечь внимание такого богатого мужчины.

— Правда, — согласилась я, краснея.

— Бояться действительно нечего, — заверила Гордийе, — и дети, которых ты родишь, будут считаться законными отпрысками его рода, которых он будет содержать. Человек его положения не позволит голодать матери своих детей. И только представь, что случится, если ты сможешь удовлетворить его и сделать счастливым.

Гостахам поднял руки, словно пытаюсь прервать этот поток слов:

— Помни, ханум, хотя ее дети будут законнорожденными, у них не будет тех же прав, что у детей от постоянных жен.

Гордийе будто отмахнулась от слов мужа:

— Только Аллаху известно, что может произойти. Не в нашей воле решать.

Гостахам посмотрел на мою матушку:

— В твоих интересах, ханум, очень тщательно обдумать его предложение. Никто не может предсказать, останется Ферейдун или уйдет, будете вы жить в роскоши или же скатитесь до попрошайничества. А у детей твоей дочери не будет никаких прав на наследство.

Гордийе раздраженно фыркнула:

— Ты не знаешь, как может сложиться ее судьба, если она выйдет замуж за пекаря. В любой день он может заболеть и умереть. Шах может обвинить ее мужа в мошенничестве с весом хлеба и изжарить в его собственной печи. Или он разобьет себе голову, упав с мула.

— Верно, — ответил Гостахам. — Но тогда у нее будут родственники, на которых она сможет положиться: родители ее мужа,

братья, двоюродные братья и сестры. И ей не придется страдать в одиночестве, проведя с мужем всего три месяца.

— Страдать? — спросила я.

— На самом деле волноваться не о чем, — успокоила Гордийе. — Сигэ разрешен законом.

— Разрешен, но некоторые люди считают такой союз низостью, — возразил Гостахам.

Лицо мое вспыхнуло на миг, хотя я не совсем понимала, о чем он.

Гостахам повернулся к моей матери:

— Если бы он предлагал ей постоянный брак, я бы всеми силами стал уговаривать вас согласиться.

— Тем не менее, — быстро вмешалась Гордийе, — это повод отпраздновать. Вам бы лучше принять предложение и использовать его как еще один источник дохода. Особенно теперь, когда наши доходы так ненадежны.

— Ненадежны? — сказала матушка, оглядывая богато обставленную комнату; я оглянулась вслед за ней и увидела большие букеты красных и желтых роз, горы сладостей, блюда со сладкими дынями и огурцами и чаши, полные жареных фисташек. — У вас трудности с деньгами?

— Жалованье мужа в шахской мастерской с трудом покрывает наши расходы, — сказала Гордийе. — Шах позволяет ему брать частные заказы, которые бывают нам подспорьем, но сегодня они есть, а завтра их ветер унес. Новый шелковый ковер — это первое, без чего обходится семья, у которой появились денежные трудности. — Она повернулась к Гостахаму. — И не всегда можно полагаться даже на защиту шахской семьи. Помню истории о том, как шах Тах-масп уволил сотни художников-миниатюристов, позолотчиков, каллиграфов, переплетчиков, когда стал очень набожен. Такое может случиться вновь.

На секунду на лице Гостахама появилось отвращение.

— Шах Аббас не такой, как его дед. У него нет причин закрывать мастерскую, которая приносит огромную прибыль.

— Тем не менее кто может предсказать, что случится? А мать и дочь должны задуматься о своем будущем, — нетерпеливо возразила Гордийе.

От этих слов моя матушка покачнулась, будто от порыва жестокого пустынного вихря. Ничего не пугало ее больше, чем мысль, что нам снова придется бороться за свое существование, как в те месяцы после смерти отца.

— Семья Ферейдуна имеет дюжины домов по всему Исфахану и далеко за его пределами. Для каждого дома, который они покупают, и для каждого шатра, который они разбивают, нужен ковер, хороший ковер. И эта семья заказывает не шерсть, а шелк. Подумай, какую пользу ты принесешь нашей семье этим союзом, — сказала она, обернувшись ко мне.

Впервые я услышала от нее слова «*наша* семья», когда речь шла о нас с матерью. Хотя деньги Ферейдуна будут нашими, я поняла, какие у Гордийе причины так настаивать на этом союзе.

— Для *нашей* семьи я сделала бы все, что угодно, — ответила я.

— И я, — добавила матушка. — Что он сказал о доме для моей дочери?

— Ничего, — ответила Гордийе, — но если она оставит его довольным и будет покорной во всем, то Ферейдун, возможно, подарит ей дом.

Матушка вздохнула:

— Конечно, это не то предложение, о котором я подумала вначале...

— Понимаю. Конечно, ты желала лучшего для нее. Но может ли мечтать о лучшем девушка без приданого? — попыталась утешить Гордийе.

Матушка нахмурилась, в ее глазах я увидела беспомощность.

— Я дам ответ через несколько дней, — наконец сказала она.

— Только не заставляй его слишком долго ждать, — предупредила Гордийе.

— И не говорите никому ни слова о предложении, — добавил Гостахам. — Мы хотели бы сохранить это в тайне, даже если Ферейдун женится на твоей дочери.

— Почему? — спросила я.

Гордийе отвела глаза.

— Это совершенно законно, — ответила она.

Затем наступила длинная, неловкая пауза, пока Гостахам прочищал горло. Матушка наблюдала за ним, ожидая ответа.

— Семьи, подобные нашей, не хотели бы выносить наружу события такого рода, — наконец сказал он.

Но меня заботило совершенно другое — словно соль жгла под кожей.

— А как же мое обучение? — спросила я. — Гостахам ведь все еще учит меня.

Первый раз за все утро Гостахам выглядел довольным, будто я и вправду была дитя его сердца.

— Что бы ни решила твоя матушка, я буду продолжать учить тебя столько времени, сколько захочешь, — сказал он.

Казалось, луч света протянулся от его сердца к моему.

— Я хочу продолжать обучение, — ответила я. — Но что если мне придется уехать далеко?

— Пока Ферейдун не предложит дом, ты останешься здесь, — сказала Гордийе.

— Запретит ли он ей показываться перед незнакомыми?

— Ферейдун богат, но он не из знатной семьи Исфахана, — ответила Гордийе. — Единственная женщина, от которой он потребует этого, — его постоянная жена. Она повернулась ко мне.

— Не беспокойся. Думаю, его не интересует, что ты делаешь в течение дня.

После этого разговора я вернулась в нашу комнатку, ничего не видя перед собой, затем поднялась на крышу проверить белье, хотя его там не было, спустилась к кухарке и спросила, не нужна ли ей помощь. Я нарезала лук, но затем нечаянно вывалила миску с очищенным пажитником на пол. Меня выставили из кухни, велев больше не возвращаться.

Я ничего не имела против Ферейдуна, хотя он не был красив, как Искандар, но он был высок, хорошо сложен и от него притягательно пахло лошадьми. Но я надеялась получить от сватающегося иное предложение. Если Ферейдун желал меня, почему не предложил мне выйти за него замуж? Если ему нужна женщина знатных кровей, чтобы продолжить род, почему бы не жениться сначала на знатной девушке, а потом сделать меня второй женой?

Теперь, когда я знала, что моя судьба может измениться в одночасье, повседневные труды казались особо невыносимыми. Если я

выйду замуж, то навечно расстанусь с девственностью и смогу рожать детей. Я преобращусь навсегда. Мне представились дни нег и ночи любви, чаши сластей и фиников, живот, грузнеющий плотью. Но что, если через три месяца я перестану быть замужней? Вряд ли я успею даже располнеть.

Хотелось пойти к Нахид и посоветоваться с ней и ее матерью. Но Гостахам приказал нам держать все в секрете. Если через три месяца сигэ не кончится беременностью, в моих интересах молчать о предложении. Все это казалось странным, ведь свадьбы, которые мне доводилось видеть, отмечались радостно и шумно. К чему теперь эта таинственность?

— Дочь моя, — сказала мне матушка, когда мы встретились вечером, — что ты думаешь обо всем этом?

Под глазами у нее снова были темные круги, а ступни покраснели. Сегодня на кухне работа была очень тяжелой.

Я положила подушку ей под ноги, когда она вытянулась на постели.

— Вы с баба всегда говорили, что выдадите меня за хорошего человека. Как Ферейдун может быть таким, если я нужна ему лишь на несколько месяцев?

Матушка вздохнула:

— По всему, что мы слышали, можно считать, что у него прекрасная репутация. Нет причин думать иначе.

— Кажется, он хочет дешево купить меня, — сказала я, — вы с баба наставляли меня ожидать лучшего.

Она взяла меня за руки.

— Мы не можем позволить себе тех надежд, что прежде, — сказала она. — Это предложение больше, чем то, что я считала возможным.

— Что еще возможно?

— Ничего, — сумрачно ответила матушка. — Гордийе права. Чего еще могут ожидать две бедные женщины?

Я поправила белую ткань, закрывавшую голову, и снова взяла матушку за теплые руки.

— Будь это мое решение, я бы отказала. Кроме того, Хадж Али предсказывал, что браки, заключенные в этом году, будут полны страстей и ссор.

— Это не твое решение, — стальным голосом произнесла она, отдернув руки.

— Я имею право сказать мулле «нет», если не соглашусь! — со злостью возразила я, вспомнив, что однажды сказала мне Голи.

— Если сделаешь это, навсегда станешь чужой для семьи, которая включает и меня.

Мое сердце похолодело от ее слов.

— Значит, ты выдашь меня за Ферейдуна против моей воли?

— Наше положение в этом доме непрочное, — ответила она.

— Прости... — раскаялась я, поняв, насколько виновата.

— Потому я и прошу не быть безрассудной, когда такое происходит в твоей жизни первый раз, — сказала она уже мягче. — Это решение было бы лучшим для твоих родственников, которые всем сердцем болеют за твои интересы.

Малейшее упоминание о моей ошибке вызывало во мне желание спрятать лицо от стыда. Сорвавшись однажды, я хотела доказать, что смогла научиться на своих промахах.

— Чашм, — смиренно произнесла я слово подчинения, которым солдаты отвечают командирам. — Я склоняюсь перед твоей волей.

И я склонила голову к распухшим ногам матери, готовая сделать все, о чем она меня попросит.

Следующим утром матушка дала свое согласие. Написав письмо Ферейдуну, Гостахам поздравил нас, хотя и без особой радости. Почти сразу пришел ответ: Ферейдун предлагал узаконить союз завтра, в первый день Рамадана.

Мы встали этим утром поздно, так как пост должен был соблюдаться до сумерек. Матушка помогла кухарке нарезать овощи и поджарить мясо, пока я выбирала жуков и камешки из риса, перед тем как промыть его. Даже это простое занятие, казалось, отняло у меня больше времени, чем обычно, потому что я была голодна, а в горле пересохло. Пока я работала, мои мысли вились вокруг Ферейдуна. Последний раз я видела его несколько месяцев назад, как же он выглядит сейчас; не пожалею ли я о решении матери?

К середине дня мой язык от жажды приклеился к нёбу, стало трудно говорить. Дни становились все жарче, и люди, мучаясь жаждой, пытались не думать о воде. Дни становились и длинней, это означало

бесконечное ожидание сумерек, когда разрешено есть. Каждое мгновение требовало силы воли.

К раннему вечеру мы уже обессилели от голода и жажды. Дети и внуки Гордийе собрались в ожидании. Когда густой аромат тушеной баранины и курятины наполнил воздух, я сглатывала слюну так, что заболел язык. Взрослые кормили детей, которые были слишком малы, чтобы соблюдать пост. Чем ближе был миг насыщения, тем сильнее росло напряжение среди домочадцев. Кухарка, казавшаяся сегодня особенно нервной, выкрикивала нам приказы, словно солдатам. Она хотела, чтобы все было готово вовремя, но не успело остыть.

Наконец пушечный выстрел вернул всех к жизни. Я помогала Шамси и Зохре носить еду в Большую комнату. Семья Гостахама набросилась на еду, как леопарды на оленя. Не было слышно ничего, кроме чавканья. Гостахам, который обычно черпал рис лепешкой и опрятно подносил ко рту, не роняя ни зернышка, теперь не следил за тем, куда они падают. Никто не сказал ни слова, пока животы не наполнились едой, а горло не умягчилось питьем.

На кухне царила тишина: накрывая на стол, мы с матушкой и слуги молчали. Обычно мы ждали, пока члены семьи поедят, но не в Рамадан. Мы были слишком истощены. Я не знала, начать с еды или питья, но выбрала чашку утоляющего жажду шербета, смеси фруктовых соков, сахара, уксуса и выжимок из роз. Напиток был сладким и кислым одновременно, и чувство голода от него только усилилось. Когда же я села есть, не смогла проглотить ни кусочка.

Пока мы пили чай, с казначеем и муллой прибыл Ферейдун. Гостахам пригласил их в гостиную и предложил им чай и засахаренные фрукты, перед тем как позвать нас. Как и полагалось в присутствии незнакомых людей, мое лицо было полностью закрыто чадором. Я рассматривала Ферейдуна, одетого в роскошный коричневый бархатный халат, расшитый золотыми лошадьми с наездниками, похожими на него. Гостахам вслух прочитал брачный контракт, чтобы сверить его срок и нашу оплату. Когда мулла спросил моего согласия, я тут же дала его, как и обещала матери. Ферейдун подписал контракт, а моя матушка, Гостахам, мулла и казначей Ферейдуна были свидетелями.

Ферейдун выглядел серьезным во время заключения контракта, но, когда все отвернулись, он долго и откровенно разглядывал меня, и предвкушение в этом взгляде заставляло меня трепетать. От его взгляда мое тело потяжелело и налилось, будто финик, истекающий сладким соком. От одной мысли о том, что мне придется остаться с ним наедине, по телу пробежали мурашки. Я знала, что нужно будет снять одежду, но не знала, что будет потом. Оставалось лишь молиться, что это понравится и мне, и ему. Я искала утешения в словах Голи. «Все любят это», — однажды сказала мне она.

Казначей передал матери мешок. Ферейдун и его спутники поблагодарили нас и ушли. Пока мы шли в комнату, я слышала, как под матушкиной одеждой в мешке звякают монеты, и оттого свадьба показалась мне торговой сделкой, а не праздником.

Сидеть в день свадьбы дома казалось странным, и мы с матерью решили пройтись к Лику Мира. Продавцы развешивали у лавок светильники, чтобы покупатели могли выбирать товар до рассвета. Фокусники и рассказчики развлекали толпу, а мальчишки продавали миндаль в меду и сахар с шафраном. Семьи покупали шашлыки из баранины и съедали их, прогуливаясь от лавки к лавке. На площади было оживленно, но казалось необычным в день моего бракосочетания затеряться в этой толпе, а не праздновать его в родной деревне. С утра до вечера мне бы желали счастья, мы танцевали бы, пели вместе песни, рассказывали истории, читали стихи. А потом мы наелись бы риса с курицей, апельсиновой цедрой и сахаром. Затем приехал бы мой муж и объявил меня своей. Я подумала, как гордился бы отец. Я тосковала по нему.

Когда мы вернулись домой, уже почти рассвело. Мы съели немного творога с травами, орехов, сладостей и хлеба, чтобы продержаться до заката. Я выпила стакан вишневого шербета и заснула незадолго до того, как на небе появились первые солнечные лучи. Укутавшись с головой одеялом, я надеялась проспать до полудня. Но, так и не сумев заснуть при свете, я свернула подстилку. Такие внезапные перемены в жизни не давали мне покоя. Они напомнили мне ту ночь, когда умер отец, и даже земля, по которой я ходила, будто сотрясалась, как при землетрясении, угрожая превратить нашу деревню в развалины.

Мне не пришлось долго ждать приглашения Ферейдуна. На четвертый день Рамадана от него пришло письмо, где говорилось, что я должна помыться, нарядно одеться и прийти к нему завтра вечером после того, как выстрелят пушки. Теперь я стану настоящей женщиной, как Голи.

На следующий день матушка и Гордийе отвели меня в роскошный хаммам нашего квартала. Впервые матушка заказала у Хома отдельный покой. Она нанесла жирную, пахнущую лимоном мазь с мышьяковой обманкой на мои ноги и подмышки. Через несколько минут она вылила на меня ведро воды, и волосы исчезли, оставив мою кожу гладкой, как у маленькой девочки. Затем она выщипала мне брови, не так сильно, как это обычно делали женщины, но достаточно, чтобы брови мои были похожи на полумесяцы.

— Все хорошеешь и хорошеешь, — сказала Хома, а я покраснела, потому что не привыкла думать о себе такими словами.

Став гладкой, я присоединилась к другим женщинам для главного обряда бани. Мои бедра, потеряв волосы, словно шелестели друг о друга на ходу. Вернувшись к Гордийе и матери, нежившимся и болтавшим, я улеглась перед ними. Они приготовили чашу пасты из хны, и Гордийе разрисовала ею мои ладони до запястья и пальцы до середины. Матушка сделала то же со ступнями и пальцами ног. Когда через несколько часов они сняли пасту, мои руки и ноги стали похожи на орнамент. Они не шутили и не поддразнивали меня, как это обычно делают с невестами, так как хотели сохранить все в секрете.

Наконец настало время мыться. Растирая мне спину, Хома сказала:

— Волосы и хна... ты будто выходишь замуж. Будешь первой, кто узнает об этом, Хома-джоон! — сказала я как можно более непринужденно. Врать было непривычно, и слова застревали у меня в горле.

Хома засмеялась и вылила мне на голову ушат воды, чтобы ополоснуть. После этого мы совершили Великое Омовение в самой большой бадье хаммама. Горячая вода обычно расслабляла и успокаивала, но сегодня я ерзала на своем месте, пока старшие женщины не попросили меня успокоиться.

Когда мы вернулись домой, Гордийе повела нас в небольшую комнату в андаруни. Она была полна сундуков с нарядами на

торжественные случаи. Доставая драгоценные шелка, Гордией спросила матушку о ее свадьбе.

— Я считала себя самой счастливой девушкой, — улыбнувшись, ответила та, — потому что выходила замуж за самого привлекательного мужчину.

— Да, но красота приходит и уходит, — ответила Гордией. — Когда-то и я была хорошенькой, а не такой толстой и дряблой, как сейчас.

— Мне было бы все равно, если бы Аллах вернул его мне, — вздохнув, ответила матушка, — но, может, Аллаху будет угодно сделать жизнь моей дочери слаще.

Я разделась, и Гордией помогла мне облачиться в прозрачное шелковое платье. Одна мысль о том, что я предстану перед Ферейдуном в таком виде, заставляла меня трепетать, я не могла даже представить себе, что выйду к нему совершенно голой.

Дальше следовала шелковая рубашка, алая, словно яблоко, шаровары и раззолоченные остроносые туфли. Жемчужиной всему стал золотой халат, вышитый кустами алых роз, красивыми, сдобнонарисованными тончайшей кистью. В каждом кусте был нежный бутон, полураскрывшийся цветок и роза во всей своей красоте. Раскинув крылья, бабочки устремлялись в самое сердце цветка, чтобы полакомиться.

Матушка расправила халат, а я скользнула в него.

— Дочь моя, — сказала она, — посмотри, у этих роз нет шипов. Помни о них, когда останешься со своим мужем. Внезапно я почувствовала головокружение, возможно, оттого, что не ела с рассвета, почитая священный Рамадан. Я опустила на табурет, чтобы прийти в себя. Гордией подвела мне веки сурьмой и начернила брови. Затем нанесла немного розовой краски на мои губы, чтобы они казались меньше, и поставила родинку около моего левого глаза. Матушка накрыла мои волосы белым кружевом, оставив несколько свободных локонов, чтобы украсить мое лицо. Гордией подвязала мне под подбородок одну жемчужную нить, окружив лицо от виска до виска, а другую повязала вокруг головы. Я чувствовала холод каждой жемчужины, прикасавшейся к моей коже, точно капли ручья.

— Встань, *азизам*, моя дорогая, — сказала матушка.

Я встала, и они с Гордийе посмотрели на меня. Они застыли, словно рассматривали красивую картину, которой прежде не видели.

— Ты прекрасна, как полная луна, — сказала матушка, проведя рукой по моим щекам.

Одевшись, я боялась сделать лишнее движение, чтобы не разрушить их тонкую работу. Матушка подвела меня к курильнице с ладаном и попросила постоять над ней, чтобы моя одежда благоухала.

— И все, что под ней, — сказала Гордийе и расхохоталась.

От сладкого, тяжелого запаха у меня вновь закружилась голова, мои мысли словно окутал туман.

Потом Гордийе покрыла меня белым чадором и пичехом, чтобы никто не смог увидеть мое лицо. Матушка надела чадор поверх траурной одежды. Шел Рамадан, для еды было еще слишком рано, поэтому они не поили меня сладким напитком с миндалем и розовой водой, а всего лишь смочили им губы, желая мне счастья в семейной жизни.

Ферейдун наказал ждать у одного из его домов недалеко от Пятничной мечети. Мы вышли из дома и направились в сторону от реки, к Северным воротам, пока не достигли старой площади. Затем миновали четыре караван-сарая, три хаммама и два медресе, пока не добрались до древней Пятничной мечети, которая была построена около пяти столетий тому назад. На кирпичных стенах не было ни рисунков, ни изразцов. Площадь шаха и его Пятничная мечеть были несравненно прекрасны. Время щадило эту часть города, и даже монголы не смогли разрушить ее.

— Давайте зайдем в мечеть ненадолго, — сказала я.

Пройдя в высокий проем, мы попали в темный коридор из прочных стен и широких колонн. Я подумала о тех, кто молился здесь до меня, особенно о девушках, которым суждено было впервые разделить ложе с мужем. Казалось, сейчас я пребывала в темноте неведения, но вскоре надеялась обрести знание. Миновав темный коридор, я вошла во дворик. Крыши не было, и он был освещен лучами солнца. Минуту я стояла, озаренная солнцем, твердя молитвы, а моя матушка ждала, пока я закончу.

— Я готова, — наконец сказала я ей.

Пройдя площадь, мы свернули на узкую улицу, где единственным признаком жилья были высокие ворота. Пушки должны были вот-вот

выстрелить, и улицы были полны людей, спешивших туда, где они собирались поесть. Их напряженные лица были полны предвкушением.

Матушка остановила мальчика и спросила, как пройти к дому Ферейдуна, и тот проводил нас к резной деревянной двери. Мы постучали в женский дверной замок, отозвавшийся тонким звоном. Почти тут же на пороге появилась старая служанка, назвавшая себя Хайеде. Я вспомнила ее: она была вместе с остальными, радовавшимися в хаммаме, когда Хома распевала хвалу моей красоте.

Мы вошли внутрь и сняли чадоры. Служанка выразила нам свое уважение, не позволяя, однако, забыть о своем превосходстве, и вежливо сказала матери, что теперь обо мне позаботится она. Я не ожидала, что попрощаться придется так быстро. Матушка приложила руки к моим щекам и прошептала:

— Помни, твое имя дают женщинам сильным и мудрым. Я знаю, ты окажешься достойной его.

Прежде чем она повернулась, чтобы уйти, я увидела, как слезы подступили к ее глазам, как и к моим. Не думаю, что когда-либо я чувствовала себя такой же одинокой. Но, заметив мою грусть, Хайеде лишь сказала:

— Ничего, тебе понравится здесь.

В доме было четыре комнаты, окружавшие маленький дворик с прекрасным фонтаном, вода в котором журчала, словно музыка. Хайеде сняла с меня верхнюю одежду и внимательно изучила платье. Сочтя его подходящим, она отвела меня в одну из комнат, приказала разуться и ждать.

Комната походила на сундук с сокровищами. В стенах было множество ниш, расписанных оранжевыми маками и причудливыми бирюзовыми цветами. Потолок выглядел ковром с солнечным узором, но вырезанным по белому гипсу. Он был инкрустирован маленькими зеркалами, сверкавшими, будто звезды. Пол покрывал прекрасный шелковый ковер с цветочным узором. На стенах висели два маленьких ковра, слишком драгоценные, чтобы ходить по ним, на которых были изображены цветущие деревья с поющими на них птицами. Везде, куда бы смогла дотянуться рука, стояли чаши с дынями, виноградом, крошечными огурцами, высокие кувшины с водой и красным вином.

Я не могла сказать, сколько времени прошло, прежде чем появился Ферейдун, — минуты казались годами. Я боялась пошевелиться и нарушить что-либо в своем облике. Думаю, я выглядела как принцесса, застывшая на чьей-то картине. Каждая деталь была совершенна, однако я не была самой собой. Я изучала руки и пальцы на ногах, покрытые хной, словно они были чужими, ведь я ни разу не украшала их. Я думала о Голи, которая уже годы знала то, о чем я так желала узнать. Теперь же я всеми силами хотела отказаться от своих желаний.

Через мгновение после выстрелов пушек в комнату вошел Ферейдун, сопровождаемый шестью слугами, которые несли дымящиеся блюда.

— Салам, — произнес он, садясь на подушку рядом со мной. Он был в бледно-лиловом халате, зеленой рубашке и белом тюрбане, расшитом серебряной нитью. Двое слуг развернули перед нами скатерть, а остальные расставили блюда. Затем они почтительно удалились.

Ферейдун, казалось, чувствовал себя так же привольно, как в тот день, когда впервые увидел меня.

— Ты, наверное, голодна, — сказал он. — Давай вместе окончим дневной пост.

Он отломил кусок хлеба, подобрал немного мяса и риса, приготовленного с укропом, и предложил его мне. Я с тревогой посмотрела на него. Раньше мне никогда не приходилось принимать пищу из рук незнакомого мужчины.

— Не надо стесняться, — сказал Ферейдун, наклонившись ко мне. — Мы теперь муж и жена.

Когда я отпрянула от него, он рассмеялся.

— Ах эти девственницы! — произнес он с улыбкой.

Я приняла у него еду и положила в рот. Она была вкусней, чем та, какую я пробовала прежде, и этой прекрасной еды здесь были горы. Нам также подали две тушеные курицы, жареную баранину, рис с бобами фава и луком, сладкий рис с шафраном, барбарисом, апельсиновой цедрой и сахаром. Я съела совсем немного, зато Ферейдун ел так много, как мог позволить себе только человек его положения. Время от времени он останавливался и предлагал отборный кусочек мне. Как и дома, мы не разговаривали во время еды в знак почтения к дару, посланному нам Аллахом.

Когда мы закончили, Ферейдун позвал слуг и приказал убрать блюда. Было видно, как они мысленно оценивают, сколько еды осталось, и прикидывают, можно ли будет наесться сегодня. Поступая так же совсем недавно, я знала, что им хватит.

Затем Ферейдун приказал принести кальян и позвал музыканта. Сразу за большой стеклянной трубкой с тлеющими углями на дымящемся табаке появился юноша-музыкант. Кожа его лица была гладкой, он еще не начал бриться. Ферейдун закурил и предложил мне. Я отказалась, так как раньше никогда не пробовала. Музыкант сел напротив Ферейдуна, ожидая, когда тот махнет рукой, приказывая начать. Затем повел смычок по своей кяманче, звуки которой обжигали мне сердце. Наблюдая за ними двумя, пребывающими в таком единении друг с другом, я ощутила щемящее одиночество. Кяманча и ее владелец напомнили мне о нежности, которой я никогда не знала раньше, а может, не познаю никогда. Внезапно я затосковала по отцу.

Глубоко вздохнув, я попыталась успокоиться, но выражение моего лица привлекло внимание Ферейдуна.

— Что такое? — спросил он.

Я не смогла ответить, борясь со своими чувствами. Музыкант продолжал играть. Ферейдун подал ему знак остановиться, но юноша не заметил. Тогда Ферейдун громко сказал:

— Хватит! Ты можешь идти.

Прежде чем остановиться, юноша сыграл еще несколько тактов. Он игриво улыбнулся мне одними уголками губ, поблагодарил хозяина и вышел.

Я чувствовала себя несчастной, будто совершила ужасную ошибку. Но вместо того чтобы разозлиться, Ферейдун приблизился ко мне и начал поглаживать мою руку. Его ладони были вдвое больше моих, а кожа темной, словно крепкий чай, по сравнению с моими пальцами, красными от хны. Его руки были нежнее всех, что я знала. Он задержался на оmozоленных кончиках моих пальцев и улыбнулся, как будто ему это понравилось.

Пока Ферейдун смотрел на мои руки, я изучала его лицо. У него были густые черные усы и короткая борода до ушей. Я могла чувствовать запах табака на его алых, словно мое платье, губах. Ни один мужчина, кроме отца, не приближался ко мне так близко, поэтому я, наверное, выглядела напуганной. Убрав волосы, упавшие мне на лицо, Ферейдун сжал меня в объятиях. Тепло его тела будто согревало и меня.

— Так, — сказал он, — значит, это и есть моя маленькая горная девочка с юга, такая черствая и твердая снаружи и такая мягкая внутри. Кто бы мог подумать?

Я никогда не говорила такого о себе, но Ферейдун не ошибся. С тех пор как умер отец, нежность стала уделом других людей.

— С того самого дня, когда я увидел, как ты сбрасываешь одежды, я желал только тебя одну.

— И с того дня, когда я накричала на тебя, — сказала я, вспоминая.

— Что же тебе еще оставалось!

— Почему же ты не сделал предложение раньше?

— Ты не была готова, — ответил он. — Но все переменялось, когда Хайеде увидела тебя в хаммаме.

Я покраснела, а Ферейдун поцеловал меня в лоб, прямо под жемчужной нитью. Мое тело вспыхнуло. Чудо, когда ты значишь что-то для другого, пусть даже на мгновение, но больше, чем все иные.

Мне хотелось говорить еще, но Ферейдун взял меня за руку и отвел в маленькую спальню, находившуюся за резной деревянной дверью. Мерцали расставленные в нишах масляные лампы. Большая постель с огромной подушкой, где могли улечься двое, занимала почти всю комнату. Это было место только для двух занятий: сна и любви.

Мы сели на постель, и сердце мое забилося так быстро, что было видно, как дрожала шелковая ткань платья. Ферейдун снял с меня драгоценный халат Гордийе, отбросив его с небрежностью человека, привыкшего к дорогой одежде. Затем он осторожно снял шелковую рубашку. Я задрожала, оставшись только в коротеньком платье, почти не прикрывавшем тело. Ферейдун на мгновение обхватил мою талию, и тепло его рук успокоило меня. Я чувствовала, что Ферейдун ждал этого. Когда я расслабилась, он начал ласкать мою грудь кончиками пальцев, горячими даже сквозь шелковую ткань.

Я хотела, чтобы он продолжил, но Ферейдун внезапно снял с меня последнюю одежду и начал рассматривать мое тело. Мне же стоило больших усилий не уворачиваться от его взглядов, словно червяку на крючке.

— Грудь крепкие, словно гранат, бедра как оазис. Почему-то я всегда чувствовал это!

От его хвалы я покраснела.

— Алые розы цветут на твоих щеках, — нежно сказал он.

Он начал раздеваться, комкая одежду из дорогих тканей, словно тряпки. Когда он впервые развязал тюрбан, у меня перехватило дыхание. Его волосы рассыпались по плечам густыми, волнистыми, блестящими волнами. Я хотела дотронуться до них, но не посмела.

Жесткие волосы, покрывавшие его тело, были словно бархатный узор на парче. И хотя я не опускала глаза ниже его живота, я заметила что-то, заставившее меня вспомнить о бараньих потрохах из мясных лавок на базаре: почках, печени, языке.

Когда Ферейдун обнял меня, когда ничто не разделяло наши тела, я почувствовала свежий привкус яблочного табака на его губах, ощутила покалывание волос на его груди и на лице. Тело его нежно согревало меня. Я была так растеряна, что не знала, чего ожидать

дальше. Я видела на полях спаривавшихся животных, знала, что между мужчиной и женщиной происходит что-то похожее. Но когда Ферейдун соединился со мной, я от боли вцепилась в постель, стараясь сдержаться. Страсть его нарастала, и я знала, что вызвала ее, но я была где-то далеко. Я и правда была похожа на застывшую принцессу, наблюдая, как Ферейдун овладевает мной. Когда он преодолел семь вершин и закричал от наслаждения, я лишь с любопытством смотрела на него из-под полуопущенных век. Он заснул, и я ощутила замешательство и смущение. Почему то, что мы совершили сейчас, было источником шуток для женщин и уж тем более для мужчин в нашей деревне? Почему Голи выглядела такой восторженной, когда говорила об этом?

На рассвете Ферейдун проснулся и сжал меня в объятиях. Я чувствовала, что он хочет снова сделать то же самое. И я подчинилась, хоть и чувствовала сильную боль. Вдохновленная его движениями, я обхватила его бедра, словно знала, что делать, и двигалась все быстрее, наблюдая, как его веки затрепетали, будто крылья бабочки. Я продолжала, и вот он словно взлетел над постелью, яростно прижимая меня к себе, словно пытаюсь вдавить мое тело в свое. Через несколько долгих мгновений его руки ослабли и он растянулся на ложе.

— Это было несравненно, — сказал он, целуя мою грудь.

Засыпая, Ферейдун улыбнулся мне, и я поняла, что сделала все правильно.

А мне приснилась игра в чавгонбози. Наездники-соперники свирепо вели мяч, стараясь не подпускать к нему друг друга. Когда один из них вкатил мяч за отметку, я ожидала услышать топот и рев толпы, но никто не издал ни звука. С дрожью проснувшись, я подумала о бедрах Ферейдуна, толкающихся между моих, удивляясь, почему мои ощущения не были такими радостными, как ожидалось.

Утром, когда я возвращалась домой, все, что я видела, — старую Пятничную мечеть, суевающийся базар, деревья, растущие вдоль дороги в квартала Четырех Садов, — все будто заново родилось под жарким солнцем. Моя кожа горела, вспоминая объятия Ферейдуна. Мое сердце колотилось точно так же, как в день, когда я смотрела с моста на Исфахан, желая раскрыть все его тайны. Однако внутри я ощущала пустоту, словно потеряла что-то, чего не могла назвать.

Проходя мимо квартала Четырех Садов, я обратила внимание на места, где обычно отдыхали семьи богачей. Там рос дикий шиповник и лилии странного голубоватого оттенка. Я размышляла, каково это — отдыхать, лежа на густом зеленом клевере под тенистыми тополями, разложив на платке хлеб, миндаль, овечий сыр, — и вместе с мужем. Пара крепких молодых людей, заметив, что я стою без дела, начали подавать мне знаки.

— Она пухленькая и мягкая, как персик, — громко прошептал один другому. — Могу определить это по форме ее лодыжек.

Не обращая на них внимания, я направилась к дому Гостишама, улыбаясь под пичехом. Теперь я точно знала, что скрывается и зудит под их халатами. Я разглядывала других женщин, сладостно скрытых под чадором. Мы были подарком, обертку которого разворачивали слой за слоем.

Но радость моя была неполной. Мы что-то упустили с Ферейдуном прошлой ночью — что-то, заставлявшее других людей воспевать произошедшее в бесчисленных песнях, поэмах, даже понимающих взглядах.

— Это как огонь, который охватывает сухую траву и ликующе пожирает ее, — однажды сказала Голи.

Что она тогда имела в виду?

Когда я добралась домой, матушка горячо встретила меня и расспросила о самочувствии. Я ответила, что со мной все хорошо, слава Аллаху.

— А как прошел вечер? — спросила она с нетерпением.

Внезапно ощутив усталость, я растянулась на подстилке.

— Думаю, случилось так, как и должно было случиться.

— Слава Аллаху! Ферейдун был доволен?

— Кажется, да, — уверенно сказала я, вспомнив, как важно это было для нашего будущего.

Матушка отвела волосы с моего лица.

— Твой голос звучит так, будто тебе не понравилось.

Она словно прочла мои мысли.

— Откуда ты знаешь?

— Не волнуйся, дитя мое, — сказала матушка. — С каждым разом получаться будет все лучше и лучше. Потерпи.

— Почему *будет* лучше?

— Вы узнаете друг друга и будете делать то, что понравится каждому из вас.

— Правда?

— Обещаю. Мне очень хотелось поговорить с замужней подругой, такой как Голи, но в Исфахане я никого не знала.

Днем меня пришла повидать Нахид, ничего не зная о том, куда я ходила ночью. Мы не виделись больше месяца, потому что обе были наказаны и не могли принимать гостей или выходить из дома. Когда она пришла, я спала. Встав, я поприветствовала ее, зевая. Она вряд ли заметила мою усталость и разукрашенные хной руки и ноги. Нахид была влюблена и не могла думать о чем-то другом. Мы обменялись поцелуями и сели на мою подстилку. Матушка вышла на кухню приготовить для Нахид чай.

— Я так взволнована, — сказала Нахид.

Щеки ее горели румянцем, а губы казались пухлыми и мягким. Я никогда не видела ее такой красивой. По сравнению с ней я выглядела изнуренной, под глазами у меня были темные круги.

— Что-нибудь случилось? — спросила я, отметив, что бедра ее казались полней, чем обычно. Под одеждой, за низко повязанным поясом, она держала письма.

— Да, — сказала она, — я принесла последнее письмо, которое читала уже тысячу раз.

— Она вынула листок из-за пояса. — Оно полно прекрасных слов, но я прочитаю тебе самое важное.

Развернув письмо, она прочла:

— «Дай мне знать, что глаза твои, зеленые, как изумруды, озарят меня любовью, и верь, что я вечно буду сиять для тебя, как бриллиант».

— Это звучит как предложение! — сказала я.

— Я так и подумала, — ответила она, — хотя он еще должен будет послать открытое предложение моей семье.

Нахид растянулась на подушках, лицо ее излучало блаженство.

Мне хотелось рассказать ей, что, пока она ликовала над письмом, я открыла все тайные уголки своего тела мужчине и видела обнаженным его. Но тогда придется рассказать, что это было не так чудно, как я ожидала.

— Не могу забыть его глаза, — вздохнула Нахид. — Даже издали они кажутся такими черными и блестящими.

Я вспомнила глаза Ферейдуна. Его карие теплые глаза были так близко ко мне, что я видела, как сужаются зрачки в ответ на свет ламп.

— Он молод и прекрасен, как Юсуф, — сказала я, — жемчуг своего возраста.

— А его губы, — сказала Нахид, не слыша меня, — они такие полные и алые.

Она вспыхнула, а ее бледные щеки порозовели.

— Интересно, каково это — целоваться с ним!

Я могла рассказать ей, что такое поцелуй. Когда язык Ферейдуна, словно червь, проник мне в рот, он прижал свой нос к моему, не давая мне дышать. Но мне нравилось, как его язык наполнял мой рот и покидал его. Думаю, Нахид целомудренно воображала себе поцелуй одними губами.

— Я только и мечтаю оказаться в его объятиях, прижаться к его груди, ощутить мышцы на его руках.

Могла ли она знать о той странно приятной жесткости, которую испытываешь, когда твердая мужская грудь прикасается к твоей? Но странный горячий нажим, когда я раздвинула ноги, острая боль и то, как он взорвался внутри меня, — это было не столь приятно. Было неловко даже думать об этом.

— Ты покраснела, — сказала Нахид. — Это так смущает тебя?

— Пожалуй, — сказала я, с трудом заставляя себя вернуться к ее словам.

Если бы мы с Ферейдуном были так же влюблены, как Искандар и Нахид, поборола бы я свою робость и насладилась бы ночью, проведенной с ним?

— Лишь тебя я должна благодарить за свое счастье, — продолжила Нахид. — Ничего бы не произошло, если бы ты не пошла со мной на чавгонбози.

— О, это мелочи!

— Мое сердце тоскует по нему, — сказала Нахид, — мне нужно слышать слова любви от него, чтобы знать, чувствует ли он то же, что и я.

Мне хотелось сказать Нахид о моем браке, но Гордийе и Гостахам приказали мне молчать. Кроме того, я боялась, что мое новое

положение отдалит Нахид от меня. Даже доверившись ей, я не смогла бы описать Фереидуна с такой же радостью, с какой она описывала Искандара. Мой брак был необходимостью, ее же будет по любви.

— Ты не слушаешь меня, — сказала Нахид, нахмутив брови. — Что случилось? Ты выглядишь такой расстроенной сегодня.

Я пыталась скрыть свои чувства, но это было невозможно.

— Я просто... хочу выйти замуж за того, кого люблю! — резко сказала я.

Но дело было не только в этом. Почему кожа моя не была светлой, черты лица не были изящными? Почему умер отец, который благословил бы меня? И почему я не могу быть с человеком, который желал бы меня так сильно, что смог бы взять меня замуж навсегда?

— Это скоро произойдет и с тобой, — сказала Нахид. — Когда полюбишь, ты поймешь, что это самое прекрасное чувство на свете.

Прощаясь, Нахид обняла меня, не в силах сдержать порыва. Была ли Нахид права? Она была в плену своих чувств. Что такое любовь? Я не знала, но я была рада видеть ее цветущей, словно розовый сад, хотя в моем сердце была пустота.

Ферейдун получил меня на ночь, но мой день все еще принадлежал Гостахаму. Вскоре после первой ночи с Ферейдуну он позвал меня в свою мастерскую. Теперь, когда я знала, чего хотят мужчины, я стыдилась его, но он вел себя со мной по-прежнему как с ученицей, которая должна окончить работу.

Мы с матерью уже заплатили Гордийе за шерсть, которую я так неразумно потратила, из денег за сигэ; остаток серебра пошел на покрытие наших старых, еще деревенских долгов. После того как я приняла советы Гостахама по выбору красок, он согласился купить шерсть на другой ковер. Я поклялась на священном Коране, что не сниму ковра со станка, пока он не будет готов.

Гостахам нарисовал черными чернилами новый узор и предложил показать мне, как он подбирает колер. Я старалась больше думать о работе, а не о предстоящей ночи с Ферейдуну, пока он разворачивал рисунок в мастерской. На нем была изображена ваза, окруженная целым садом огромных сказочных цветов.

— Шаху Аббасу очень нравится этот узор, он и назван его именем, — со смешком объяснил Гостахам. — Узор не очень сложный,

поэтому краски тут важнее всего.

У вазы было узкое горлышко и корпус, выгнутый щедро, словно женское тело. А мое выглядит таким же совершенным? Я покраснела, вспомнив себя нагой перед Ферейдуном и как восторженно восхвалял он мои груди и бедра.

Гостахам достал поднос с порошками красок из ниши позади себя.

— А теперь смотри внимательно, — сказал он.

В самом центре вазы была розетка. Окунув кисть в воду, он сделал розетку черной, с серединой цвета сливок. Мак, поддерживающий розетку, стал ярко-оранжевым, и он пустил его плыть по молочно-кремовому морю. Цветы, окружавшие мак, тоже стали черными, а бока вазы, вмещающие их, — пурпурными.

— Скажи мне, какие цвета ты видишь, по порядку.

Я уставилась на вазу.

— Кремовый, черный, оранжевый; кремовый, черный, пурпурный, — говорила я, чувствуя, как растет мой восторг. — Это сочетание!

— Правильно, — согласился Гостахам.

Три больших цветка, окружающих вазу, вмещали сочный внутренний мир цветов, листьев и арабесок. Первый он раскрасил оранжевым, в зеленых точках; второй — зеленым, с мазками черного, оранжевого и розового, словно пятнышки на крыльях бабочки. Неудивительно, что третий цветок был в основном розовым.

— Теперь снова следи за красками, — приказал он.

Третий цветок был начат как крохотное розовое соцветие с кремовой серединкой, окруженной черными лепестками, а дальше он взрывался зрелой алой розой на черном фоне, расцвеченном крохотными оранжевыми цветками. Я будто наблюдала, как цветок расцветает, проходя все времена своей жизни. Это напомнило мне, как мужская часть Ферейдуна, казалось, разворачивается, вырастает, взрывается и мирно сворачивается опять.

— Ты не ответила на мой вопрос, — сказал Гостахам.

Я даже не слышала его приказа назвать цвета.

— Кремовый, розовый, черный; алый, оранжевый, черный, — перечислила я, и восторг был еще сильнее, чем прежде.

Это снова был образец, но совсем другой последовательности.

— Хорошо. Теперь посмотри сразу на все цветы. Я ведь использую повторения тех же красок, почему же глаз не устает?

Ответ был прост.

— Хотя цветы похожи, как члены одной семьи, каждый великолепен по-своему.

— Именно так.

Гостахам набросал гирлянды цветов поменьше вокруг каждого большого цветка, окружив их свободно, но любовно, совсем так же, как руки Ферейдуна впервые обняли меня за талию. Из-под пера Гостахама появился буйный красный тюльпан с черной сердцевинкой, лилово-черные фиалки, коричнево-красные цветы граната, черные нарциссы, розовые розы.

— Теперь я снова испытаю тебя, — сказал Гостахам. На другом листе бумаги он набросал цветок, видимый сбоку, и раскрасил его середину черным и зеленым, а листья синим. — В какую часть узора его поместить? — спросил он, вручая мне рисунок.

Я поместила изображение напротив первого, но он словно ссорился с алым и оранжевым. Наконец я сказала:

— Не могу найти ему места.

Гостахам улыбнулся.

— Верно, — сказал он. — Цвета не сочетаются, хотя сами по себе они замечательны.

— Единство и полнота, — прошептала я, вспомнив его последний урок.

— Хвала Господу! — воскликнул Гостахам, и его лицо осветилось одной из нечастых улыбок. — А теперь копируй этот рисунок и эти цвета, пока не почувствуешь их глазами и пальцами. Тогда, и только тогда я позволю тебе начать ткать.

Я сделала, как сказано. Когда Гостахам наконец одобрил, мы вместе пошли на базар искать краски тех оттенков, которые подойдут к отобранному им. Если бы мы работали над ковром для шахской мастерской, он бы просто потребовал, чтобы шерсть покрасили в нужные цвета. Однако исфаханские торговцы славятся своими запасами, так что мы нашли цвета, близкие к тем, что посоветовал он. Я радовалась, потому что теперь могла соткать ковер, которым гордились бы мы оба.

Через несколько дней Ферейдун снова прислал за мной. Получив утром от него письмо, Гостахам зашел в мастерскую, где я работала над новым ковром, и сказал: «Тебя требуют к вечеру». Мгновение спустя я поняла, что он имел в виду, и покраснела от неловкости при мысли, что он или кто-нибудь из домашних знает, что я буду делать этим вечером. Но когда Гостахам оставил меня одну, я ощутила счастье оттого, что Ферейдун хочет меня видеть: я не была уверена, что веду себя как хорошая жена.

Когда я связала положенное на день число узелков, то набросила верхнюю одежду и пошла к маленькому красивому дому, где отдала Ферейдуну свою девственность. По пути я вспоминала, как заботливо матушка и Гордийе готовили меня для него и как мое купание с одеванием заняли целый день. На этот раз и впоследствии этим будут заниматься женщины из дома Ферейдуна. Тревожило, как со мной будут обращаться незнакомые женщины, те, что служили ему до меня.

Когда я пришла, Хайеде поздоровалась со мной и провела меня в маленький хаммам в доме Ферейдуна. Она вела себя уверенно и деловито, будто занималась этим уже много раз. Хаммам был славной белой комнаткой с мраморным полом и двумя глубокими мраморными ваннами. Я начала раздеваться, как делала это в хаммаме Хомы, пока не увидела, что Хайеде с помощницей Азиз смотрят на меня почти с презрением.

— Это я могу сама, — сказала я, думая, что избавляю их от забот. Хайеде словно не расслышала.

— У нас будут большие неприятности, если узнают, что ты вымылась без нашей помощи, — сказала она, фыркнув.

Сдержавшись, я позволила женщинам дораздеть себя. Они осторожно сняли с меня одежду, заботливо сложили ее, хотя это были простые полотняные вещи, которые я носила дома. Когда я осталась нагой, они провели меня в самую горячую ванну, как будто я бы не дошла сама. Мне, заботившейся о себе с самых ранних лет, казалось странным, что со мной обращаются точно с вазой тонкого стекла.

Пока я нежилась в воде и впитывала тепло всей кожей, Азиз поднесла мне холодной воды и приправленных огурцов. Так как все еще был Рамадан, я сказала ей, что подожду, пока не услышу пушку. Уже через несколько минут хотелось поскорее выбраться из горячей воды, но они удержали меня, пока я совершенно не обмякла. Когда вся

моя кожа тоже стала совсем мягкой, они подняли меня из ванны, растерли намыленным полотенцем, осмотрели мои ноги, подмышки и брови, отыскивая случайные волоски. Уверившись, что я не оскорблю Ферейдуна лишней порослью, Хайеде вымыла мне голову и умастила ее благовонным гвоздичным маслом. Азиз растерла мои плечи и шею своими крупными руками, и я притворилась, что засыпаю. Если эти служанки знали какие-нибудь сплетни о Ферейдуне, то наверняка не смогут удержаться от разговоров о нем.

Я всегда умела притворяться спящей, потому что это был единственный способ подслушать, о чем по ночам говорят родители. Моя нога коротко дернулась, а рот вяло открылся. Когда струйка слюны поползла по щеке, я знала, что смогу убедить кого угодно рядом — я почти как мертвая.

— Что еще надо? — шепотом спросила Азиз.

— Только одеть.

— Жалко ее прикрывать, — со вздохом ответила толстуха. — Взгляни на нее!

«Взглянуть на что?» — подумала я. Мне не было видно, куда они смотрят, но я почувствовала, как жар ползет по щекам и груди.

— Можно подумать, он все увидит через одежду, — ответила Хайеде. — Он никогда не смог бы рассказать, поглядев на ее лицо.

— Она такая смуглая, прямо цвета корицы.

— Верно, — согласилась Хайеде, — но ты посмотри, что она прячет под этими тряпками!

Толстуха засмеялась.

— Знаешь, и я была такая!..

— Не сомневаюсь, но ты когда-нибудь видела такие маленькие руки и ноги, нежные, как у младенца?

Азиз вздохнула.

— А вот концы пальцев у нее жесткие, прямо козий рог, — сказала она. — Уверена, ему не понравится.

— Он ей не на концы пальцев залезет, — ответила Хайеде, и обе женщины захихикали, словно не слышали ничего смешнее.

— Да, — грустно сказала толстуха, — летний инжир не такой спелый...

— А летние розы вянут за неделю. Подожди, когда она забеременеет. Тогда все ее тело оплывет и потеряет очертания...

— Ты говори: *если* она забеременеет, — сказала Азиз, и две женщины снова засмеялись, на этот раз громче. — И вообще, у нее всего три месяца.

— День уходит, ее надо разбудить, — сказала Хайеде и принялась растирать мою ступню.

Я вздрогнула и потянулась, словно приходя в себя после краткого сна. Несмотря на все их услуги, я чувствовала, словно меня ранили в живот. Сколько можно удержать привязанность Ферейдунa, если даже две старые служанки находят повод для жалости?

— Смотри, она мерзнет! — показала Азиз Хайеде. Она словно забыла, что я проснулась и теперь слышу все.

Прислужницы усадили меня на деревянную скамью и начали одевать в одежды, которые женщина может носить лишь для мужа. Они натянули на мои ноги прозрачные шаровары, а руки вдели в рукава шелковой рубахи, завязывающейся только на горле. Поверх я надела бледно-розовое облегающее платье и бирюзовый халат, расходившийся, обнажая рубаху и место, где сходятся груди. На волосы я накинула тонкий шарф белого шелка, скорее для украшения, чем из стыдливости, и нитку жемчуга на лоб. Шелка мягко шелестели на моей коже, когда женщины вели меня в маленький покой, тот самый, где я впервые встретилась с Ферейдунom. Они зажгли курильницы с ладаном, а я стояла между ними, пока благовоние пропитывало мои одежды и кожу. Они внесли также фарфоровые кувшины с красным вином и молоком. Я сбросила туфли и поставила их бок о бок на одну из плиток, покрывавших пол. От густого, дымного аромата, казалось, перехватывало горло. Я надеялась, что моя матушка права и что на этот раз все будет иначе.

Мне не пришлось долго ждать, потому что Ферейдун приехал вскоре после заката. Он вошел в комнату, разулся и грузно уселся на подушку рядом со мной. Кинжал на поясе сверкнул в свете масляных ламп, который для меня был слишком ярок.

— Как ты себя чувствуешь? — отрывисто спросил он.

Моя кожа пошла мурашками от его резкости, но я ответила как только могла спокойно:

— Я здорова, благодарение Аллаху.

Когда я в свою очередь спросила, как он, ответом было просто ворчание. Я думала, что сначала мы поужинаем, потому что оба ничего

не ели весь день, но Ферейдун отвел меня в спальню и рывком сдернул бирюзовый халат с моих плеч. Быстрее, чем розовый лепесток слетает на пол, за ним последовала рубашка. Ферейдун содрал мои прозрачные шаровары и отшвырнул их. На мне осталась лишь тонкая шелковая рубаша, завязанная на горле, но распахнувшаяся ниже.

— Вот так и надо, — сказал он.

Ферейдун сбросил свою одежду и сорвал тюрбан, который полетел по комнате, словно крутящийся мяч. Не заботясь убрать шарф с моих волос, он раздернул мою рубашку и залез на меня. Совсем не как в наш первый раз — он ворвался в меня без задержки. Я зажмурилась, но он даже не смотрел на меня, и тогда, припомнив, что надо делать, я задвигала бедрами, как меня учили для первого раза, хотя было больно. Через минуту Ферейдун задрожал и обмяк у меня на груди. Так я лежала под ним, снова разочарованная, слушая, как успокаивается его дыхание. Неужели у нас так и должно быть? Мне очень хотелось погладить его густые кудрявые волосы, которые он открывал только моим глазам. Но он уже почти спал, и я не посмела его будить. Сама я лежала без сна, с широко открытыми глазами. Не этого я ждала от замужества. Это ничем не походило на то, как отец обожал мою матушку или как Гостахам относился к Гордийе.

Когда наконец ударила пушка, Ферейдун заворочался, потянулся, накинул одежду и велел мне сделать то же самое. Хлопнув в ладоши, он позвал слуг, которые поспешно накрыли ужин, и дерзкого музыканта, запомнившегося мне с первой нашей ночи. Мы ели роскошную еду — жареное мясо, рис с шафраном, свежую зелень, а музыкант развлекал нас. Я подумала, что это самый красивый юноша из всех, каких я видела, — с огромными глазами-маслинами, тугими каштановыми кудрями, кокетливый, как танцовщица. Вряд ли он был моложе меня, но кожа его безбородого лица была глаже моей. Ферейдуна его игра приводила в восторг. Когда он брал высокие ноты, красота которых бросала в дрожь, Ферейдун едва не падал в обморок. Мне показалось, что музыкант слегка посмеивается над его восхищением, но лишь Ферейдун открывал глаза, лицо осторожного юноши становилось безразличным.

Когда Ферейдун насладился игрой музыканта, он отослал его вместе со слугами. Налив молока в большую чашу вина, он подал ее мне. Я никогда не пробовала вина, большинство женщин моей деревни

отказывались пить по запретам веры (хотя я знаю, что некоторые из них тайно его пробовали). У напитка был аромат спелого винограда и успокаивающая молочная пенка. Быстро допив его, я снова откинулась на постель, раскинув руки и ноги так, чтобы это казалось естественным. Я чувствовала себя расслабленной и мягкой, словно в ванне. Мне казалось, что Ферейдун вот-вот обнимет меня, начнет целовать мое лицо и потом после того, как мы снова соединим наши тела, он будет слушать мои рассказы о прежней моей жизни. Но глаза Ферейдуна заблестели, и он без единого слова опять сорвал с меня одежду, на этот раз куда более жестко — меня охватила тревога за такое дорогое платье, — и подхватил меня на руки. Он прижал меня к инкрустированным дверям в комнату, громко стучавшим при каждом его толчке. Я исходила страхом, представляя, что слуги подумают об этом грохоте, ритмичном, словно барабанный бой, ведь они же были сразу за дверями, готовясь откликнуться на самый тихий хлопок Ферейдуна. Но это было не все. Ферейдун уволок меня от дверей и швырнул несколько подушек на пол, чтобы поставить меня на четвереньки, как совокупляющуюся собаку, и наконец, когда небо порозовело, он встал, снова поднял меня на руки, заставив обхватить его талию ногами. В эту ночь у меня не было причин беспокоиться, хочет ли Ферейдун меня, слишком ли я смугла и устраиваю ли я его как жена.

Старательно отвечая его рукам, тело мое все же не растворялось в наслаждении. Где вспышки страсти, о которой говорили все? Я была разочарована даже больше, чем после нашей первой ночи, ведь ничего не менялось. Но я исполняла все, что Ферейдун велел мне, помня, что он может распрощаться со мной через несколько месяцев и оставить мою матушку и меня на милость Гордийе и Гостахама. Я не хотела и думать о том, чтобы снова перенести зиму, подобную той, которую мы выстрадали в нашей деревне. Здесь, в Исфахане, нам было тепло, удобно, сытно. Так что если Ферейдун велит мне оставить одежду или сбросить ее, идти туда или сюда или встать по-собачьи, мне надо будет подчиниться.

Казалось, Ферейдун остался очень доволен нашей ночью. Под утро он снова привлек меня, быстро простонал и потом, надевая халат перед омовением, напевал про себя. Я надела свои полотняные одежды, чтобы идти домой. Слуги, пряча глаза, подали мне кофе и

хлеб. Мне показалось, что Хайеде ухмыльнулась, подбирая подушки, которые Ферейдун разбросал по полу, ведь она могла точно сказать, что мы делали и в каком углу комнаты.

Первые несколько недель моего сигэ я усердно трудилась над ковром. Он рос на моем станке, и оттого я чувствовала себя все счастливее. Цвета были подобраны удачно: за этим следил Гостахам. Без сомнения, этот ковер превзойдет последний. Даже Гордийе с этим не спорила. Узнав ее гнев, я теперь радовалась.

Однажды вечером я была во дворе, вывязывая узелки, когда слуга сообщил мне, что Гостахам вернулся домой с голландцем. Это был знак мне уйти в тайное место и смотреть сквозь резьбу алебастровых панелей. Гостахам и голландец сидели на подушках, а казначей Парвиз готовился записать любое соглашение, которое могли заключить эти двое. Хотя мне доводилось видеть чужеземцев, я никогда не видела никого из христианских земель с запада. Все, что я знала, — это что ференги поклоняются идолам и что их женщины не думают ни о чем, кроме как показывать всем свои волосы и груди.

У голландца были соломенные волосы и синие, как у щенков, глаза. Вместо того чтобы носить прохладную просторную рубаху, он был затянут в тесную бархатную куртку, синие короткие штаны, пузырями вздувавшиеся над коленями, будто ягоды у него были и спереди, и сзади. Икры обтягивали белые чулки, жаркие даже на взгляд. Когда он поднимал руку, я видела белые круги под мышками, выеденные потом.

— Великая честь моему дому принимать такого гостя, — говорил ему Гостахам.

— Для меня честь еще больше, — отвечал голландец на беглом фарси. Словно ребенок, он с трудом произносил «кх» и «гх», но в остальном его было очень легко понимать.

— Мы нечасто видим чужеземцев вроде вас, — продолжал Гостахам.

— Потому что путь сюда долг и труден, — отвечал голландец. — Многие из моих товарищей погибли по дороге сюда. Но мы чрезвычайно благодарны вашему высокородному шаху Аббасу за то, что он так великодушно открыл свою страну для торговли. Ваш шелк намного дешевле, чем китайский, и так же хорош.

Гостахам улыбнулся:

— Это наш самый знаменитый товар. Каждая семья, которая может, заводит сарай для шелковичных червей.

Гостахам и сам имел такой неподалеку от дома. Мне нравилось бывать там, в полутьме и прохладе, и гладить мягкие белые коконы, которые становились чуть круглее каждый день.

— Шелк помогает создавать самые прекрасные ковры, какие я когда-либо видел, — сказал голландец, которому явно не терпелось вернуть разговор к делу.

— Верно, — согласился Гостахам, но он не был готов к этому. Опять сменив тему на более простую, он сказал: — Я полагаю, вы добирались сюда больше года и, наверное, соскучились по семье.

— Очень, — признался голландец, тяжело вздохнув.

Мне ужасно хотелось услышать что-нибудь о его жене, однако он не продолжил беседы.

— Очень признателен за интерес к моей семье, — сказал он, — но хотелось бы сегодня поговорить о коврах и возможности приобрести их у великого мастера, такого как вы.

Я окаменела в своем тайнике. Этот голландец совсем не умел себя вести! Так грубо начинать разговор о делах сразу! Можно было точно сказать, что Гостахам оскорблен, по тому, как он молча поглядел в сторону. Парвиз напрягся: он явно был поражен гостем.

Лоб голландца пошел глубокими складками, как будто он понял, что совершил ошибку. На счастье, тяжелый момент был прерван Таги, который вошел в комнату, неся кувшины с вишневым шербетом. В моем углу было душно, и вкус кислого напитка представился с собой остротой.

— Пожалуйста, расскажите нам о вашей стране, — сказал Гостахам, демонстрируя безупречную вежливость хозяина. — Мы столько слышали о ее красотах.

Голландец сделал большой глоток шербета и откинулся на подушки.

— Ах, — сказал он, — моя страна — страна рек. Не нужно возить с собой воду, как здесь.

Парвиз впервые заговорил.

— Ваша страна, должно быть, очень зеленая, как изумруд, — сказал он. Он обучался на казначея, но любил воображать себя поэтом.

— Зеленая повсюду, — подтвердил торговец. — Когда наступает весна, зелень такая яркая, что больно глядеть, и почти каждый день идет дождь.

Парвиз снова вздохнул, без сомнения подумав о таком количестве воды, и его длинные, как у женщины, ресницы затрепетали. Не думаю, чтобы голландец заметил это.

— Коровы у нас жиреют на густой зеленой траве, а сыроварни делают вкуснейший сыр. Мы выращиваем красные и желтые тюльпаны, которым для роста нужно много воды. Мы водное государство, поэтому мы также мореплаватели. У нас есть пословица: «Никогда не поворачивайся спиной к морю». Нам все время приходится искать способы укрощать его.

— У вас глаза синие, — сказал Парвиз, — как вода.

Я тихонечко хихикнула. Подозреваю, что Парвиз воображал, как присоединится к этому человеку, может быть в качестве спутника, и его поэтический дар будет вдохновляться картинами чужих стран.

Голландец улыбнулся:

— Даже наши дома стоят на море. Мой собственный построен над одним из каналов, пересекающих город. Из-за сырости мои сограждане любят утеплять полы вашими коврами. А на них они ставят всякие предметы из дерева — чтобы сидеть, чтобы есть на них, чтобы спать ночью. Мы не любим быть близко к полу, где сыро и холодно.

— Нам такого не нужно, — сказал Гостахам. — Полы у нас сухие и удобные.

— А где вы берете столько дерева? — изумленно спросил Парвиз. — Ваша страна похожа на рай.

— Вся страна густо поросла лесом. Можно пойти с топором и нарубить столько деревьев, сколько лошадь не увезет.

— Похоже ли это на земли вокруг Каспия, самые зеленые в Иране? — спросил Парвиз.

Голландец засмеялся.

— То, что вы называете зеленым, у нас называется бурым, — ответил он. — На одно ваше дерево приходится сотня наших, даже если сравнить с самой роскошной частью вашей страны.

Я вспомнила единственный кипарис нашей деревни. Народ, живущий в такой плодородной стране, как описывал голландец,

никогда не должен испытывать мук голода.

Голландец утер пот со лба и допил шербет. Гостахам и Парвиз пили горячий чай, отчего прохлада приходила к ним намного быстрее, но голландец, похоже, этого не знал.

— При таком избытке воды ваши хаммамы недоступны никакому воображению, — сказал Парвиз. — Представляю себе огромные бассейны, горячие и холодные, с каскадами и высоко бьющими фонтанами. Вы, должно быть, самые чистые люди в мире.

Ференг помедлил:

— Ну... нет. У нас нет хаммамов.

Парвиз выглядел пораженным.

— Как же вы сохраняете чистоту?

— Наши женщины согревают котел воды на домашнем очаге для особых случаев, но мы никогда не моемся зимой, в холода.

Лицо Парвиза искривилось от недоверия, и я сама ощутила такое глубокое отвращение, какое испытывала, опорожняя ночные посудыны.

— Целую зиму без мытья?

— И осень, да и весну тоже. Обычно мы моемся в начале лета, — беспечно отвечал голландец.

Я вспомнила круги у него подмышками. Без бани, весь в поту, в пропитанной потом одежде, пока от него не начнет разить, как от полей, засыпанных навозом. Я была счастлива, что не сижу рядом с ним. В комнате воцарилось молчание. Голландец поскреб голову, и чешуйки перхоти посыпались ему на плечи.

— Мне будет не хватать ваших бань, когда я вернусь домой, — вздохнул он. — Иран — алмаз чистоты, бани — земля обетованная для очищения, а розовая вода — аромат рая! — Его фарси был безупречен, и я видела, что Гостахам и Парвиз наслаждались поэтическим выражением хвалы.

Слуга внес подносы с едой и поставил их перед гостем.

— О, не стоило так беспокоиться, — улыбнулся голландец. — Я просто хотел узнать, не можем ли мы вести дело совместно. Гостахам передернулся, стараясь подавить гнев перед таким изъяснением грубости. Он сказал, уставясь в ковер:

— Прошу вас, друг мой, отведайте. Мы не позволим вам уйти с пустым желудком.

Голландец неохотно проглотил несколько кусков, не скрывая принужденности. Я была изумлена этими варварскими манерами. Он казался животным, которому недоступны обычные человеческие удовольствия.

В тайнике было очень жарко, но Гостахам явно хотел, чтобы я дождалась и узнала, чего добивается голландец. Когда он закончил есть, Гостахам попросил его объяснить, почему их удостоили чести такого визита.

— Мне нужно заказать два одинаковых ковра для владельца Голландской Ост-Индской компании, — отвечал голландец. — Они должны изображать его родовой герб и быть изготовлены из лучшего шелка и самыми тугими узелками.

Гостахам поинтересовался размерами, цветами, бахромой и назвал цену, от которой у меня перехватило дыхание. Голландец болезненно поморщился. Они принялись торговаться, но ни один не уступал, и Гостахам приказал Самаду подать кофе и сласти, а потом перешел к другому вопросу.

— Похоже, что в наши дни Голландская Ост-Индская компания проникает во все уголки земли, — сказал Гостахам. — Какие известия из Нового Света?

— Учрежден совершенно незрелый концерн под названием Голландская Вест-Индская компания, — сообщил голландец, — развивающий выгодную торговлю мехами. Фирма также пытается купить большой остров прямо у дикарей, чтобы легче было вести дела.

— Неужели! — отвечал Гостахам с короткой, насмешливой улыбкой.

Мне было видно, что он не сделает голландцу скидки, узнав, как хорошо идут дела у его хозяина.

Я вернулась в свою комнату. Вскоре появился Самад и велел мне побыстрее прикрыться; я схватила свой чадор, завернулась в него и снова начала вывязывать узелки. Гостахам через несколько минут привел голландца во внутренний дворик. Гордийе была в кухне, откуда она могла подслушивать без риска быть увиденной.

— Девочка — часть моей семьи, — сказал Гостахам голландцу, — она отличная ковровщица и мастерица по узорам. То, что вы видите на станке, делает она.

Конечно, это была неправда.

— Я вижу, что семья наполнена талантами, — тонко заметил голландец. — Ковер для продажи?

— Разумеется, как только будет закончен, — ответил Гостахам.

— Он очень красив, — похвалил голландец. — Ваши пальцы так проворны, за ними не уследить.

Мне это польстило. Последние несколько месяцев я стала ткать быстрее, потому что Гостахам показал мне, как сберечь время на каждом узелке.

— Муж мой, — позвала Гордийе из кухни, где она оставалась скрытой для глаз, — почему ты не включишь ее ковер в подарки для нашего почтенного голландца? Тогда он, возможно, заплатит нам цену, что ты назначил за остальные два.

Я обмерла.

— О, как вы добры! — немедленно откликнулся голландец, без сомнения представив, как хозяин заплатит ему за два ковра и третий он получит бесплатно. — Давайте подпишем договор!

Я надеялась, что Гостахам возразит, но он промолчал. Мужчины вернулись в Большую комнату, чтобы Парвиз мог записать договор на бумаге.

Я сидела за своим станком, слишком ошеломленная, чтобы продолжать работу. Когда голландец ушел, мне показалось, я слышала, как Гостахам и Гордийе спорят у дверей дома. Гордийе говорила что-то про голландца, как он все равно заплатит две иранские цены за ковер, который ему заказали. Голос Гостахама был слишком низок для того, чтобы я расслышала. Если он считал, что его жена ошибается, то при мне не сказал ничего. Но и как он мог? Он слишком любил ее, чтобы перечить.

Гордийе вышла ко мне во дворик и сказала:

— Прости, что мне пришлось это сделать, но я была уверена, что голландец не устоит перед таким предложением. А ты знаешь, как нам нужны деньги.

Мне никогда не казалось, что семья очень уж нуждается, по крайней мере так, как мы с матушкой. Но кроме того, дело было в справедливости.

— Гостахам обещал мне, что мы продадим этот ковер, а деньги пойдут нам, кроме тех, что я верну ему за шерсть, — сказала я.

Гордийе пожала плечами.

— Ты всегда можешь соткать другой ковер, — спокойно сказала она, как будто моя работа ничего не значила.

Больше я вынести не могла. Убежав к себе в маленькую комнату, я просидела там до конца дня. Когда матушка узнала, что случилось, она призвала столько проклятий на голову Гордийе, что мне показалось, ту разорвет прямо сейчас. Но матушка удержалась от того, чтобы высказать ей это в лицо, боясь ее острого языка и мести.

Я подозревала, что наше невезение из-за кометы. Все говорили о том, что она приносит зло, вызывает землетрясения и путает поступки. Али-Асгар рассказывал нам о шахском конюхе, пригласившем друга-конюха разделить хлеб-соль и зарезанном только из зависти к его высокому положению. Хотя я не смела сказать этого, но задумалась, не вызваны ли поступки Гордийе теми же разрушительными причинами.

Я была так зла той ночью, что не могла спать, и на следующий день работа шла куда тяжелее, чем обычно. Я стирала вместе со слугами, таскала воду из колодца, изо всех сил полоскала одежду, выкручивала ее и развешивала для просушки. Потом мне пришлось почистить и нарезать целую гору картошки для кухарки и оборвать хвостики у сушеного барбариса, который она собиралась добавить к тушеному мясу. Гордийе сказала мне, что надо работать проворнее, потому что сегодня она ждет полный дом гостей. Никогда я себя не чувствовала настолько служанкой.

Когда вся кухонная работа была сделана, я ткала ковер, пока не заболела шея и скрещенные ноги не стало сводить, потому что я ничего не хотела так, как закончить его и наконец приняться за мой собственный. Я не рассчитывала отдохнуть и, прежде чем мои вечерние обязанности были закончены, получила неожиданный вызов от Ферейдуна. Обычно он присылал его с утра или за день, оставляя мне время собраться. Уставшая до потери сознания, я поспешила к нему, чтобы успеть подготовиться, хотя это было последнее, чего мне сегодня хотелось.

Был вечер, я торопилась по пустынным из-за жары улицам. Пыльная дымка висела в воздухе, и даже синий купол Пятничной мечети казался потускневшим от зноя. Когда я добралась до дома Ферейдуна, я была взмокшей, с пересохшим горлом, измученной, но женщины не упрекнули меня ни словом. Они выщипали мне брови,

это было больно до слез, убрали волосы с ног, что было еще больнее. В ванне я уснула. Когда они со мной закончили, мне было все равно, что Ферейдун велел приготовить для меня новое шелковое платье, синее, как Река Вечности, с ослепительно желтой нижней рубашкой, что они заплетают концы моих волос желтыми лентами, затканными золотыми птицами. Я даже не взглянула в металлическое зеркало. Когда женщины привели меня в комнату дожидаться Ферейдуна, я изо всех сил боролась со сном, но моя голова уже почти упала на грудь, когда я услышала, как он входит.

Хотя я была с Ферейдуном больше раз, чем могла сосчитать, в наших спальнях покоях для меня ничто не улучшилось. Сожаление переполняло меня, но я, по крайней мере, перестала волноваться, желанна ли я ему. Похоже, все свои радости он принимал с большим вкусом — еду, вино, табак или меня.

В тот вечер Ферейдун ворвался в спальню, словно его несло ветром, — так быстры были его движения. Обняв меня вдвое горячее, чем в прошлый раз, он сказал:

— Я не мог ждать до завтра, поэтому вызвал тебя намного раньше. После обеда я долго спал, чтобы оставаться с тобой, пока день не прогонит ночь.

Я попыталась улыбнуться. Мне так хотелось отдохнуть, а теперь я должна была резвиться до самого утра. Когда принесли вечернюю трапезу, он подавал мне кусочки нежной ягнятины и цыпленка. Я ела поменьше, чтоб не отяжелеть до сонливости. Когда он предложил мне вина с молоком, я отказалась по той же причине. Он разочарованно налил себе.

После того как слуги убрали тарелки и ушли, Ферейдун попросил показать ему мой новый наряд. Я встала и повертелась так, чтобы мои косы взметнулись и было видно, как блестят в воздухе венчающие их желтые украшения, а потом оборачиваются вокруг моего лица и тела.

— О сладкое дитя юга! — воскликнул Ферейдун, вскочил и обхватил мою талию. — Ты во всем подобна луне...

Он поднял свои ладони к моему лицу, погладил брови кончиками пальцев, заставив меня порадоваться в душе, что женщины их выровняли, и сказал: «Полумесяцы». Потом, опустив руки на мои груди, улыбнулся и сказал: «Полулуния». И наконец, охватив двумя ладонями мои ягодицы, добавил: «Полные луны».

Меня позабавил такой восторг, который был желанной переменной моей сегодняшней жизни. Ферейдун говорил мне, что, хоть моя кожа не светла, под моей одеждой переливаются очертания, способные взволновать мужчину, даже такого солидного и опытного, как он. Я тоже ощутила что-то иное в его поведении, он был мягче, чем прежде. Вряд ли это было связано со мной. Наверное, он выгодно продал какую-нибудь арабскую кобылу и хотел отпраздновать это в постели со мной.

Ферейдун положил сложенную ковшиком ладонь на мой живот и медленно повел ее вниз.

— А вот это то, что я хочу видеть больше всего, — мягкий холмик, поднимающийся из твоего тела, округляющийся над твоим животом, как луна над землей.

Ферейдун снял все мои одежды, потом свои и несколько мгновений обводил пальцами луны моего тела. Я любила, когда он так играл со мной, и моя кожа согревалась под его руками. Чувствовала, как разогреваюсь и я, как хочу, как жажду большего. Но он слишком быстро вдавил свои бедра между моими, раздвинул мои ноги и начал трудиться, сажая свои семена. Я закрыла глаза и тяжело задышала, потому что знала, что его это возбуждает, а потом задвигала бедрами в такт. Может, сегодня он кончит побыстрее, думала я, воображая, как сладко будет закрыть глаза и уснуть. Мои руки и ноги были как свинцовые, словно увешанные тяжелыми цепями, которые атлеты поднимают в Доме Силы. Наверное, я все-таки уснула на мгновение, потому что, кажется, перестала двигаться. Рывком вскинувшись, я снова принялась выгибать свои бедра навстречу Ферейдуну, глядя ему в лицо. Глаза его были закрыты, будто он задумался о чем-то. Струйки пота катились по вискам. После паузы, показавшейся долгой, он перестал двигаться и улегся на меня, как будто изнемог. Я тоже не двигалась, в надежде, что мы закончили.

— Подними руки, — велел он.

В сомнении я подняла руки. Он прикусил мою грудь и снова задвигал бедрами, а мне пришлось хорошенько сосредоточиться на своей задаче. Какое-то время мы продолжали это, но Ферейдуну не удавалось достичь благословенного мига. Он втянул воздух — коротким усталым вздохом — и опять замер.

— Вцепись в мою спину, схвати меня! — сказал он жаждуще. Я осторожно взялась за его спину, и он задержался, словно в отчаянии. У меня между ног было сухо и саднило; поторопился бы он. Никогда прежде Ферейдун не делал этого так долго. Я снова взглянула ему в лицо и встревожилась — он напомнил мне о человеке и осле, которых я видела в тот день у мельницы. Они брели круг за кругом, толкая тяжелый камень, размалывавший зерно, человек и животное, отупевшие от повторяющейся работы.

Неужели Ферейдун так скоро устал от меня? Неподвижно я лежала в его объятиях, не зная, что делать. Когда стало ясно, что ничего не выходит, Ферейдун откатился от меня и лег на спину, уставясь в потолок. Уголком глаза я изумленно следила за напряжением между его бедрами, словно это шест, подпирающий шатер, совсем как в первую ночь, которую мы разделили. Но глаза его были полны скуки, бескрайней, как небо. Шли минута за минутой, и я уже начала различать шаги людей, проходивших в темноте возле дома.

— Повернись на бок, — наконец раздраженно сказал Ферейдун.

Я покорно повернулась к нему спиной и осталась лежать, сдвинув ноги и гадая, что будет дальше. Снова вздохнув, он приподнял мою правую ногу и согнул ее в колене так, что она легла на его правое бедро. К этому времени я была суха, как песок пустыни, и когда он попытался войти в меня, то не сумел проскользнуть. Сон опять потянул меня мягкой, настойчивой тягой.

Ферейдун отодвинулся от моего тела и опять лег на спину. Он нащупал мою руку и положил ее себе между бедер, показывая, как двигать ею вверх и вниз.

— Быстрее, — сказал он вначале. Потом: — Не так сильно. — И позже: — Выше, у конца. — И наконец: — Ладно, не надо!

Ферейдун отвернулся, и я слышала, как кожа зашлепала о кожу — звук, становившийся все громче по мере того, как убыстрялись движения руки. Вскоре он тяжело задышал от наслаждения, а через несколько минут застонал и оросил собственную руку. Я никогда не знала, что он может так обращаться с собой. Почему он не обрел наслаждения со мной? Ведь я же сделала все, чему он меня учил.

Без рук Ферейдун, обнимавших меня, я скоро начала дрожать, но он не пошевелился. Я перекатилась на покрывало, чувствуя себя одинокой. Мы поговорили несколько минут, но от разговора мне стало

еще тяжелей. Хотя я была вымотана, сон не шел, чтобы дать мне облегчение. Я долго лежала, бодрствуя, и старалась понять, почему потерпела неудачу. Я знала, что веду себя так, будто присутствие Ферейдуна радует меня. Но я все же устала до потери сознания, и доставить ему удовольствие означало просто сделать еще одну работу для кого-то. Я измучена, измучена и опустошена. Последнее, что я слышала перед тем, как все-таки уснуть, был рев ослов, которых погонщики вели на базар. Самый печальный звук в моей жизни.

Когда утром я открыла глаза, Ферейдуна уже не было. Впервые он ушел, не попрощавшись со мной. Комната без него казалась пустой и утратившей страсть. Быстро одевшись, я выскользнула в дверь и поспешила домой.

Тем вечером я закончила свою работу и ушла из дома Гостахама к Нахид. Сейчас больше, чем когда-либо, мне нужна была подруга. Я жаждала облегчить свое сердце и услышать ее совет, но знала, что не смогу ей открыться. Все, что ей нужно было сделать, — это однажды вечером в хаммаме рассказать Хоме чуть больше обычного, и город будет знать мою историю еще до заката. Если Ферейдун не собирался возобновить свой контракт — а теперь у меня были причины верить, что он недоволен, — то сигэ было лучше умереть побыстрее.

Всю дорогу к кварталу Четырех Садов солнце обрушивалось на мою голову, а земля, казалось, обжигала сквозь тонкие туфли. Свет пробивался сквозь вуаль так, что глаза ломило. Даже река ослепительно сверкала в томительном зное. Где-то жарили печеночный кебаб, и вонь его забиралась под мой чадор. От мысли, что в такую жару можно есть, меня затошнило. В животе забурчало. Остановившись, я перегнулась и попыталась опустошить желудок, но ничего не вышло.

Когда я пришла к Нахид, она провела меня в свои комнаты и приказала служанке быстро принести лимонного шербета.

— Тебе очень жарко, — сказала она.

Я освежилась, и, когда слуги вышли, Нахид вынула последнее письмо из своего тайника в поясе, обмотанном вокруг талии.

— Ты не поверишь. Слушай, что он пишет.

«Свет моего сердца, за последние месяцы я узнал тебя ближе, чем любую другую женщину, исключая моих родных. Бог даровал нам слово и перо, но я никогда не думал, что женщина может владеть ими обоими так чудесно. Твои „алиф“ словно кипарисы, прямые и высокие; твои „ба“, с нежными точками внизу, словно родинки на щеке любимой. Они покорили меня; каждая буква, написанная тобой, все глубже и глубже заманивает в сети мое сердце. Так властно твои слова завоевывают меня, что я начинаю видеть их на твоём лице, — вспыхивают лишь однажды и, увы, исчезают, но в них достаточно прелести, чтобы заполнить жизнь. Кудри вокруг твоего лица как буква „джим“, безоглядно завивающиеся, чтобы вонзиться в сердце любящего. Твой рот, бутон розы, пронзающе алый, крохотный и драгоценный, словно буква „мим“. Но ярче всего, когда я грежу о тебе, мне вспоминаются твои изумрудные глаза, прекрасные и дивные, словно буква „саад“. Я жажду каждого твоего слова. Не оставляй меня больше в страданиях. Дай согласие стать моей женой, чтобы делить с тобой каждое мгновение твоей жизни, и я буду лелеять тебя, пока не будет дописана последняя буква наших жизней».

Когда Нахид закончила, ее глаза переполняли слезы, но она сидела, не утирая их. Я никогда не видела прежде влюбленной женщины и позавидовала чистоте ее чувств. Ах-ах! — сказала я. — Какой алмаз, какой принц между мужчинами.

Но даже когда я говорила это, сердце мое обливалось слезами, которые Нахид могла пролить открыто. Никто не любил меня так, как Искандар любил Нахид. Я не знала, как заставить сердце Ферейдуна рваться от любви и вожделения, но, несмотря на горе, должна была оставаться молчаливой. Я не могла разделить с нею мои печали и погрузиться в сочувствие и утешение, которыми она непременно омыла бы меня. Это было бы хуже всего.

— Да, Искандар любит меня, — сказала Нахид, и слова были как мед на ее языке. — И сердце мое отдано ему. Я ничего так не хочу, как проводить часы с ним рядом.

Теперь, когда я узнала больше о мужчинах и женщинах, я не верила, что игрок в чавгонбози мог только шептать слова любви. Он непременно хотел обнюхать Нахид, раздвинуть ее бедра, как Ферейдун раздвигал мои.

— Иншалла, он будет любить тебя словами, но и телом тоже, — неосторожно сказала я.

Глаза Нахид, кажется, прояснились на секунду.

— Никогда не слышала, чтобы ты так говорила, — сказала она. — Что это значит?

Мне не следовало так откровенничать, но было уже поздно. Я быстро припомнила то, что слышала в нашей деревне.

— Там, дома, когда моя подруга Голи вышла замуж, она говорила мне, как важно ее мужу брать ее ночью, — отговорила я.

— А, это! — с отвращением сказала Нахид. — Думаю, что он сможет делать все, что захочет, — это будет его право, когда я стану его женой.

Я отхлебнула кофе.

— И ты не беспокоишься, даже немного?

— С чего мне беспокоиться? Я просто хочу, чтобы он держал меня в объятиях и говорил медовые слова, которые он пишет в своих письмах. Этим я буду довольна.

Последние недели научили меня, что между мужчиной и женщиной все должно происходить в темноте, и слова тут не нужны. Будет ли это иначе для Нахид и Искандара, если они уже любят друг друга?

— Мы будем прямо как Ширин и Хосров, счастливейшие из любовников, когда они наконец соединились! — восторженно заявила Нахид, казавшаяся женщиной, охваченной блаженной мечтой.

Я улыбнулась:

— Искандар не видел тебя нагой, купающейся в ручье, но я верю, что он видел твое лицо достаточно часто, чтобы очароваться, подобно Хосрову, заставшему Ширин без одежд.

— Я знала, что поймаю его! Я знала! — сказала Нахид.

Однако чем больше я об этом думала, тем больше Нахид и Искандар напоминали мне Лейли и Меджнуна, тех двух любовников, что любили друг друга без всякой надежды соединиться. Что они знали друг о друге? Меджнун уморил себя голодом в пустыне, слагая

стихи о Лейли, находившие приют в устах каждого бедуина. Лейли была заточена собственной семьей, уверенной, что она безумна. Оба ушли в могилу, полные любви, но что случилось бы, воссоединись они? Что если бы они тискали друг друга во тьме, что если б Лейли пришлось внимать одинокому звуку, шлепанью кожи о кожу? Нахид не могла знать, будет ли раем жизнь с возлюбленным, когда они делят ложе.

Я знала, что пора прекращать углубляться в мои печальные размышления и попытаться помочь Нахид завершить ее дело.

— Как ты намерена заставить родителей одобрить ваш брак? — спросила я.

На лице Нахид засияла улыбка, и я с радостью поняла, что она снова вернулась к своей заговорщической сути.

— Искандар написал мне, что его матушка и сестры всегда моются в хаммаме Хома в первый день недели. Он велел им приглядывать красивую девушку для женитьбы и описал ее похожей на меня.

— Очень умно, — одобрила я.

— Хотелось бы мне такой же зрелости, какую хвалила в тебе Хома. Стараюсь больше есть, но не помогает.

Я запротестовала:

— Нахид-джоон, ты самая прелестная девушка, какую я только видела! Ты их непременно заинтересуешь!

Нахид улыбнулась, уверенная в своей красоте.

— Я постараюсь помочь им заметить меня. Если я им понравлюсь и если его семья сделает моей предложение, мои родители никогда не узнают, что мы с Искандаром все это время переписывались.

— А как насчет его семьи? Твои родители их одобряют?

Нахид сделала отважную гримаску.

— Его отец разводит лошадей для губернатора провинции, — ответила она.

Я была поражена, узнав, что он таких простых кровей.

— И твои родители не будут настаивать на богатом женихе?

— С чего бы им, если у меня денег хватит на двоих?

— Но, Нахид... — начала я и осеклась. Она отвела взгляд, и мне не хватило духу продолжать. — Да исполнит Аллах все твои желанья!

Я молилась за ее счастье от всего сердца, но чувствовала себя куда старше — и мудрее. Пока Нахид воспевала блаженство любви, я увязала в трудностях неполного брака. Хотя пришла я с намерением облегчить сердце, но начала понимать, что это вряд ли получится. Она запуталась в паутине своих мечтаний, и ей они были куда милее, чем правда о брачной жизни, которую пришлось узнать мне.

Нахид обняла меня и прижалась своей щекой к моей. Я вдыхала сладкий запах мускуса, которым она сбрызгивала свои одежды.

— Если бы я не могла открывать тебе свое сердце, — сказала она, — то умерла бы. Спасибо тебе, что ты такая верная подруга. Приятно было ощущать силу ее привязанности, потому что у меня была царапина на сердце с тех пор, когда нас поймали на поло. Я ответила ей объятием, но после него она уселась прямо и отстранилась.

— Одно время, — призналась я, — мне казалось, что ты хочешь дружить со мной, только чтобы иметь подругу для игр.

Два розовых пятна расцвели на щеках Нахид, и она отвернулась.

— Поначалу так и было, — признала она, — но сейчас нет. Ты самая добрая подруга, самая деликатная и самая правдивая. Я всегда буду благодарна тебе, что ты взяла на себя мою вину там, на поло. Если бы не ты, мою любовь к Искандару открыли бы и погубили.

— Да что ты, пустяки, — краснея, пробормотала я.

Глаза Нахид были ясными и счастливыми.

— Надеюсь, мы всегда будем делиться тайнами и открывать друг другу сердца, — сказала она.

— Я тоже надеюсь... — ответила я, и родник радости забил в моем сердце, хотя так же быстро вернулась и печаль; мне было больно — я шла довериться ей, а она доверилась мне.

Но я не возражала против истории с поло, когда узнала, сколько это значило для нее. Любовь Нахид к Искандару смягчила ее, как Лейли изменила Меджнуна.

Сперва не было, а потом стало. Прежде Бога не было никого.

Когда матушка Лейли сказала ей о мужчине, за которого она выйдет, она не ответила ни гневом, ни слезами. Склонив голову, Лейли

покорно отвечала: «Я в твоем распоряжении, матушка». Ибо что это значило?

Родители Лейли выбрали ей богатого мужа из уважаемого бедуинского племени. В день свадьбы семьи воздвигли большие черные шатры в пустыне и украсили их мягкими коврами, чашами с фруктами, благовонными курильницами, масляными светильниками. Лейли надела алое платье, вышитое серебряной нитью, и серебряные туфли. На шее у нее были тонкие серебряные цепочки, а в них сердолики с вырезанными стихами священного Корана.

Когда муж Лейли первый раз приветствовал ее, она не ощутила ничего, кроме равнодушия. Он улыбнулся ей, открыв дыру на месте потерянного зуба. Обмениваясь брачными клятвами, Лейли не могла думать ни о ком, кроме человека, которого она любила. — Меджнуна.

Меджнун был из ее племени, и детьми они вместе играли в пустыне. Однажды он принес ей распутившийся желтый пустынный цветок и робко уронил его ей на колени. Даже когда ей исполнилось десять и она скрылась под покрывалом, она думала о Меджнуне и любила только его. Он вырос в красивого юношу, высокого и стройного, в белой рубахе и тюрбане. Ему не удавалось сдержать улыбку, когда она проходила мимо. И хотя он не мог ее видеть, ее красота была известна всему племени, бесспорная, как свет луны.

Когда Меджнун достаточно повзрослел, то попросил своего отца пойти со сватовством к родителям Лейли. Ему отказали, потому что у Меджнуна были странные привычки. Он уже тогда проводил целые сутки в пустыне. Приходил обратно исхудавший, изможденный, одетый лишь в белый тюрбан и набедренную повязку, и рассудок возвращался к нему лишь спустя некоторое время. Так он и получил свое прозвище Меджнун, что означает «безумный».

«Что с твоим сыном?» — спросил отец Лейли.

Отец Меджнуна не смог ответить, потому что и сам не знал, что гонит его сына в пустыню и почему он возвращается таким, словно увидел Всемогущего.

После того как родители Лейли отказали ему, Меджнун бежал в пустыню и жил один, почти без пищи и воды. Когда он замечал газель или другого зверя в ловушке, то отпускал его, и вскоре звери начали собираться возле его убежища и ложились рядом с ним у огня.

Хищники становились дружелюбны при нем, и все защищали его от опасностей.

Для зверей, окружавших его, Меджнун складывал стихи, где вспоминал имя возлюбленной, стихи столь прекрасные, что проходившие путники запоминали их и разносили по другим бедуинским стоянкам. Скоро имя Лейли звучало повсюду, и родители решили выдать ее замуж, чтобы спасти ее честь. Зная, что она не сможет выйти за своего любимого, Лейли приняла выбор родителей, не желая их позорить. Любой из мужчин был равно чужим ей, если он не был Меджнуном.

После свадебных празднеств Лейли тихо сидела на брачной постели, ожидая своего мужа, Ибн Салама. Радостный, что может назвать ее своей наградой, он вошел и преподнес ей блюдо сладчайших фиников, тщательно отобранных на принадлежавших ему финиковых пальмах. Она вежливо отведала их и дружелюбно говорила с ним, истинный портрет покорной жены. Но когда он коснулся ее руки, она отдернулась. Ночь уходила, а он все еще не смел коснуться ее губ своими или обнять ее талию загорелыми руками. На рассвете он уснул рядом, одетый, а она свернулась рядом с ним.

Так проходили месяцы. Лейли почтительно приветствовала Ибн Салама, готовила ему чай и еду, даже разминала ступни, когда он уставал, но ни разу не позволила ему коснуться своего безупречно берегаемого сокровища. Потому что он был обычным человеком. Он ездил верхом, охотился с соколами и получал от своих финиковых пальм достаточно, чтобы жить в довольстве. Но никогда ему не сложить стихов, подобных тем, что слагал Меджнун, никогда не заставить ее сердце рваться от тоски. Лейли уважала своего мужа и даже восхищалась им, но не испытывала ни малейшей страсти.

Несмотря на ее равнодушие, Ибн Салам все сильнее влюблялся в Лейли. То, что она отказывалась открыть ему свое сердце, глубоко его ранило. Однажды он решил взять ее против ее воли, ибо она принадлежала ему. Но что хорошего вышло бы из того? Лейли была женщиной, которая либо пришла бы к нему сама, либо не пришла никогда. Он решил ждать и надеяться, что однажды она смягчится. Пусть она закрыта для него, как раковина, он будет для нее распахнут, как море. Ни один мужчина не обращался с женой так нежно, ни один не любил так безоглядно.

Месяцы становились годами, Лейли хранила целомудрие, но все чаще задумывалась о своем решении. Все ее подруги вышли замуж и родили детей. Одна она не знала, что такое тяжесть мужского тела или своего ребенка на руках. Разве она не заслуживала той жизни, что и у других? Неужели она, гордость своего племени, должна предлагать себя собственному мужу и надеяться, что однажды ее любовь расцветет так же пышно, как и его?

Через несколько дней на базаре она услышала новые стихи о любви Меджнуна к Лейли из уст старика.

Мои ступни приветствуют боль,
Ведь она напоминает мне о любимой.
Я бы шагал по терновому полю Лейли,
А не по чужим розовым цветникам.

Лейли с трудом вздохнула. «А где он?» — спросила она старика, зная, что Меджнун где-то рядом.

«Он вернулся, — сказал старик, — и не ищет никого, кроме тебя».

«А я его, — ответила она. — Скажи ему, пусть встречается меня вечером в пальмовой роще». Ей ведь тоже надо было проверить, осталась ли ее любовь чистой и крепкой.

Лейли сказала мужу, что идет в шатер матери выпить с ней чаю. Завернувшись в покрывало, она добралась до пальмовой рощи после заката. Меджнун сидел в пятне лунного света, облаченный лишь в набедренную повязку. Он выглядел выше и тоньше, потому что исхудал; она видела все ребра на его боках. Теперь он казался диким зверем, нагим перед Богом и небесами.

«Наконец-то, любимая!» — вскричал он.

«Наконец!» — эхом отозвалась она. Она не видела его больше лет, чем могла сосчитать.

«Моя Лейли! Твои локоны черны как ночь; твои глаза темны и прекрасны, как у газели. Я буду любить тебя вечно».

«А я тебя, жизнь моя!» Она села за границей лунного круга, омывавшего его.

«Однако сейчас я должен спросить свою любовь, — добавил Меджнун, и глаза его были полны печали. — Почему ты предала меня?»

«О чем ты?» — спросила она, отпрянув в изумлении.

«У тебя есть муж! — сказал он, дрожа: ночной воздух становился прохладнее. — Почему я должен верить, что ты все еще любишь меня?»

«Он мне муж только по названию, — отвечала она. — Все эти годы я много раз могла отдать ему себя, однако моя крепость осталась невзятой».

«Для меня», — сказал он, и радость была в его глазах.

«Для тебя, — отвечала она. — Ибо что он в сравнении с тобой?»

Она плотнее закуталась в одежды, будто стремясь защитить себя от алчных глаз. «Да, сказать по правде, недавно я задумалась о жизни, которую я выбрала, — добавила она. — Ты свободен. Ты можешь идти, если хочешь, жить со своими зверями и слагать свои песни. Ты можешь изгонять песней то, что мучает тебя, и все будут повторять твою печаль. Но я заперта здесь одна и никому не скажу из страха утратить честь. А теперь скажи мне: кому труднее хранить верность?»

Меджнун вздохнул: «Тебе, любимая. Тебе. Вот поэтому всем своим сердцем я отдаю тебя любви твоего мужа, если ты выберешь его. Потому что ты заслуживаешь любви, как всякая женщина. А что до меня, я буду любить тебя, что бы ты ни сделала».

Лейли молчала, глубоко задумавшись.

«Лейли, возлюбленная моя, я раб твой. Когда я вижу пса, пробежавшего мимо твоего дома, я с благоговением целую его грязные лапы, ведь они побывали близ тебя. Когда я гляжу в зеркало, то вижу теперь не себя, а лишь тебя. Не зови меня больше моим именем. Зови меня Лейли, ибо ею я стал нынче!»

Лейли ощутила, как расцветает ее сердце. Что хорошего было в любви человека вроде Ибн Салама — усталые ноги, вонь от одежды после целого дня охоты, истории, которые он рассказывал тысячи раз. Но как она сможет обещать себя Меджнуну, который никогда не принадлежал ей?

«Как ты сохранишь верность своей любви? — спросила она. — Разве ты не содрогаяешься от разочарования и не иссыхаешь от

тоски? Разве тебе никогда не хотелось бросить меня?»

Меджнун расхохотался. «Что принесет тебе любовь, которую так легко останавливают препятствия? — спросил он. — Когда я был моложе, я испытал такое разочарование после отказа твоих родителей, что боялся — мое сердце лопнет. Но чем больше я думал об этом и рыдал над тобой, тем глубже и чище становилась моя любовь. Сстрадание открывало мне глубины моего сердца. Что такое обычная любовь в сравнении с этой? Она приходит и уходит. Но моя любовь к тебе стала такой глубокой и сильной, что никогда не отступит. В мире мало постоянства, но такая любовь — постоянная».

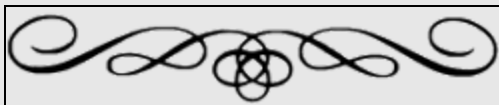
Лейли хотела растаять и перелиться в худое, измученное тело Меджнуна, чтобы жить с ним и его зверями под чистым небом пустыни, слушать стихи из его уст. Но в такой жизни не было чести, потому что все достойные люди будут сторониться ее. Нет никакой надежды на жизнь с ним на этой земле.

Однако возможно, что это не самая драгоценная вещь. Даже если Лейли не будет рядом с Меджнуном, у нее всегда останется его любовь. Она чувствовала, как ширится ее сердце, как оно растет и растет и как в нем не остается ничего, кроме Меджнуна. Эта любовь, подумала она, не та поденная плата, которую предлагал ей Ибн Салам. Это то, что освободило слезы в ее глазах и зажгло исступление в ней самой. «Любимый мой, мое сердце — твое! — воскликнула она. — Когда я вижу свое отражение в чаше воды, я вижу только тебя. Мы так близки, что не имеет значения, рядом мы или вдали».

«Моя Лейли, — ответил он, — ты словно кровь, бегущая в моих жилах. Если я порежусь, то буду лишь счастлив, почувствовав твое тепло...»

Было поздно, и Лейли не могла оставаться дольше. В свой шатер она шла одна, и сердце ее разрывалось от счастья. Она останется женой Ибн Салама, но лишь по названию. Ее любовь к Меджнуну была так глубока, что не нуждалась ни в чем, кроме себя самой. Отныне он всегда будет Лейли, а она всегда будет Меджнуном.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ



Прошла неделя; от Ферейдуна не было ни слова. Возможно, он уехал на юг по делам, думала я, отец часто посылал его оценить дорогих жеребцов, чтобы знать им цену. Или, может быть, он поехал навестить родителей или сестру или отправился развлечься охотой. Каждый вечер я спрашивала Гостахама и Гордийе, нет ли писем для меня. Поначалу они просто отвечали, что нет, но по мере того, как проходили дни, они стали отвечать на мои вопросы с жалостливыми взглядами. Еще через неделю я начала дергаться, услышав дверной молоток, и мчалась к дверям под любым предлогом.

Хотя он был сердит на меня, когда мы расстались в последний раз, я все еще надеялась, что он возьмет меня еще на три месяца. Мы с матерью нуждались в деньгах. И хотя я не была влюблена, по крайней мере так, как Нахид в Искандара, были тайны, которые мне все еще хотелось разгадать. Может быть, если бы мы больше были вместе, я научилась бы любить его. Кроме того, всегда была надежда, что он возьмет меня в постоянные жены или я забеременею.

У меня уже дважды были месячные с тех пор, как я вышла за Ферейдуна. Перед каждым сроком мама тщательно выискивала знаки, что я понесла дитя. После того как я начинала течь, мама говорила:

— Не переживай, азизам. Всегда есть следующий месяц.

Но я знала, что она разочарована и беспокоится, что я буду так же нескоро зачинать, как она когда-то. На третий месяц моего замужества мама принесла мне особое лекарство, которое должно помочь забеременеть, зеленое питье, напоминавшее застойную воду. Она также объяснила, что я должна есть и делать.

— Хвала Господу! — воскликнула она однажды, когда я съела за обедом целую кучу кислых торши. — Вот этого я и хотела, когда была в тягости тобой.

Я обрадовалась, потому что ждала ребенка так же, как она. Тогда станет ясно, что у нас будет свой дом и я буду заботиться о Ферейдуне всю оставшуюся жизнь.

Тот вечер матушка провела на крыше, гадая по звездам. Когда она вернулась в нашу комнату, то сказала, что у меня будет мальчик, потому что преобладает Марс.

— Он будет красив, как твой отец, — сказала она, и такой довольной я не видела ее никогда.

Гордийе поддерживала надежды моей матушки.

— Ты что-то округлилась, — сказала она однажды утром, глядя на мое лицо и живот.

Но я не чувствовала ничего. Начав отсчитывать время, остававшееся до конца моего контракта, я с каждым днем становилась все тревожнее.

Привязанность Гордийе и Гостахама друг к другу не переставала удивлять меня. Я видела, как добр был мой отец к матери — растирал ей ноги, когда она уставала, или радовал ее новыми кожаными туфлями, — но я никогда не видела, чтобы мужчина отдавал столько, сколько Гостахам отдавал Гордийе. Он всегда приносил ей подарки, пирожные, отрезы бархата, флаконы благовоний. Почему он так ее любил? Что она сделала, чтобы так привязать его к себе, как мотылька, кружащегося у лампы? Красоты она предложить не могла. Ее лицо было рыхлым, словно непропеченный хлеб, двигалась она тяжело, а тело — пухлое и в складках. Она часто давала волю своему языку, особенно когда ругалась из-за денег. Однако Гордийе была словно бриллиант — твердая, но с блеском в глазах, который делал ее желанной. Однажды во время полуденной трапезы Гордийе вошла в Большую комнату, одетая в тонкую шелковую рубаху цвета озера; под тканью округлились ее большие груди. Единственный изумруд на золотой цепочке притягивал взгляд. Волосы она покрыла вышитым шарфом, глаза подвела, затемнив свои тяжелые веки, положила по мазку румян на щеки и помады — на губы. Когда приехал Гостахам, она рассказала ему, что потратила целое утро, помогая кухарке готовить его любимое блюдо — рис с чечевицей и ягненком. Когда я принесла в Большую комнату горячий хлеб, то увидела, как она предлагает ему самые нежные кусочки ягнятины, подливает ему в

кубок сладкого гранатового шербета. Она принесла вина, тщательно сберегавшегося в ее кладовых, и предложила ему несколько чаш во время еды. Глаза Гостахама понежнели, округлое тело простерлось на подушках. Скоро он начал шутить.

— Жила-была женщина, трижды побывавшая замужем и все еще девственная, — говорил он, когда я вносила засахаренный миндаль, заготовленный еще в начале года. — Первый муж был из Решта и не мог ничего, потому что был дряблый, как старый сельдерей. Второй был из Казвина и любил мальчиков, отчего брал ее только так.

— А третий? — с дразнящей улыбкой спросила Гордийе.

— А третий был учителем языков и пользовался только языком.

Она захохотала, и я видела, как глаза Гостахама загорели при виде колышущейся плоти, окружавшей изумруд. Да она с ним заигрывала! Но зачем? Вот уж не могла вообразить, что пожилым парам это нужно. И что он имел в виду, с этим учителем, который пользовался только языком?

К концу обеда воздух вокруг Гостахама словно сгустился от желания. Когда он решил, что пора вздремнуть, Гордийе поднялась и с долгим хрипловатым смешком вышла следом за ним из комнаты. Я смотрела, как она идет к его покоям, а не к своим, что было любопытно. Никогда не видела прежде, чтобы она так себя вела.

Мы с мамой помогли кухарке убрать посуду из Большой комнаты, сложили ее в кадки для мытья. Когда я отмывала блюда, она споласкивала их и ставила сушиться. Скоро я услышала, как Гордийе издает звуки, похожие на тихое, ритмичное повизгивание. Я пыталась расслышать, что она говорит, опасаясь дурного, но вскрики были бессловесными.

— Что такое с Гордийе? — спросила я кухарку.

Она выбрасывала недоеденный рис.

— Ничего, — ответила она, пряча глаза.

Мы с мамой продолжали домывать молча. Когда мы покончили с раздаточными ложками и посудой, нам осталось только отскрести жирные котлы, в которых готовили мясо и рис. Следующие полчаса все было тихо, но тут я снова услышала те же вскрики.

— Ого! — сказала матушка. — После стольких лет!

— Вот так она получает что захочет, — ответила кухарка. — Подожди, и увидишь.

— Прямо сказка.

Кухарка захохотала так, что раскашлялась и должна была поставить горшок, который скребла.

— Правильно, только это все равно срабатывает, — сказала она, отдышавшись.

Что именно заставляло ее визжать от удовольствия, забыв себя? С Ферейдуном я иногда задыхалась, но никогда не делала ничего, что заставило бы меня так вопить. Хотела бы я знать почему.

Рано утром Гостахам прислал слугу, чтобы я пришла в его мастерскую. Он выглядел бодрее, чем за все последние недели, даже мешки под глазами были не такими темными, как обычно. Я подумала — не оттого ли, чем Гордийе потчевала его прошлым вечером.

— Сядь тут, — сказал Гостахам, похлопав по подушке рядом с собой. — Я хотел, чтобы ты помогла мне с вышивкой.

Он раскатал полосу ковра шириной ладони в две. На нем был рисунок диких красных тюльпанов, грубый и неоконченный. Вчера вечером купил для Гордийе, — сказал он.

Должно быть, я выглядела изумленной, потому что она вряд ли обрадовалась такому обычному ковра, ведь ее муж был мастером ремесла.

Гостахам засмеялся над моим удивлением.

— А вот настоящий подарок, — сказал он, вытягивая что-то из мешка.

Тяжелая золотая цепь с рубинами в квадратных оправках, каждый окружен висящими жемчужинами. У меня перехватило дыхание.

— Я хочу, чтобы ты вшила это в поверхность ковра и как можно тщательнее скрыла рубины в тюльпанах.

Гордийе раскатает ковер, ни о чем не подозревая, и потрудится, разыскивая спрятанные драгоценности.

— Вот она удивится, — сказала я. — Какое было бы чудо — заткать весь ковер такими камнями.

— Однажды было такое, — ответил он. — Самым знаменитым сокровищем последнего шаха Сасанидов, Яздегерда, и был ковер, усеянный драгоценностями. Это мне и подало такую мысль, хотя моя попытка намного скромнее.

— А где он теперь? — спросила я, мечтая увидеть его.

— Уничтожен, — вздохнул Гостахам. — Почти тысячу лет назад арабский полководец Саад ибн Аби Ваккиз подошел к белокаменному дворцу Яздегерда и взял его войском в шестьдесят тысяч человек. Когда они ворвались во дворец, чтобы разграбить его, их поразил великолепный ковер: роскошный розовый сад, сверкавший рубинами, а ручьи в нем сияли сапфирами. Даже деревья были затканы серебром, а белые цветы — жемчугом. Саад и его мародеры располосовали ковер на доли добычи — уж как они это сами понимали, — вырвали жемчужины для продажи и оставшееся числили трофеями.

— Это поругание, — тихо сказала я.

Гостахам усмехнулся.

— Но какая история! — ответил он.

Потом он оставил меня, чтобы собраться в шахскую ковровую мастерскую, а я вернулась в андаруни взять толстую иглу и красные нитки у Шамси. В мастерской Гостахама, где, я знала, меня не побеспокоят, я примерила ожерелье на свою грудь. Камни были дивно тяжелы и прохладой лежали на коже. Интересно — каково это быть обожасмой мужчиной настолько, что ему хочется радовать тебя такими дорогими дарами.

Вдев нитку в иглу, я протащила ее через середину тюльпана и слегка закрепила там рубин. Он почти скрылся, лишь слегка поблескивал. Так я сделала с каждым камнем, расположив цепь так, что она казалась одной из лоз, спиралями извивавшихся по верху ковра.

У меня было время подумать, пока я вшивала подарок для Гордийе. Она была не слишком красива и очень часто раздражительна и капризна. Однако единственным вечером любви она заставила растаять сердце мужа и распустила завязки его кошелька. Может быть, потому, что она была «сейеде», из потомков Пророка: они были известны тем, что обладали магией любви, недоступной иным женщинам. После стольких лет брачной жизни Гордийе все еще могла заставить мужа делать в точности то, что ей хотелось, в то время как я не могла удержать внимание моего и три месяца. Я рвалась узнать то, что знала Гордийе, чтобы суметь привязать к себе Ферейдуна.

Дождаясь весточки от Ферейдуна, я не бездельничала. Чтобы не думать о нем, я часами трудилась над ковром для голландца. Порой,

когда у меня сводило пальцы от вязания узлов, мне помогала матушка. Она садилась возле меня во двореке, и я могла называть цвета нам обоим, потому что узор был сложным и ей незнакомым. Тогда-то и пришла мне в голову смелая мысль: что, если найти несколько вязальщиц и нанять их, чтобы они делали мои узоры? Это то же самое, что они делают в шахской ковровой мастерской и во всех ковровых мастерских, разбросанных по городу.

Я даже знала, кого попрошу. Во время одного из выходов на базар я заметила женщину, продающую свои ковры среди других торговцев у Лика Мира. Она соткала несколько шерстяных ковров на исфаханский манер, с солнечным ликом посередине, переходящим в звездное небо или цветущий сад. Я остановилась взглянуть на ее работу.

— Да благословит Аллах цветы твоих рук! — сказала я. — Твоя работа прекрасна.

Женщина поблагодарила меня, но выглядела нерадостно. Я спросила ее, давно ли она продает ковры на этом базаре, зная, что большинство женщин предпочитают, если их мужчины торгуют вразнос.

— Нет, совсем недавно, — ответила она и снова смутилась. — Муж болен и не может работать. А мне кормить двоих сыновей... — И ее лицо исказилось, будто сдерживая слезы.

Мне стало жалко ее.

— Может, скоро удача будет на твоей стороне! — пожелала я. — С такой прекрасной работой — наверняка.

Застенчивая улыбка осветила ее лицо. С тех пор, появляясь на базаре, я останавливалась поздороваться с Малеке. Ее ковры не продавались, пока она не стала продавать их почти за бесценок. Она едва не рыдала, рассказывая мне об этом, потому что с трудом возвращала деньги за шерсть.

— Но что мне делать? — спрашивала она. — Детям нужно есть.

Ей было хуже, чем нам с матерью, и я задумывалась, можно ли как-нибудь ей помочь.

Первое, что я должна была сделать, — это закончить ковер для голландца. Я постоянно работала над ним с матушкиной помощью, и теперь, когда я стала вязать узлы гораздо быстрее, он тоже рос быстрее. Хотя я до сих пор пылала яростью на Гордийе, которая, не

спросив меня, уступила его голландцу, красота розового, оранжевого, алого, расцветавших на моем станке, успокаивала меня. В будущем я использую то, чему Гостахам научил меня с цветом, к своей выгоде.

День, когда мы с матушкой подняли ковер со станка и закончили бахром, был счастливым для всего дома. Для Гордийе и Гостахама это означало, что они смогут ублажить важного клиента отменным подарком. Для моей матери это означало, что я смогу начать другой ковер, который поможет нам заработать независимость. Для меня это было концом долгих и горьких самооправданий.

Когда голландец явился за ковром, я спряталась в уголок за лестницей, чтобы проследить за событиями в Большой комнате. Гостахам велел подать кофе и дыню, отмахиваясь от настойчивых просьб голландца сразу показать ему ковер. Затем послал Али-Асгара принести ковер и развернул его у ног голландца. Со своего места я видела ковер совсем по-новому. Если бы я летала, как птица, то именно таким увидела бы сад и все богатство цветов.

Глаза голландца на мгновение широко распахнулись.

— Я подумал о райских кущах, — сказал он. — Да узрим их мы все, когда истекнут наши земные сроки!

— Воля Аллаха, — ответил Гостахам.

Голландец пощупал ковер.

— Уверен, что даже у Елизаветы, королевы английской, никогда не было ковра, который мог бы соперничать с такой тонкой работой, — сказал он. — Пожалуйста, примите мою благодарность за это бесподобное сокровище.

Сердце мое переполняла радость, когда я слышала, что мою работу оценили выше тех, которыми владеет великая королева, — даже если голландец преувеличивал. Может, теперь Гостахам и Гордийе узнают мне цену.

— Я счастлив, что вы так довольны изделием с моих станков, — отвечал Гостахам и сверкнул широкой улыбкой в сторону резной алебастровой панели, где, он знал, прячусь я.

Мужчины принялись обсуждать ковры, сделанные в шахской мастерской, которые голландец покупал для богатого купца. Они договаривались о встрече, чтобы он мог на них взглянуть, а потом слуга проводил его до дверей.

Говорят, что великий пророк Мухаммед, смахнувший пот со лба, восходя к Господнему трону, провел семь жизней на каждом из семи небес и вернулся на землю прежде, чем пот успел на нее упасть. Возможно ли это? Говорят, возможно, ибо что для одного человека разворачивается в годы, у другого занимает лишь мгновение.

В самом деле, каждый день, когда не было известий от Ферейдуна, растягивался для меня невыносимо. Сидя на корточках во внутреннем дворе за два дня до истечения срока моего брака, я колола грецкие орехи и выбирала жесткие внутренние перегородки, делившие ядро пополам, но чувствовала себя так, словно с каждым выдохом теряла целую жизнь.

После восхода, когда солнце уже палило, я остановилась вытереть лицо. Скорее от тоски, чем от голода, я сунула в рот половинку ядрышка, не взглянув на него. Оно было такое заплесневевшее, что у меня язык свело. В этот самый миг, прежде чем я успела проглотить свою добычу, Гордийе вышла из кухни и пошла в сторону кладовых.

— Вкусные? — спросила она, давая понять, что видела, как я ем.

Я с трудом проглотила и улыбнулась ей, будто не поняла вопроса.

— Салам алейкум, — сказала я.

— Кухарка готовит цыпленка с орехами в гранатовом соусе — твоё любимое, да?

— Люблю все, кроме её барашка с лимоном, — ответила я, зная, что Гордийе нравится напоминать мне, что мои хлеб-соль дарует она.

Гордийе заглянула в ступку, полную ореховой мякоти.

— Внимательней, у тебя там скорлупа, — сказала она.

Она была такая твердая, что могла сломать зуб. Обычно я не была такой рассеянной, но сейчас в этом не было ничего удивительного — мой разум где-то блуждал. Я выбросила скорлупу, но Гордийе сунула пальцы в толченые орехи, проверяя, мелкие ли.

— Растолки их в пудру, — сказала она. — Они должны прямо растопиться в сиропе.

Кухарка уже засыпала их в кипящий гранатовый сок вместе с сахаром. Воздух наполнился сладким запахом, от которого у меня обычно текли слюнки, но не сегодня.

— Чашм, — сказала я. Гордийе была довольна: ей нравилось, когда я подчинялась. Едва слышно я добавила: — Они вкуснее хрустящие...

Я обрушивала пестик на ядра, превращая их в порошок. На лбу снова собрался пот, я чувствовала, как одежда липнет к коже.

Спустя несколько минут Гордийе появилась из кладовых с полными пригоршнями лука.

— Эй, Хода! — позвала она. — Если все будут так есть, там скоро ничего не останется.

Я постаралась изобразить сочувствие, хотя знала, что кладовые набиты пирамидами дорогого красного шафрана, тугими финиками с юга, плавающими в собственном сладком соку, флягами крепкого вина и рисом, которого семье хватило бы на год.

— Не толочь больше? — спросила я, надеясь, что ее забота о растраченных припасах спасет меня от работы.

Гордийе помедлила, словно не могла решить, что лучше — больше работы или меньше трат.

— Давай толки, — наконец велела она, — если не понадобятся, используем потом.

Я высыпала каштаны, которые растолкла в пудру, и сгребла остальные, стараясь вести себя как обычно. Гордийе помедлила еще немного, разглядывая каштаны.

— По-прежнему ни слова? — спросила она.

Если бы пришло письмо с подписью Ферейдуна, ниспадающей, словно птица в полете, она узнала бы об этом от Гостахама. Не было нужды спрашивать, разве чтобы напомнить мне: мое положение в доме становится все ниже. Я уже чувствовала это по тому, какую работу назначала мне Гордийе: толочь каштаны, к примеру, обычно было делом Шамси. Возможно, она ее уже уволила, и если я не услышу о Ферейдуне сегодня, то не услышу уже никогда. На секунду я ощутила, что не могу продолжать работу. Бедный зверек! — сказала Гордийе, возвращаясь из кухни. — Иншалла, ты скоро получишь от него весточку.

Как только я вспоминала о последней ночи с Ферейдуном, я словно касалась котла, кипящего на огне. Я отдергивалась, опаленная до кости. Когда он хотел говорить, я слушала, когда он хотел моего тела, я позволяла ему делать что угодно. Я не могла понять, в чем ошиблась.

Я продолжала ударять пестом по каштанам. До чего все изменилось с тех пор, как мы с матушкой перебрались из нашей

деревни в Исфахан! Там я была защищена, словно шелковичная гусеница в коконе. Мне так хотелось снова стать пятнадцатилетней девственницей, не знавшей ничего о неостановимом движении звезд.

За обедом я почти не могла есть, чем изумила кухарку, знавшую, как я любила ее гранатовый соус. «Ай!» — вскрикнула я, когда на зуб попал острый осколок скорлупы, невидимый в соусе. В остальном обед был даже спокойней, чем всегда, и матушка выглядела обеспокоенной, когда наши взгляды встречались.

После я помогала вычистить и отскрести пригоревший рис из котлов, пока не заболели пальцы. Когда все отправились на послеобеденный отдых, я спросила Гордийе, нет ли поручений. С довольной миной она велела мне сходить на базар и купить гааз, липкую нугу с фисташками, которую любят ее внуки. Я вышла из дома Гостахама, накинув чадор и покрывало, и быстро пошла в лавку, торговавшую гаазом, на Большом базаре. Сделав покупку, я вместо того, чтобы идти домой, пересекла Лик Мира и вошла на базар с южной стороны. Пройдя долгий путь до реки, чтобы не столкнуться ни с кем из знакомых, я прошла мимо рубашечников, фруктовых и овощных рядов, продавцов горшков и сковородок, пока не оказалась за базаром у моста Тридцати Трех Арок. Я быстро огляделась, чтобы убедиться, что никто не узнал меня, прежде чем я перешла его, и побежала вверх, к новой армянской части города.

Я никогда прежде не рисковала бывать среди такого количества христиан. Шах Аббас переселил тысячи армян в Новую Джульфу — говорят, против их воли, — чтобы торговали для него шелком. Многие разбогатели. Я прошла мимо разукрашенной церкви, но заглянула внутрь. Стены и потолок были покрыты изображениями мужчин и женщин, включая изображение группы мужчин, евших вместе. Вокруг голов у них были светящиеся круги, как будто им надо было поклоняться. Я разглядела изображение человека, несшего кусок дерева на спине, в глазах его было ужасное страдание. А за ним шла женщина, выглядевшая так, словно готова отдать за него жизнь. Так что, наверное, это была правда, что христиане поклоняются человеческим идолам, словно Богу.

Гостахам говорил мне, что шах чтит своим присутствием армян во время их религиозных праздников дважды в год, но когда армянский зодчий воздвиг церковь выше самого высокого минарета,

ему отрубили руки. Я содрогнулась при этой мысли, ведь зодчий, так же как ковровщик, — что он может без рук?

Отойдя от церкви, я свернула в узкую улочку и шла, пока не отыскала примету, которую однажды упоминала Кобра: исписанная страница, прибитая к двери цвета весенней травы. Я не могла ее прочесть, но знала, что там должно быть написано. Постучав, я снова нервно оглянулась — подобное дело было мне в новинку.

Дверь отворила пожилая женщина с неожиданно синими глазами, медового цвета волосами, едва прикрытыми лиловым шарфом. Без единого слова она поманила меня внутрь и прикрыла за мной дверь. Комната, где мы оказались, была полна странных вещей: костей животных в глиняных горшках, бутылей с красными и золотистыми жидкостями, корзин, переполненных корнями и травами. Астрологические знаки и небесные карты были приколоты к стенам.

Я сняла свои покрывала и уселась на подушку напротив нее. Вместо того чтобы расспросить меня, она зажгла пучок дикой руты, прикрыла глаза и начала певуче произносить стихи. Потом открыла глаза и сказала:

— Твоя трудность — мужчина.

— Да, — подтвердила я. — Как ты узнала?

Заклинательница не ответила.

— Как ты попала в Исфахан?

Без сомнения, она угадала по моему выговору, что я с юга. Я сказала ей, что мы с матушкой оставили нашу деревню после смерти отца, и что мы почти голодали, и что я впуталась в трехмесячное сигэ богатого мужчины.

Взгляд заклинательницы стал тревожным.

— Почему он не предложил тебе стать настоящей женой? — спросила она.

— Мне сказали, что он должен жениться на женщине, которая принесет ему хорошее потомство.

— В таком случае почему твоя семья не подождала подходящего брака для тебя?

— Не знаю. — Мне не хотелось рассказывать ей, как я погубила ковер.

Женщина явно изумилась. Она разглядывала мою одежду — простую красную полотняную рубаху и оранжевый полотняный халат,

опоясанный красным платком.

— У твоей семьи трудности с деньгами?

— Семья моего дяди вполне благополучна, но его жена беспокоится, что мы с матерью объедаем их.

— То есть они надеялись, что муж заберет тебя надолго и осыплет дорогими дарами.

— Да, — отвечала я, — но мое замужество кончается послезавтра.

— Ох! — с тревогой воскликнула заклинательница. — Времени у нас мало.

— Ты можешь наколдовать, чтобы он меня захотел? — спросила я.

— Возможно, — отвечала она, рассматривая мое лицо в поисках решения. — Каков твой муж?

— Он очень деятельный, — сказала я. — Всем кругом говорит, что им делать. Иногда очень нетерпелив.

— Он тебя любит? Он никогда этого не говорил, — вздохнула я, — но в последний раз он купил мне новые одежды, и это выглядело почти так, что он меня любит... — Я произнесла это голосом, полным удивления, потому что сама только что осознала это.

— Но ты говоришь не как влюбленная женщина, и глаза твои не сияют радостью.

— Нет, — со вздохом признала я.

— Ты любишь своего мужа?

Мгновение я думала, прежде чем ответить.

— Я не дрожу, когда говорю о нем, как одна из моих подруг, рассказывающая о своем возлюбленном, — сказала я. — Быть с ним — то, что я должна делать.

— В таком случае не знаешь ли ты, почему он не посылает за тобой?

— Нет, — отвечала я горестно.

Ее глаза, казалось, пронзали мои. Она помахала тлеющей рутой, и острый запах наполнил мои глаза слезами.

— Вы уже проводили ночи вместе?

Я рассказала ей, как стыдно мне было, когда он брал меня во всех четырех углах спальни, и о том, что Ферейдун часто не оставлял меня до рассвета.

— Поначалу так и должно быть, — кивнула она.

— Я тоже так думаю, но теперь, кажется, огонь его страсти угасает.

— Уже? — Она помедлила и явно пыталась что-то понять. — Что случилось, когда ты виделась с ним последний раз?

— Не знаю, — помотала я головой, стараясь избежать расспросов. — Я всегда делала что скажут, но я ощутила его утомление.

— Как будто ему надоело?

— Да, — сказала я, ерзая на подушке и глядя в сторону.

Последовало долгое молчание, нарушенное только тогда, когда я призналась прерывающимся голосом, что Ферейдун услаждал себя без моего участия.

— А потом он тебе что-нибудь сказал? Много дней я не позволяла себе думать об этом.

— Он спросил, испытываю ли я с ним наслаждение. Я была так поражена вопросом, что сказала: «Ослеплена честью быть в вашем присутствии, озаряющем мир...»

Заклинательница улыбнулась, но в улыбке не было радости.

— Это очень вежливо.

Раз уж я начала, подумалось мне, тогда могу рассказать и остальное.

— Тогда он поднял брови и сказал: «Тебе не надо говорить так со мной, когда мы одни».

— И тогда ты сказала ему правду о том, что чувствуешь?

— Не совсем; это был первый раз, когда он позволил мне говорить, что я думаю. Тут я сказала: «Моя единственная забота — доставить вам удовольствия». Он нагнулся надо мной, провел своими кудрями по моему лицу и сказал: «Дитя юга, я это знаю. И тебе это удастся. Но знаешь, нужно больше, чем просто удовольствие». Потом он спросил меня, понравилось ли мне то, что мы делали ночью вдвоем, и я сказала «да».

— Правда?

Я пожала плечами:

— Не понимаю, почему люди все время говорят об этом.

Заклинательница глянула на меня так сочувственно, что я едва не разрыдалась.

— А почему тебе не понравилось так, как ему?

— Не знаю, — снова сказала я, подвинувшись на подушке и жалея, что пришла.

Заклинательница взяла мою руку и сжала ее в своих ладонях, чтобы успокоить меня. Я чувствовала себя в точности так же, как перед смертью отца, словно я вот-вот потеряю все сразу.

— Невозможно выдержать, когда все так раскрывается, — внезапно, не понимая отчего, сказала я.

Похоже, что заклинительница поняла.

— Дитя мое, нельзя удержать то, что Аллах отнимает и дает, но ты тоже можешь завершать многое. Обещай мне, что запомнишь это.

— Обещаю, — сказала я, хотя это было последнее, что меня заботило.

— Теперь, когда я поняла твою тяготу, я могу сделать две вещи, чтобы помочь тебе, — сказала заклинительница. — Но сперва я хочу узнать вот что: может ли твой муж взять себе постоянную жену?

Я помедлила, вспоминая, что, прежде чем я вышла замуж, Гордийе сказала, что он уже подыскивал девушку, которая достойна быть матерью его наследников.

— Конечно, — ответила я.

— Тогда позволь мне сотворить заклинание, которое свяжет их пути, — сказала она.

Она сунула руку в корзину, где лежало множество мотков ниток. Выбрав семь цветов радуги, она сделала на нитках семь узлов в семи местах и затем повязала их на мою шею.

— Носи, пока не спадут сами, — велела она. — И не говори своему мужу, для чего это.

— Если я его увижу снова, — горько заметила я.

— Божьей волей увидишь, — отвечала она. — И если будет так, ты должна хорошенько постараться угодить ему.

Я была ошеломлена ее советом.

— Но я думала, что уже сделала все, чего он хотел.

Заклинательница погладила мою руку, словно успокаивала неумное дитя.

— Непохоже, — мягко заметила она.

Мои щеки вспыхнули краской стыда.

— Хотела бы я знать то, что знала моя матушка, когда была моих лет, — горько сказала я. — Отец любил ее каждую минуту их жизни.

— И в чем, по-твоему, был ее секрет?

Я поведала ей о даре матушки рассказывать истории, которые будили отцовскую любовь, хотя когда-то он был самым красивым юношей деревни. У меня такого дара не было.

Заклинательница остановила меня.

— Вообрази на миг, что это ты рассказываешь историю, а не твоя матушка, — сказала она. — Скажем, ту, о Фатеме-прядилице. Вначале ты захватываешь внимание своих слушателей, рассказывая им, как отец Фатеме гибнет в кораблекрушении, оставляя ее добывать себе пропитание. Но что, если ты, вместо того чтобы заставить их ждать конца истории, расскажешь им его тут же?

— Это будет глупо, — сказала я.

— Верно, — согласилась она. — Так как же следует рассказывать историю?

— Когда моя матушка рассказывала сказки, она ставила начало, середину и конец на положенные им места.

— Так и надо, — сказала зачинательница. — Рассказчица заманивает тебя обрывками истории то тут, то там. Она поддерживает в тебе интерес до самого конца, пока наконец не насытит твое желание.

Я отчетливо поняла, что она имеет в виду. Слушатели моей мамы зачаровывались, глядя на нее остановившимися глазами и открыв рты, словно забыв, где находятся.

Заклинательница пригладила свои медовые волосы.

— Так что думай о вечерах со своим мужем как о времени, когда ты рассказываешь ему историю, только не словами. Для него это будет старая сказка, поэтому тебе надо выучиться рассказывать ее по-новому.

Я снова покраснела, но в этот раз словно жгучее пламя вспыхнуло глубоко, у самой печени, и растеклось до самых кончиков ступней.

— У меня уже есть несколько выдумок, — призналась я, — но мне слишком стыдно их пробовать.

— Не откладывай, — сказала зачинательница с ноткой предостережения в голосе, по которой я поняла, что она думает — я под угрозой.

— Однако не знаю, как начать... — шепнула я. Ключ в вопросе, который твой муж задал тебе в последнюю вашу встречу, — ответила

заклинательница. — Есть что-то, что тебе нравится делать с ним?

— Мне нравится, как он целует и ласкает, — сказала я, — но это прекращается, как только он соединяет наши тела. Тут он забывает обо мне и рвется вперед, к мигу своего высшего наслаждения.

— А ты?

— Я стараюсь делать все, чтобы помочь ему.

— Ему не надо помогать, — сказала зачинательница.

Я уставилась на нее, надеясь на продолжение, но она молчала. Минуты медленно текли, а я вертелась на своей подушке в ожидании и надежде.

— Скажи мне, — взмолилась я.

Она улыбнулась:

— Вот так я целиком завладела твоим вниманием.

— Да, — признала я.

— И ты не будешь довольна, пока я не дам тебе того, чего ты просишь.

Моя голова слегка плыла от едкого запаха руты, висевшего в воздухе.

— Я должна узнать.

— Ты у меня в плену, и если бы я хотела оставить тебя тут, — сказала она, — я могла бы рассказать какую-нибудь историю, например о матушке Фатеме и ее чудесном рождении.

— Надеюсь, что ты не захочешь, — ответила я, понимая, что уже прошу ее. Сердце заколотилось, ладони взмокли.

Заклинательница пристально смотрела на меня.

— Вот теперь ты поняла, — улыбнулась она.

— Да, — кивнула я.

— В таком случае я больше не буду томить тебя, — сказала она. — Всегда нужно окончание, хотя оно никогда не бывает так восхитительно, как приближение к нему.

Затем она спросила, видела ли я когда-нибудь некую часть моего тела, ту, которая обычно скрывается.

— Конечно нет! — удивленно отвечала я.

В своей деревне я делила комнату с родителями. В хаммаме я всегда была окружена другими женщинами. Единственное уединенное место, которое мне выпадало, — это уборная, но там было слишком темно и зловонно, чтобы задерживаться.

— Все же ты должна понимать, что я имею в виду.

Несмотря на мой ответ, я, конечно же, понимала. По крайней мере, могла ощупать.

— Прежде чем твой муж взойдет слишком высоко на вершину блаженства, прими эту позу ипусти его, как только он окажется сверху. Ты сможешь попробовать позу «Лягушка», «Ножницы», «Индийская» и «Гвоздь в туфле».

Дабы увериться, что я ее поняла, она показала их на пальцах. Я начала обдумывать, как это будет с Ферейдуном и смогу ли я настроить себя так, чтобы он решил, что они заданы им самим.

— Я могу сделать то, что ты предлагаешь, — проговорила я. — Но я никогда не думала, что моему мужу есть дело до моего наслаждения.

— Возможно, и нет, — согласилась она. — Однако вообрази, каково тебе будет, если, проведя очередную ночь с тобой, он не сможет взойти к вершине.

Мучительно было не суметь обрадовать его. Я была словно ватная кукла, которая не может двинуться, пока ребенок не начнет ею играть, двигая ее руками и ногами. Неудивительно, что Ферейдуну стало скучно.

— Низко склоняюсь перед твоим знанием, — сказала я заклинательнице.

Она улыбнулась.

— Станешь старой, как я, будешь знать столько же, а может, и больше, — ответила она.

Я заплатила заклинательнице деньгами, данными мне матушкой из платы за сигэ, потому что она сделала для меня все, что могла. Только добравшись домой, я поняла, что никакого заклинания для того, чтобы Ферейдун захотел меня, я не получила, а скорее получила совет, как сделать так, чтобы он не захотел никого другого. Это казалось мне очень странным, пока я не поняла, что должна открыть способ приворожить его сама.

В тот вечер я едва слышала матушку, Гостиахама или Гордийе. Встречаясь с ними глазами, я словно видела в них жалость, а их молчание лишь подтверждало, что от Ферейдуна нет вестей. Матушка не говорила ничего, но перед сном она ласково подоткнула мое одеяло

и рассказала мне одну из моих любимых сказок — о Бахrame и его рабыне Фетнех. Я любила эту историю, потому что Фетнех мудрыми уловками победила Бахрама, показав ему его слабость. Как мне хотелось быть такой же с Ферейдуном.

Я уснула и видела сон, что мы возвращаемся в наш старый дом, в нашу деревню. Мы открываем дверь, а вся комната полна снега. Нам с матушкой остается лишь зарываться в него. Мы стараемся выложить нору лохмотьями одежды и коврами, но холод безжалостен. Белизна снега слепит мне глаза, ледяная сырость вползает в тело. Я ощущаю, что меня заживо хоронят в белом саване. Дрожа, я проснулась, и пот остывал на моем лбу и груди.

Лежа во тьме, я думала, что нас ждет. Как долго Гостахам и Гордийе будут содержать нас, если мы не получим от Ферейдуна еще денег? Нам снова придется голодать; придется полагаться на щедрость других, которая иногда скрывает греховные желания. Даже понимая это, я все равно хотела остаться в городе. Мне нравилось, как полнеет мое тело в столице, становится женственным и округлым, потому что мы сытно ели каждый день. Мне нравилось то, чему я училась у Гостахама, который помогал мне теперь изображать львов, драконов, райских птиц и других выдуманных животных, которых я видела на охотничьем ковре шаха.

Но более этого мой ум был переполнен мыслями, как завоевать Ферейдуна, если у меня будет еще один случай. Будь я павлином, какого я недавно пыталась нарисовать, я проводила бы своими шелковистыми, переливчатыми перьями по его спине. Будь я лисой, закрывала бы ему хвостом глаза и вылизывала его своим тонким языком. В его глазах не осталось бы ни капли скуки!

На следующее утро я проснулась от голоса уличного торговца, гнусаво расхваливавшего свою ячменную похлебку, и побежала спросить кухарку, что мне сегодня делать. Когда мы разговаривали, я услышала стук в калитку женской половины. Шамси пришла за мной и отвела меня к Гостахаму и Гордийе, потому что мне наконец пришло письмо.

— Что там сказано? — выпалила я, забыв поздороваться; я боялась, что письмо подтверждает конец моего союза.

— И тебе доброе утро, — ответил Гостахам, напоминая мне о хороших манерах, и я тут же ответила на его приветствие.

Гостахам разломил восковую печать на письме, где стояла безошибочно узнаваемая подпись Ферейдуна. Я следила, как его глаза движутся по строкам, и с трудом подавляла желание выхватить его и попытаться прочесть самой.

— Ну? — спросила Гордийе.

Гостахам продолжал читать.

— Не может он забыть о куче цветистых выражений и сразу переходить к сути, — сказал он, изучая написанное. — А, вот наконец. Ферейдун требует ее сегодня вечером. Хвала Аллаху!

Я онемела от облегчения.

Гордийе улыбнулась.

— Такое везение — это знак благоволения небес, — сказала она.

Я не хотела снова совершить ту же ошибку и прийти такой же вымотанной, как в прошлый раз.

— Мне нужно время подготовить себя для него, — попросила я.

Казалось, Гордийе понимает.

— Ты свободна от всех дел, — ответила она. — Я скажу Шамси поработать сегодня вместо тебя на кухне.

Ее щедрость изумила меня, пока я не вспомнила, что у нее свои причины желать нашего соединения. Время от времени она спрашивала меня, не упоминал ли Ферейдун, что хочет новых ковров, и предлагала, чтоб я подсказала ему заказать их у нас. Я никогда не пыталась.

Матушку я попросила оставить меня одну на все утро, и она отправилась собирать травы для своих лекарств. Запершись в нашей маленькой комнатке, я окрасила хной ступни и ладони, а потом решила удивить Ферейдуна, сделав рисунок там, где его увидит только он. Это заняло несколько часов, и я должна была сидеть неподвижно, пока высыхала паста, что было трудно из-за моего возбуждения. Пришлось также слегка накрыться: я боялась, что матушка может вернуться и обнаружить мой дерзостный поступок.

Ближе к вечеру я отправилась к дому Ферейдуна — как могло оказаться, в последний раз. Наш контракт истекал на следующий день, и я не знала, собирается ли он насладиться мною последний раз или у него есть на меня другие планы. Само собой, мне также пришлось потрудиться, чтобы скрыть то, что я сделала, от зорких глаз Хайеде и Азиз. Когда они приветствовали меня, то выглядели даже более

равнодушными, чем обычно. Я начала раздеваться, и они даже не остановили меня, что наполнило меня тревогой: они не верят, что я вернусь. Прежде чем спуститься в бассейн, я спросила:

— Вы будете осматривать меня, нет ли случайных волосков?

Хайеде притворилась, что осматривает, но продолжала говорить с Азиз.

— Все равно, — рассказывала она ей, — свадьба займет неделю в доме отца жениха, он выращивает фисташки...

Она рассеянно терла мою спину мыльной тканью, описывая, как будет наряжена ее дочь. Без их помощи я легла в бассейн.

После того как они меня одели, я прошла в спальный покой, который столько раз делила с Ферейдуном, и уселась в обычном месте, но не могла оставаться неподвижной. Встав, я прошла в примыкающую комнату, где мы ели. Что именно мне делать? Я подошла к висевшим на стене шелковым коврикам, где изображены были две птицы, распевające на дереве. Узлы были такие плотные, что поверхность казалась более гладкой, чем кожа. Внезапный порыв заставил меня снять один из них. Я унесла его в спальню и разостлала неподалеку от постели. Затем вернулась в большой покой и стала ждать.

Когда Ферейдун появился, он был сумрачен. Не успев войти, рывкнул на слуг, чтобы несли вино и кальян. Через мгновение он заметил коврик, снятый со стены, отчего рядом со вторым зияло пустое место.

— Какой ишак убрал ковер? — прорычал Ферейдун.

Слуги съезжились и принялись многословно клясться в невинности. Я перепугалась, но сказала:

— Я.

— Выглядит ужасно.

— У меня есть причина, — ответила я.

Ферейдун отвернулся от меня и вытянул руки, чтобы слуга мог снять с него халат и пояс и отстегнуть кинжал, выложенный жемчугом. Другой слуга на цыпочках внес вино и кальян и, кланяясь, попятился прочь. Ферейдун сдернул тюрбан с головы и принялся пить, не предлагая мне. Когда принесли еду, он ел быстро, почти зло. Я едва могла поднести кусок ко рту.

Кофе подали в двух тонких зеленых чашках. Ферейдун отхлебнул, прежде чем слуга вышел из комнаты, и проворчал:

— Недостаточно горячий...

Слуга вернулся заменить чашки, но вид у него был дерзкий, и он ничего не сказал, чтобы смягчить гнев Ферейдуна.

— Подожди! — велел Ферейдун.

Слуга, которому было не больше двенадцати, остановился рядом с чашками на подносе. Ферейдун схватил мою чашку и выплеснул в лицо мальчику. Тот отшатнулся, едва не выронив поднос.

— Видишь? — взревел Ферейдун. — Он даже обжечь не может! Принеси такой, какой может!

У глаз мальчика побагровели пятна ожога. Он пролепетал какие-то извинения и попятился из комнаты, а по лицу его струились слезы. Ишак! — заорал Ферейдун ему вслед.

Я никогда не видела, чтобы он так себя вел. Гнев его был так же внезапен и непредсказуем, как ураган, и так же безразличен.

Минутой позже вернулся другой слуга с таким горячим кофе, что я обожгла себе горло. Ферейдун выпил свой залпом, ушел в другой покой и бросился на постель, закрыв глаза. Скоро я услышала громкий храп. И так должна пройти моя последняя ночь с Ферейдуном, без надежды на спасение? В моей голове царил сумбур, я словно примерзла к месту, как в том сне, что увидела прошлой ночью. Я вспомнила медленную, ледяную смерть, что почти настигла меня в родной деревне, и внезапно вскочила на ноги, поняв, что надо что-нибудь делать.

Опускалась ночь, в комнате становилось темно. Я зажгла масляную лампу и поставила ее рядом с шелковым ковриком, прежде чем сбросить всю одежду, кроме розовых атласных шаровар. Укладываясь на постель рядом с Ферейдуном, я старалась быть как можно более неуклюжей и разбудить его. Это сработало: сонно жмурясь, он приоткрыл глаза.

— Я хочу тебе что-то показать... — отчаянно шепнула я.

— Что? — раздраженно буркнул он.

Затихнув на миг, я снова шепнула:

— Ты, и только ты должен это найти...

— Найти что? — полусонно спросил он.

— Секрет, который для тебя приготовлен, — ответила я.

Он перекатился на локоть и, моргая, попытался проснуться. Я немного отодвинулась, а когда он потянулся ко мне, я снова отодвинулась.

— Дай мне взглянуть на тебя, — сказал он.

Я привстала на руках и коленках, но слегка повернулась, чтобы показать ему свои бедра, обтянутые шелком, и обнаженные груди. Потом поползла к светильнику. Удивленный Ферейдун встал на четвереньки и последовал за мной. Я позволила ему схватить меня за бедра, но не обернулась. Он стал ощупывать мою грудь мягкими пальцами. Когда мне понравилось то, что он делал, я прижалась спиной к его груди, накрыла его ладони своими и задержала их там.

— Что за секрет? — тихо спросил Ферейдун.

Теперь он совсем проснулся, его глаза были живее, чем за месяцы до этого.

Я высвободилась из его объятий и отползла так быстро, как могла. Он хотел схватить меня за шаровары, но промахнулся и, хохоча, снова пополз следом. Когда я была готова, я дала ему поймать краешек шаровар и придавить себя животом к полу.

— Повернись, — сказал он.

Я лежала неподвижно, поддразнивая его улыбкой и упираясь, когда он пытался перевернуть меня.

— А! — обрадованно сказал он, когда я не согласилась двинуться.

Он не заставлял меня, но оттянул пояс моих шаровар и дернул ткань. Шелк звучно порвался, и его лицо засияло удовольствием. Потом он сдернул свою одежду.

Я все еще отказывалась повернуться.

— Ты его так и не отыскал, — поддразнила я.

Тут Ферейдун пришел в неистовство. Обыскав мое нагое тело при светильнике, он стал ласкать меня руками и губами. На этот раз его ласки были совсем другими; казалось, он старается воспламенить меня. Когда он снова попробовал меня перевернуть, я опять не позволила ему; мне слишком нравилось то, что он делал. Ферейдун совершенно обезумел, целуя и кусая мои плечи и приподнимая мое тело, чтобы снизу ласкать мои груди. Я чувствовала, что становлюсь как горячий гранатовый сироп, задыхаясь и не в силах больше сопротивляться, и тогда я перевернулась, позволяя ему осмотреть меня дальше.

— И где секрет? — нетерпеливо спрашивал он.

Я дразняще улыбалась, и Ферейдун потащил меня поближе к светильнику, целуя и лаская, пока подбирался ближе и ближе к моему сокровищу.

Я тесно сжимала ноги и не позволяла ему раздвинуть их, показывая тело лишь частями, словно говоря «Тронь меня тут» или «Поцелуй меня там». Было так, словно он впервые открыл меня. Рот и пальцы путешествовали по моему телу, будто караван, останавливаясь по пути в оазисах. Я уже вся горела от наслаждения, и мои ноги раздвинулись, ибо я не хотела больше быть отдельно от него. И тогда он увидел то, что я сделала. «У-уу!..» — закричал он в изумлении и нагнулся к моим раздвинутым ногам, чтобы рассмотреть это поближе.

Вместо того чтобы окрасить свои ступни и ладони хной, как обычно делали женщины, я взяла один из рисунков Гостахама и расписала свои бедра там, где плоть мягче и пышнее. Узор состоял из остроконечных лепестков наподобие тех, что окружают центр ковра. Между ними я нарисовала россыпи крохотных роз, лилий и нарциссов.

Ферейдун потащил меня ближе к светильнику, чтобы лучше рассмотреть, и не смог сдержать пальцы и язык на моих бедрах. Мне вспомнилась шутка Гостахама об учителе языка, и это был миг, когда я поняла, что женщина в той истории нашла бесценный алмаз в муже номер три. Теперь, когда губы Ферейдуна отыскивали новое место, а его руки были, казалось, повсюду на моем теле, я задышала тяжелее и чаще. Но он слишком рано оставил то, что делал, развел мои ноги и вжался своими бедрами в мои. «Подожди!..» — хотела крикнуть я. Взглянув в его затуманенные глаза, я почувствовала, что он совершенно забыл обо мне и потерялся в собственном экстазе.

Я снова дышала, как обычно, несмотря на то что он хрипел все чаще. Не знаю, что дало мне храбрость сделать так, но, как только его бедра отдалились от моих, я сомкнула колени, быстро извернулась и откатилась в сторону.

— А-аа!.. — разочарованно выдохнул он.

Выкрикивая проклятья, мольбы и мое имя, он пополз за мной, а я отказывалась вернуться. Я заставила его преследовать меня по всей комнате, а затем, когда он уже прямо-таки дышал мне в ухо, кинулась на разостланный мной шелковый коврик. Он ухватил меня за бедра, словно все еще был господином, но я чувствовала, что он ждет от меня

еще чего-то. Повернувшись, я очень нежно уложила его на шелк, и он лежал, глядя на меня, ожидая, когда попрошу я. Я обхватила его коленями и начала гладить его тело своим. Наконец он встретил руками мои груди, и я застонала, когда страсть вернулась в мое тело. Впервые за все это время я принялась ласкать его чудесные волосы, ниспадавшие мерцающими волнами. Их мягкость под моими пальцами, гладкий шелк под коленями, жесткие волосы на его груди разожгли пламя в моем чреве, какого я никогда прежде не знала. На этот раз я впустила Ферейдуна в себя, стиснув его бедра своими, раскачиваясь вперед и назад, поначалу медленно, а затем все быстрее и быстрее, пока мы не стали единой, чем основа и уток. Ферейдун следовал за моим ритмом, встречая меня так, как я часто встречала его. Мир, казавшийся таким прочным, плыл вокруг, теряя вещественность. Я кричала и даже, кажется, рычала, и Ферейдун рычал со мной, и я чувствовала, что еще миг — и распадусь, как мотылек в пламени, когда не остается ничего, кроме завитка дыма.

Наши вопли встревожили слуг, они стучали в двери, спрашивая Ферейдуна, здоров ли он, а он рывкнул, чтобы они убирались. Мы совсем не говорили, а просто лежали, задыхаясь, на шелковом ковре. Когда его дыхание унялось, Ферейдун не смог оторвать своих рук от моего тела. Он снова принялся ласкать меня, а я потянулась вниз и коснулась его чресел. Там словно был вколочен столб, несмотря на то что мы только что завершили. И мы опять, как звери, накинута друг на друга. Вспомнив о лисьем хвосте, я дотянулась до своего шарфа, завязала им глаза Ферейдуну и дразнила его языком, пока он не начал вскрикивать в экстазе, как никогда ранее. Так мы провели весь остаток ночи.

Утром я проснулась оттого, что лицо Ферейдуна было над моим и глаза его были открыты. Хотя у него было много дел, он явно не хотел уходить. Даже после того, как он вымылся и оделся, он не смог удержаться, чтобы не раздвинуть мои ноги и не посмотреть снова на узор, нарисованный мной, и не погрузить в него пальцы.

Что до меня, то я не могла поверить, что научилась делать такое. Наконец я поняла, что за припадок описывала Голи! Теперь я тоже могла усмехаться понимающе, когда женщины шутили об отношениях с мужчинами, потому что мое тело наконец изловило эту радость.

Вскоре после моего возвращения домой в то же утро Гостахам получил письмо от Ферейдуна, возобновлявшего мой сигэ на следующие три месяца. Должно быть, он написал его сразу после того, как мы попрощались. Ликуя, мы отослали ему наше согласие. Гордийе поздравила меня, удивленная тем, что я справилась.

— Я уж подумала, он тебя оставит, — сказала она.

Гостахам передал мне кошелек с монетами от казначея Ферейдуна, забрав свою долю за наше содержание. Матушка обхватила мое лицо ладонями и сказала, что я словно луна. Я сияла торжеством. В отличие от Гордийе, матушки и всех прочих женщин, я знала, что должна отстаивать себя после замужества или рискую потерять своего мужа. Я сумела победить за оставшиеся мне считанные часы и поклялась никогда больше не повторять такой ошибки. Тут же я принялась обдумывать, что сделаю в следующий раз, когда Ферейдун призовет меня на свое ложе.

Тем вечером в двери Гостахама постучала вестница от Нахид, чтобы передать мне приглашение на кофе. Хотя мои глаза саднило от усталости и я жаждала отдохнуть, мне пришлось идти с нею, чтобы не быть невежливой. Нахид несколько раз присылала за мной до этого, но я возвращала приглашение с извинениями, потому что была слишком поглощена моими собственными заботами.

Я уже знала, что Нахид собирается мне сказать. Недавно она, скорее всего, встретила в хаммаме с матерью и сестрой Искандара и обменялась с ними любезностями во время купания. К концу дня его матушка была достаточно очарована, чтобы открыть, что ищет достойную пару для своего сына. Так как Искандар был уже влюблен, я подозревала, что подарок от его семьи явился быстро и что семья Нахид его уже приняла. Девушки вроде Нахид обречены выходить за богатых; но ее судьба даже лучше, потому что она выйдет за того, кого выбрала сама.

Я напевала про себя, шагая через квартал Четырех Садов. Розовые кусты цвели в саду над рекой, и я остановилась полюбоваться ими. Крохотные желтые бутоны с нежными лепестками теснились возле уже буйно развернувшихся пышных красных цветов. Песня, которую я любила напевать с отцом, зазвучала во мне:

Посажу у ног ее розы,
Потому что пьян я, пьян я, пьян от любви...

Если девушка вроде Нахид может получить то, что хочет, возможно, получится и у девушки вроде меня. Я завоевала Ферейдуна как любовника; если вести себя поумнее, уловлю его и в постоянные мужа.

Когда я добралась до Нахид, мы приветствовали друг друга поцелуями в обе щеки. Птицы ее матушки весело щебетали в клетках, а я разглядывала Нахид в поисках признаков хороших вестей. Но как только слуги вышли, лицо Нахид искривилось от горя и она с рыданиями осела на подушки.

Я была потрясена.

— Нахид, милая, жизнь моя! Что случилось?

Она подняла голову, всего на миг, ее прекрасные зеленые глаза кипели слезами.

— Они сказали «нет», — задыхаясь от плача, сказала она.

— Кто? Родители Искандара?

— Нет-нет. Мои родители!

— Почему?

Нахид уселась прямее и постаралась отдышаться.

— Они нашли письма, — сказала она, придя наконец в себя. — Их было слишком много, чтобы я могла хранить их в поясе. Я спрятала их под тюфяком, но, должно быть, вела себя неосторожно. Матушкина служанка выдала меня. Уверена, теперь она будет богатой женщиной.

— Мой бедный зверек! — воскликнула я. — Они когда-нибудь думали об Искандаре как о муже для тебя?

— Нет.

— Почему?

— Он слишком беден! — воскликнула Нахид, рыдая еще горше.

Я наклонилась и обняла ее, а она прижалась ко мне и плакала на моем плече. Когда она утихла на миг, то взглянула на меня с такой мукой в глазах, что и мое сердце отяжелело от горя.

— Я же люблю его! — вырвалось у нее. — Я всегда буду его любить! Что бы ни случилось, мы с ним будем близки, как облако и живительный дождь!

Я вздохнула, хотя не была удивлена, что ее родители отказали бедному.

— А от Искандара были вести?

— Он передал мне письмо через Кобру, но нам придется быть крайне осторожными, потому что родители теперь за мной следят. Они сказали, что я опозорила семью тайной связью и что люди будут говорить. Они велели старшим слугам обыскивать других, когда те выходят со двора.

— Что он тебе написал?

— Что даже если я стану дряхлой и больной, если даже поседею и захромаю, он все равно будет любить меня.

— Мне так жаль, — сказала я. — Я знаю, как ты его любишь.

Нахид цокнула языком.

— Тебе откуда знать? Ты-то никогда не была влюблена, — почти сердито ответила она.

Я признала, что это правда, хотя сейчас, когда я целую ночь наслаждалась вновь проснувшимися желаниями с Ферейдуном, и мои чувства стали меняться. Интересно, могут ли они означать любовь.

— Нахид-джоон, — ответила я, — по дороге сюда я была совершенно уверена: ты расскажешь мне, что помолвлена с Искандаром и вот-вот достигнешь величайшего желания своего сердца. Настолько уверена, что даже пела от радости.

— И я так думала, — вздохнула она.

Минуту я размышляла.

— А если Искандар разбогатеет? Могут тогда твои родители изменить свое решение?

— Нет, — мрачно сказала она.

И когда я уже думала, что ее слезы начали высыхать, она согнулась и завывала, как зверь в капкане. Я не слышала таких звуков с той поры, когда умер мой отец, и они разрывали мне сердце.

Я старалась успокоить ее.

— Нахид, жизнь моя, не теряй надежду. Будем молиться Аллаху и надеяться, что у него для тебя и Искандара запасена хорошая судьба.

— Ты не понимаешь, — ответила Нахид, снова начиная глухо, сдавленно рыдать.

Служанка, принеся кофе, постучала в двери. Я вскочила и забрала у нее поднос, чтобы она не вошла и не увидела залитое

слезами лицо Нахид.

— Да ладно, — сказала она, — они все уже знают о моей помолвке.

Я растерялась:

— Что ты говоришь?

Слезы Нахид заструились еще быстрее, словно обильный весенний дождь.

— Если бы я просто отказала Искандару, мои родители, может, ничего бы не сделали, но я зарыдала и сказала, что никогда его не забуду. Поэтому они подписали брачный контракт для меня с другим мужчиной. Я должна выйти замуж, как только настанет полнолуние.

Эта новость была еще более жестокой, чем предыдущая. Как могли родители Нахид, любившие и баловавшие свою девочку всю ее жизнь, бросить ее мужчине, когда она еще оплакивает свою первую любовь? Я испытывала к ней огромную жалость. Снова обняв Нахид, я прижалась щекой к ее щеке.

— И за кого тебя выдают? — спросила я, надеясь, что хороший выбор может сделать ее счастливой.

— Моя матушка послала за Хомой, которая сказала, что как раз знает подходящего мужчину, — горько ответила Нахид. — Конечно, я его никогда не видела.

— А что-нибудь ты знаешь о нем?

Родители ее могли выбирать из тысяч, потому что у Нахид было поровну денег и красоты. Наверное, в этом он будет ей ровней и откроет ей ночные удовольствия, которыми я теперь научилась наслаждаться.

Она пожала плечами:

— Он наездник, и мои родители полагают, что это будет хорошей заменой Искандару.

Волоски на моей коже вдруг стали дыбом, словно по комнате пронесся сквозняк.

— А что еще? — спросила я.

— Только что он сын богатого коннозаводчика, живущего на севере.

Я уставилась на Нахид. Я знала, что нужно что-нибудь сказать, но губы не могли складывать слова. Вместо этого я закашлялась и стала задыхаться. Перегнувшись в пояс, я пыталась глотнуть воздуха.

— Ой! — вскрикнула Нахид. — Ты здорова?

Казалось, приступ никогда не кончится. Я кашляла, пока не полились слезы, и тогда я осталась безмолвной.

— Ты выглядишь несчастной, — сказала Нахид, когда я стала утирать глаза.

— Знала бы ты насколько, — отвечала я.

Пришлось заставить себя молчать, потому что несколько раз я уже поторопилась. Могут ли быть сотни богатых конеторговцев? Или хотя бы несколько дюжин? А сколько из них могут иметь сыновей? Наверняка это другой человек. Родители тебе наверняка сказали больше, — подбодрила ее я.

Нахид помедлила.

— Он потерял первую жену, это уже точно все, что я знаю, — призналась она.

Я ощутила такой холод внутри, что обхватила себя руками, чтобы побороть его.

— А как его зовут? — спросила я отрывисто — горло сдавило.

— Не понимаю, зачем тебе это нужно, — ответила Нахид, — если мне все равно. — Она вздохнула. — Да будь он хоть сам шах Аббас.

— Но кто же он? — настаивала я, чувствуя, что сейчас взорвусь.

Нахид удивила моя настойчивость.

— Я не могу выговорить его имя — мне ненавистен сам его звук, — ответила она. — Но если ты должна его знать — пожалуйста: Ферейдун.

Второй приступ кашля был таким, словно я выкашливала свои внутренности. Конечно, я могла рассказать ей все о ее будущем муже: как выглядят его волосы, когда освобождаются от тюрбана, как он томительно закрывает глаза при звуках кяманчи, как он пахнет, когда возбужден. Теперь я даже знала, как доставить ему наслаждение, но только ей суждено было стать его законной женой на остаток дней. Кипящий поток ревности прокатился по мне. При мысли, что он может предпочесть ее мне, я начала так брызгать слюной, что удивительно, как она не заподозрила неладное.

Нахид очень тронуло мое состояние.

— Моя лучшая подруга, прости, что моя беда так глубоко растревожила тебя. Не позволяй моему невезению замутить твою кровь.

Я быстро соображала, как объясниться.

— Мне просто хочется, чтобы ты была счастливой, — сказала я. — Рассказанное тобой надрывает мне сердце.

Слезы показались в ее глазах, и мои тоже заволокло дымкой. Но если слезы Нахид были смешаны с благодарностью за дружбу, мои таили скрытую вину.

Последний призыв на молитву задрожал в воздухе, возвещая, что мне пора идти. Я оставила Нахид с ее горем и медленно пошла домой со своим. Одна на улице, я наконец могла перестать притворяться, почему горюю. Ничего странного, что Ферейдун пренебрегал мной столько недель; должно быть, он усиленно обсуждал с родителями Нахид брачный контракт и подробности свадьбы.

А как же наша ночь наслаждений? Он позволил мне благодарить его, пока не пропели петухи, принимая все мои дары, словно они его по праву. Моя кровь бурлила, я шла все быстрее и быстрее через квартал Четырех Садов, пока не налетела на сгорбленную пожилую женщину с палкой и должна была извиниться, что потревожила ее.

Я слышала, как в кустах вопила кошка, наверное, в ожидании самца, почти как я. Я никогда не желала ничего, кроме замужества за добрым человеком. Почему я должна оставаться девкой для удовольствия, а Нахид, у которой и так есть все, будет постоянной женой? Почему из всех жителей Исфахана ее мужем должен стать Ферейдун?

Когда я добралась домой, кухарка услышала мои шаги и позвала меня в кухню.

— Ты что-то поздно, — упрекнула она. — Помоги нам чистить укроп.

— Оставь меня в покое! — огрызнулась я.

Кухарка так удивилась, что уронила нож.

— И ты управляешься с такой ослицей? — спросила она мою матушку.

Я не обратила на нее внимания и пронеслась через внутренний дворик к нашей комнатке. Как мог Ферейдун подписать брачный контракт, ничего мне не сказав? Он не знал, что Нахид моя подруга, но сокрытие такого важного шага показало, сколько я на самом деле значу в его глазах.

Когда на следующий день Ферейдун вызвал меня, я пришла в его дом, но не разрешила Хайеде и Азиз мыть меня, умащать благовониями или расчесывать мне волосы. Теперь, когда мое положение восстановилось, они снова побаивались меня. Они упрашивали и умоляли меня, пока я не накричала на них и они не ушли, перепуганные. Я сидела в маленькой комнате, где мы раньше дурачились, и ждала Ферейдуна, не сменив уличной одежды. Я была так разгневана, что чувствовала, как накаляется вокруг меня воздух; щеки мои пылали.

Когда Ферейдун появился, он заметил мое необычное одеяние, но не сказал ничего. Сбросив тюрбан и туфли, он отослал прислугу. Потом уселся рядом и взял мою руку.

— Послушай, джоонам... — начал он, словно хотел что-то объяснить.

Это было впервые — он сказал «душа моя».

Я не дала ему продолжить.

— Ты меня больше не хочешь, — сказала я.

— С чего это мне тебя не хотеть? Особенно после той ночи.

Он улыбнулся и попробовал развести мои колени. Я крепко сжала их.

— Но ты женишься.

— Я должен, — сказал он. — Не волнуйся: больше ничего не изменится.

Его ответ прояснил только одно.

— Так ты собираешься жить с нами обеими?

— Конечно.

— Ты не представляешь, какие сложности это вызовет.

— Почему?

— Нахид — моя лучшая подруга.

Он выглядел воистину потрясенным.

— Из всех женщин Исфахана...

— И она не знает, что у нас с тобой сигэ.

— Отчего?

— Моя семья хотела сохранить это в секрете.

Ферейдун пожал плечами. Твоя семья волнуется о своем общественном положении, — сказал он, — но люди такое делают сплошь и рядом.

— А на твоём положении это не отражается?

— Мужчина может жениться так, как ему нравится, — ответил он.

Я поглядела на его дорогой халат синего бархата, расшитый золотыми соколами, и в этот миг он, казалось, владел всем, а у меня не было ничего.

— Какое значение имеет то, что думают люди? — сказал он. — Жены, которые любят друг друга, могут помогать друг другу с детьми и другими женскими делами.

— Я даже не буду твоей настоящей женой!

— Это тоже ничего не значит.

Я промолчала. Для меня это очень много значило. Замужество за богатым мужчиной вроде Ферейдуна сняло бы все мои трудности. Я ждала, надеясь, что он попросит меня выйти замуж, но он не сделал этого.

Ферейдун обнял меня, но я не отозвалась.

— Этого хочет мой отец, — сказал он, согревая мое ухо своим дыханием. — Ему всегда хотелось союза с известной исфаханской семьей. Возможно, это помогло бы его назначению губернатором провинции.

Я не ответила. Он никогда не сделал бы предложения семье Нахид, если бы их дочь не была такой ослепительной.

— Она красавица, — обозленно сказала я.

— Я слышал про это, — ответил он. — Через день-два я встречусь с ней и увижу сам.

Ферейдун принялся оглаживать мои щеки своими мягкими ладонями.

— Я ничего о ней не знаю. Но с того момента, как мы встретились и ты приказала мне не смотреть на тебя, ты мне нравишься. Многие женщины притворились бы вежливыми и ускользнули, а ты показала мне свой острый язычок. Я восхищаюсь твоими черными волосами и смуглой кожей, словно двумя сортами темного бархата. Я думал, ты слишком юна, чтобы быть одной из дочерей Гостахама, и, когда мальчишка вернулся, я заплатил ему за рассказ о тебе. Когда я нанял Гостахама сделать мне ковер, я попросил вплести туда талисманы, потому что хотел, чтобы узоры коснулись твои пальцы. Увидев ковер на станке, сверкающий драгоценными камнями, я решил — ты будешь моей.

Впервые мое сердце дрогнуло от его слов.

— Я никогда не знала, почему ты меня захотел, — сказала я.

Ферейдун вздохнул:

— Моя жизнь полна людей, распевающих мне хвалу в надежде на монету покрупнее. Даже моя первая жена, прежде чем умереть, обычно ублажала меня, чтобы получить то, чего хотела. А ты такого не делаешь, и мне это нравится.

Я удивилась, потому что я-то делала все, чтобы усладить его своим телом. Однако я и вправду удерживала мед на языке.

Ферейдун провел руками по лицу, словно стирая дневную пыль.

— Я не могу уже ничего изменить, — сказал он. — Отец хочет, чтобы я женился на женщине со связями, и я женюсь. Но это не значит, что я тебя не хочу — вот так, — и очень часто...

Ферейдун притянул меня к себе, прижался грудью к моей спине и стал гладить меня, хотя я была укутана одеждой. Я не хотела позволить ему любить себя, но его прикосновение разжало мои колени, особенно когда я знала, что делать. Я позволила ему снять мою уличную одежду: он будто срывал слои с луковицы.

— После прошлой ночи, — говорил он, — я весь день думал о том новом чуде, которое ты можешь приготовить мне сегодня.

— Я ничего не приготовила, — отвечала я железным голосом.

— А, ладно, — согласился он. — Ты была опечалена. Ничего странного.

Он принялся ласкать мои ноги, а я отводила его руки, но он не возражал. Сейчас я видела, что он наслаждается новизной ощущения — застать меня неготовой, невыкупанной, в уличной одежде, сопротивляющейся его прикосновениям. Я снова оттолкнула его, но уже не желая этого; он тут же увидел, что это игра, и принялся ухаживать за мной, словно это он был куртизанкой, а я — тем, кого надо усладить. Он гладил мое тело до тех пор, пока я не перестала отбиваться от него. Тогда он позволил мне взять его любым способом, каким захочу я. Он в изумлении наблюдал, как я восхожу на его вершину, да не единожды, а трижды. Наслаждение было в перемене, в игре, когда он отдавался моему наслаждению. Я брала и брала его в эту ночь, пока не насытилась так, как еще не бывало.

Прежде чем уснуть, я думала о матушкиной сказке, рассказанной мне несколько дней назад, о рабыне Фетнех и о том, как она узнала и

покорила своего шаха. Он не оценил ее, пока не решил, что потерял навеки. Я размышляла, могу ли сама, если найду умный подход, заставить Ферейдуна объявить меня драгоценнейшей из привязанностей своего сердца.

Сначала не было, а потом стало. Прежде Бога не было никого.

Жил-был в Иране шах по имени Бахрам, известный повсюду своей храбростью. Однажды он убил дракона-людоеда и вырезал из его брюха ребенка, а из пасти льва он вырвал свою золотую корону. Но во время досуга его любимым развлечением была шота.

Была у Бахрама рабыня по имени Фетнех, сопровождавшая его во всех вылазках. Фетнех была стройной и сильной, могла скакать на коне так же быстро, как ее господин. Вместе они мчались по многу верст, преследуя диких ослов и другую дичь. Вечерами Фетнех пиновала за его столом, и он радовался ей более, чем кому-либо. Даже сестры его, чьи руки сверкали золотыми браслетами, не сияли в его глазах подобно Фетнех, чьи нагие руки были белее жемчуга.

Как-то они охотились далеко в пустыне, и добыча их была скудной. Свита шаха рассыпалась далеко по сторонам, чтобы гнать к нему дичь. Бахрам и Фетнех ехали вдвоем, беседуя, когда шах заметил дикого осла. Издав клич, он прищипорил коня, помчался за зверем и выстрелил из лука ему в сердце. Колени осла подогнулись, он грохнулся оземь и испустил дух перед шахом. Бахрам заметил, что Фетнех смотрит, но не хвалит его.

«Разве ты не увидела, как отлично я выстрелил? — спросил он. — Вон появился другой зверь. Как мне его убить?»

Фетнех улыбнулась, ибо знала, как шах любит всякие состязания. «Могу придумать отличный способ свалить его, — сказала она. — А если прибить его ногу стрелой к морде?»

Подумал Бахрам и понял, как это сделать. Вложил свинцовый шар в пращу и метнул его в ухо ослу. Раненый, тот вскинул ногу к голове. Шах тут же сдернул с плеча лук и одной стрелой приколол его ногу к морде. Довольный собой, он повернулся к Фетнех, ожидая похвалы.

Она же спокойно заметила: «Вы стали отлично охотиться, господин. Тот, кто совершенствуется в своем искусстве, однажды

им овладевает».

Шах был окружен суетившимися придворными, начинавшими лебезить вокруг, едва он делал вдох. Как рабыня могла быть такой дерзкой? Понимая, что будет неверно ударить ее, он сдержал руку. Скрытно подозвал к себе старого седого воина и отдал приказ. «Эта женщина возмущает покой шаха, — сказал он. — Уничтожь ее, пока я не сделал это сам».

Воин подхватил Фетнех на седло и поскакал в далекий город, где у него был дворец с высокой башней. Пока они скакали, на сердце у него становилось все тяжелее при мысли о том деле, что ему предстояло. Он убил в сражениях множество мужчин, однако не мог вынести того, что ему предстоит убить безоружную рабыню.

Когда они прибыли, он отвел Фетнех по лестнице в шестьдесят ступеней на самый верх башни, где собирался выполнить повеление шаха. Но прежде чем он успел обнажить клинок, она остановила его такими словами. «Не забывай, что я любимое достояние шаха, — сказала она. — Останови руку свою на несколько дней, но шаху скажи, что исполнил его приказ. Если он будет доволен, ты успеешь взять мою жизнь. Если нет, однажды ты удостоишься его благодарности».

Добрый воин минуту поразмыслил. Он всегда был верен, однако в этот раз повеление казалось ему несправедливым. И что он терял, выжидая? Если сердце шаха ожесточилось, ему стоило только вернуться и выполнить приказ. Если нет, он защитит своего повелителя от собственной ошибки.

Он оставил Фетнех в башне и вернулся во дворец Бахрома. Когда лев из львов принял его, он доложил, что предал девушку земле. Глаза шаха наполнились горькими слезами, и он отвернулся, чтобы скрыть горе. Воин возвратился в башню и рассказал Фетнех эту новость. Она возрадовалась, но торопиться не стала, хорошо зная шаха, и дала времени сделать свое дело.

Фетнех проводила свои дни в усадьбе воина, подружившись с теленком, который стал ее главным спутником. Так как теленок не мог карабкаться по шестидесяти ступенькам в башню, она вносила его туда на плечах, чтобы он пощипал зеленую траву, разросшуюся на крыше. Каждое утро она заносила его туда, и каждый вечер она спускала его обратно в хлев, шепча про себя: «Да окажусь я достойна

такого испытания!» Шесть лет спустя маленький теленок вырос в полновесного быка, а мышцы Фетнех стали мощными, как у борца.

Однажды Фетнех вынула из ушей серьги с рубинами и дала их воину. «Возьми эти камни, продай их и купи припасов для роскошного пира, — велела она. — Нам понадобятся благовония, рис, ягнятина, сласти и вино. Привези все это сюда, а затем пригласи шаха отобедать у тебя после охоты».

Воин, привязавшийся к своей пленнице, отказался от ее драгоценностей. Он сам купил все то, что она попросила. Когда он снова увидел шаха, то испросил чести принять его у себя. «Для вашего низжайшего слуги это будет величайшей честью, — сказал он, — если вы отобедаете и выпьете вина в моей башне».

Услышав такую утонченную речь, Бахрам исполнил его просьбу. Шах отправился на охоту, а старый воин вернулся домой и помог Фетнех подготовиться к великому празднеству. Вдвоем они раскатали на крыше ковры тончайшей работы и разложили подушки для отдыха. Затем Фетнех приготовила прекрасную еду, напевая, когда сдабривала подливу обожжаемого шахом ягненка с финиками щепоткой мускуса, зовущего любовь.

К вечеру прибыл Бахрам со своими людьми, и воин ел и пил с ними, пока они не смогли больше проглотить ни крошки. Когда они раскурили свои кальяны, шах сказал: «Отличный тут у тебя дворец, мой друг, и сад прекрасный. Но шестьдесят ступеней — это длинный путь, мне кажется, для человека твоих лет. Наверное, по ступени на год?»

Воин признался, что ему и в самом деле шестьдесят. «Для человека, привыкшего к жизни солдата, ступеньки не испытание, — добавил он тут же. — Я вот знаю женищину, способную подняться по этим ступенькам с весом, равным быку, на плечах. Не думаю, что в империи найдется мужчина, способный на такое».

«Да как может женищина поднять такого зверя? — не поверил шах. — Доставь ее сюда, чтобы мы все могли увидеть такой подвиг».

Воин спустился отыскать Фетнех, надеясь, что по окончании вечерней трапезы их жизни останутся при них. Он слегка дрожал, пока искал ее. Но когда он приподнял занавеску над входом в ее покои, вся его тревога ушла. На ней были одежды из белого китайского шелка, пропитанного благовониями. Белая вуаль скрывала все, кроме

глаз, а шарф, расшитый жемчугом, окутывал голову. Ее миндалевидные глаза были подведены сурьмой. Она была готова к битве.

Фетнех взвалила тяжелого быка на плечи и одну за другой одолела ступени. Когда она достигла вершины, то приветствовала Бахрама и опустила быка к его ногам. «О царь царей, — сказала она, — прими этого быка в дар от меня, ибо я смогла преподнести его тебе лишь благодаря моему искусству».

Шах выглядел пораженным, но ответ его был полон рассудительности. «То, что ты зовешь искусством, — сказал он, — есть лишь упражнение. Ты поднимала этого быка столько раз, что теперь это кажется нетрудным».

Фетнех улыбнулась. «Господин, вы правы, — сказала она. — Этого быка я поднимала каждый день шесть долгих лет. Но неужто подстреливший онагра должен быть прославлен за его искусство, а поднявший быка известен лишь усердием?»

Теперь шах остался безмолвен. Он смотрел то на Фетнех, то на воина и опять на нее, словно увидал призрак. Потом вскочил на ноги и отдернул вуаль Фетнех. Когда он увидел ее лик, подобный луне, то вскрикнул от радости. Слезы покатились по его лицу, сравнимые лишь с теми, что лились из ее глаз. Несколько мгновений они были подобны двум духам потоков, говорящим сквозь влагу.

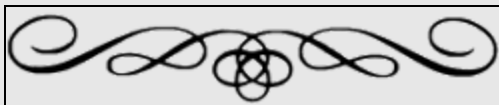
Шах отослал всех из башины, включая и воина. Затем усадил Фетнех рядом с собой на ковер и сказал: «Смиренно прошу твоего прощения. В минуту слабости я возжаждал твоей лести, но теперь я вижу, что твоя мудрость куда более великий дар».

«Мой дорогой шах, — отвечала она, — печаль, которую я испытывала, оставшись без тебя, так огромна, что она могла бы раздавить целый город. Так любить — и едва не потерять навсегда».

Шах попросил руки Фетнех. «Воистину, ты желанное испытание!» — поддразнил он, ибо ее имя и означало «испытание».

На следующий же день они устроили роскошную свадьбу, а добрый воин был вознагражден тысячью жемчужин за ту единственную, что укрыл. Но это было лишь начало. Фетнех, воистину по имени своему, продолжала испытывать шаха все оставшиеся им дни.

ГЛАВА ПЯТАЯ



Когда я на следующее утро шла домой от Ферейдунa, то все время ощущала судорогу в животе, сопровождавшуюся сильной болью. Неужели я беременна? Одной рукой я придерживала чадор, а другую прижимала к животу, словно нащупывая дитя. Это стало бы той нитью, что навек привяжет меня к Ферейдуну. Иначе зачем бы ему продолжать хотеть меня, когда он скоро женится на зеленоглазой красавице?

Желая побыстрее добраться домой и осмотреть себя, я спешила через старую площадь возле дома Ферейдунa и вглубь базара, прилегавшего к ней, словно спина к позвоночнику. Я пробежала за скопище древних лавок с кучами сверкавших браслетов на прилавках, вокруг которых, словно голодные вороны, толпились богатые женщины. Не задержал даже аромат утреннего супа из бараньих потрохов, хотя каждый торговец окликал меня, клянясь, что его «ножки и мозги» самые вкусные.

Когда я пришла, задохнувшись от усталости, то поздоровалась с матушкой, прежде чем бежать в отхожее место. Закатав рубаху и спустив шаровары, я все поняла. Хотя было слишком темно, я нащупала скользкую кровь, которая вскоре побежала ручьем. Вложив между ног сверток плотной ткани и вернувшись в нашу с мамой комнату, ничего не сказав, я вытянулась на постели и закрыла глаза.

Мать взяла мои руки в свои и проговорила:

— Свет моих очей, что тебя мучает? Не в силах открыть ей рассказанное Нахид, я решила поведать лишь о своем открытии.

— Я не беременна, — сказала я. — Даже после всего этого.

Мать начала гладить мои руки.

— Азизам, прошло всего три лунных месяца. Ты должна быть терпеливой.

— Терпеливой? — сказала я. — Голи забеременела в первый месяц замужества. Почему у меня так долго?

Матушка вздохнула.

— Много времени прошло, прежде чем Аллах послал мне тебя, — ответила она.

Это меня не утешило. Я не думала, что ее трудности с зачатием станут и моими.

— А если я бесплодна? — спросила я. Слова с трудом отделялись друг от друга, так ужасна была сама эта мысль.

— Ты молода, у тебя впереди столько времени, — вздохнула мать. — Если еще много месяцев ты будешь без ребенка, я найду особенное заклинание, чтобы помочь тебе. Да поможет тебе Аллах зачать побыстрее!

Интересно, понимала ли мать, какая разница между моим положением и тем, в котором были они с отцом.

— Биби, у меня нет пятнадцати лет на ожидание, как у тебя, — отвечала я.

Матушка отвела глаза, словно не хотела, чтобы ей напоминали, что мой брак может закончиться в любой момент. Затем снова похлопала меня по руке и решительно сказала:

— Мы сможем вместе совершить назр и зарезать барана для бедных, когда твое желание исполнится.

Я отвернулась. Матушка выглядела изумленной тем, что я не считала назр достаточной мерой.

— Что-то случилось? — спросила она. — Он сказал, что больше тебя не хочет?

— Нет, — отвечала я, но мои губы дрожали так, что она увидела: есть еще недосказанное.

Я глотнула воздуха.

— Он берет другую, — добавила я. — Постоянную. Так вот почему ты в таком смятении! — поняла мать. — Но это может ничего не значить по отношению к твоему браку.

— Если бы забеременела, то волновалась бы меньше.

— Да, конечно, — согласилась матушка. — Когда он тебе это сказал?

— Мне сказала Нахид.

— Нахид? — Она отшатнулась, потрясенная.

Вместо ответа на ее немой вопрос я лежала и молчала. Горло перехватило, и лицо свело так, что оно будто стало с мяч для поло.

— А-ай, Хода! — проговорила матушка, едва поняв.

Она поглядела на меня, надеясь, что я опровергну, однако мне нечего было сказать.

Матушка принялась молиться:

— Господин вселенной, помяни нас в твоей бесконечной милости. Благословенный Мухаммед, услышь наши молитвы. Али, князь меж людьми, даруй нам твою стойкость и силу...

— Биби, я этого не вынесу, — сказала я. — Теперь по крайней мере один из них возненавидит меня.

— А ты сказала Нахид? — обеспокоенно спросила матушка.

— Нет.

— Хвала Господу, — отвечала она. — Ты права — мы должны быстро что-то сделать. А пока ты должна успокоиться. Утром будет много всякой работы, и нам надо быть свежими.

Она укрыла меня одеялами и подоткнула подушку. Потом собрала мои волосы назад и принялась их тихо расчесывать, рассказывая мне о проделках хитрой мыши и большого глупого кота, хотевшего ее съесть. Убаюкивающие слова вместе с движениями гребня, массирующего кожу головы, быстро погрузили меня в глубокий сон.

Хорошо, что следующий день был четверг, потому что после полудня мы были совершенно свободны. Подождали во дворе, пока Шамси уйдет из кухни в кладовые. Матушка ходила следом, говоря ей сладкие слова, так что она позволила матушке наполнить карманы орехами в скорлупе и пригоршней изюма. Взамен матушка пообещала ей бутылку своего лучшего черного снадобья для больного горла.

— Какое ужасное хозяйство... — проворчала матушка.

Мы накинули чадоры и пичехи и рука об руку отправились к кварталу Сейед Ахмадиюн посетить мечеть со знаменитым медным минаретом. По дороге мы повстречали молодую мать, ведущую своих четверых детей домой. Похоже было, что родила она их одного за другим — так близки они были по возрасту. Я задумалась: пошла бы плодовитая женщина вроде нее по такому делу, как мое?..

Уже издали мы разглядели медный минарет, ослепительно пылавший в предзакатном солнце. Этот маяк вел нас через незнакомые кварталы, пока мы не добрались до входа в мечеть. В женской

половине мы молились вместе, касаясь лбами глиняных кругов. Когда я закончила, горе мое стало чуть полегче.

Минарет был обшит сверкающими листами меди, на которых выбили священные слова. Внутри было тесно, темно и прохладно, а каменные ступени были отполированы подошвами. Я вступила на первую ступень, а матушка протянула мне маленькую плоскую дощечку и орех.

— Расколи его, — сказала она.

Я положила орех перед собой на ступень, пристроила сверху дощечку и уселась на нее. Орех лопнул с утешительным треском, и я улыбнулась первому успеху. Раздавленный плод перекачивал в мой карман.

— Хвала Господу, — сказала матушка, подавая мне следующий орех.

Я поднялась ступенькой выше и снова раздавила орех, каждый раз молясь, чтобы чрево мое растворилось, приняло семя и отдало свое нежное ядро из плоти.

Выше и выше восходила я на башню, а матушка шла за мной и подбадривала меня в продвижении. Другие женщины начали свое восхождение под нами. На полпути к верху я слышала рыдание. Я схватилась за матушку, и мы вслушивались, пока не поняли. Орехи у женщины оказались слишком твердыми — знак, что она останется навечно бесплодной. Я пожалела ее.

Мы продолжали подниматься. Когда я садилась на дощечку и раздавливала очередной орех, я вспоминала Голи и думала, забеременела ли она снова. Я воображала, как привезу в нашу деревню своего младенца и гордо покажу ей. Что они подумают, когда узнают, что в жилах моего ребенка течет кровь богатого человека!

Матушка подергала меня за чадор:

— Азизам, тут за нами женщины тоже хотят взойти наверх. Шагай.

Я ступала по лестнице. Орехи трескались один за другим, словно жаждали открыться при моем касании. Достигнув верха, мы повернулись и тем же путем двинулись вниз, бормоча пожелания удачи другим женщинам, особенно той, с красными распухшими веками, которой явно было горше, чем мне. Снаружи мы выбрали скорлупу из

мякоти, и матушка подала мне пригоршню изюма, чтобы смешать с нею.

— А теперь не будь робкой, — сказала она, когда мы отправились домой.

Я глубоко вдохнула и выбрала первого мужчину — он был в возрасте моего отца, и у него были такие же лапки морщинок в уголках глаз.

— Эй, седобородый! — крикнула я, показывая ему полные пригоршни орехов и изюма. — Можно предложить тебе плоды рук моих?

Его глаза смягчились и понежнели, как я и надеялась. Он подал мне обе руки ладонями вверх.

— Благословение тебе, маленькая будущая мать! — отвечал он. — Да понесешь ты семерых здоровых сыновей, по одному каждый год!

Я улыбнулась и отсыпала ему орехов с изюмом, пожелав ему вознаграждения за его благословение. Добрые слова наполнили меня надеждой. Несомненно, то был знак Божьей милости и щедрости — встретить мужчину, который так напомнил мне отца и его пожелание семи сыновей!

Мы продолжали путь, и казалось, что каждый встречный имел для нас доброе слово.

— Да расцветешь ты, словно летняя роза! — сказал юноша верхом на муле, перегнувшись с седла, чтобы взять мое приношение.

— Будь плодоносной, как гранат! — сказал горбатый старик, которому явно не помешало бы есть получше.

Ему я отсыпала самую большую долю.

— Пусть твое чрево вырастет с мой тюрбан! — улыбнулся мужчина, чья головная повязка была такой белой и чистой, словно только что выстиранной.

Осталась лишь одна пригоршня, когда я углядела молодого человека с дружелюбным лицом, сидевшего на корточках. Его длинные руки и ноги напомнили мне Фереидуна. Я протянула ему руки и попросила принять последнюю горсть орехов. Он отвернулся от меня, разглядывая улицу, словно дожидаясь приятеля. Я попыталась снова.

— Пожалуйста, добрый господин, отведайте моего приношения, — попросила я.

Теперь он взглянул на меня холодными глазами.

— Да не хочу я, — сказал он. — Почему сама не съешь?

Я отпрянула. Это была намеренная жестокость. Матушка схватила меня за руку и потащила прочь, твердя: «Позор! Позор!» Мужчина не обратил на это внимания, он больше не взглянул в нашу сторону. Когда матушка тащила меня за собой, орехи высыпались из моего кармана и смешались с пылью, и пара голубей слетела поклевать их.

Матушка пыталась смягчить впечатление, напоминая мне, как удачливы мы были до сих пор.

— Один дурной человек не сможет отвратить волю Господа, — говорила она, но я была безутешна.

Смеркалось, когда мы вернулись домой, и я вспомнила женщину с заплаканными глазами, чьи труды обернулись ничем, и как ее горестные рыдания превращали минарет в храм скорби.

Вечером, после того как мы накрыли в Большой комнате чай со сладостями Гордийе и Гостахаму, матушка рассказала им о помолвке Нахид. Гостахам изумленно воскликнул: «Ай, Баба!..» — и спросил, уверены ли мы, что это тот самый Ферейдун. Настало долгое молчание, прерванное лишь сердитым восклицанием Гордийе:

— Почему он выбрал Нахид? Какое ужасное невезение!

Гостахам жестом пригласил нас перебраться на подушки. Мы сидели бок о бок с матушкой и смотрели, как они пьют чай. Гордийе не приказала принести чаю и нам.

— Может, нам лучше расторгнуть новый контракт, пока он только начался, — проговорила матушка.

— Не знаю, сможем ли мы, — сказал Гостахам. — Теперь он имеет полную законную силу, раз мы приняли деньги.

— Это не значит, что мы не можем попросить Ферейдуна, как человека чести, отпустить нас, — ответила матушка.

— А зачем? Ведь он прислал предложение о возобновлении, хотя знал, что будет помолвлен с Нахид, — сказал Гостахам.

— Но он не знал тогда, что мы подруги, — запротестовала я.

— Так ты ему не говорила? — спросила матушка.

— Упомянула, что у меня есть подруга, но даже не назвала ее имени. Теперь жалею.

— Не уверен, что это помогло бы, — покачал головой Гостахам. — Он имеет право жениться на ком угодно...

Гордийе тяжело вздохнула.

— Какой стыд, что он выбрал не тебя, — сказала она. — Но по крайней мере хоть обновил сигэ. Должно быть, ты ему все-таки очень нравишься.

Я передернулась от раздражения. Как многие женщины, Гордийе вышла замуж с полной уверенностью, что заключила контракт на всю жизнь. Что она могла знать о том, каково это — быть замужем всего на три месяца?

— Давай взвесим все возможности, — сказал матушке Гостахам. — Вы можете либо принять контракт, либо просить о расторжении. Наверно, лучше принять, особенно сейчас, потому что дочь твоя больше не девственница. Ты можешь пока кое-что выиграть.

— Особенно если будет ребенок, — сказала Гордийе, и я вспомнила о молодом человеке с красивым жестоким лицом, отвергшем мое последнее приношение.

— Но тогда об этом должны будут узнать все, — сказала матушка.

— Верно, — подтвердила Гордийе, — но выгоды, которые вы получите, будут таковы, что вам и это не понадобится.

— А что подумает Нахид и ее родители? — спросила я.

Гордийе отвернулась; Гостахам потупился, и долгое молчание, последовавшее за этим, воспламенило мои худшие страхи. Будь это чья-нибудь другая семья, никому и дела бы не было, ведь все заботятся о своих интересах. Но тут положение было вязким, словно сырая нефть.

— Думай лучше о себе, — сказала Гордийе. — Нахид получила все на свете, а ты ничего.

Я начала медленно закипать, как горшок на огне. Какая в том вина, что у нас до сих пор нет почти ничего? Они продали самое драгоценное, что у меня было, — мою девственность, — не собираясь вечно пожинать плоды. Мой ковер был отдан без всякой выгоды для меня. Каждый день моя матушка умирает от страха, что нам снова придется добывать себе пропитание. Конечно, мы заслужили большего!

Матушка повернулась ко мне:

— А чего желаешь ты, дочь моя? Ведь Нахид именно твоя ближайшая подруга.

Прежде чем я успела что-то сказать, вмешалась Гордийе:

— Помня о том, кто такой Ферейдун, я ничего не предпринимала бы, не обдумав это тщательно, — сказала она.

Мне показалось, что она и вправду очень осторожна и помнит, как тороплива я бываю.

— Не знаю, что и делать, — честно сказала я.

— А что бы ты посоветовала? — спросила матушка у Гордийе.

— Раз уж ты получила контракт, выполняй его условия, — ответила та. — Тогда ты сможешь закончить его без малейшего риска или пересмотреть, если он его возобновит.

— Но что, если семья Нахид узнает правду? Разве они не станут презирать нас? — спросила я.

— С чего это им узнавать, — быстро ответила Гордийе. — Ни один мужчина никогда не помянет такую связь при своих родичах по жене или девице-невесте.

Матушка обернулась ко мне:

— Ну так что?

Не соображая ничего, я принялась разглаживать ковер кончиками пальцев. Он был таким же шелковистым, как тот, что я сняла со стены у Ферейдуна, и мне вспомнилось, как скользила по нему моя спина, а тело Ферейдуна выгибалось над моим. Щеки мои вспыхнули. Теперь, когда мое чрево раскрылось навстречу ласкам Ферейдуна, мне хотелось возвращаться в те места радости как можно чаще. Хотя я любила Нахид, Гордийе была права: у нее было все, у меня — ничего, кроме нескольких месяцев с Ферейдуном.

— Сделаю, как ты скажешь, — ответила я Гордийе.

Она казалась очень довольной, наверное, потому, что все еще рассчитывала на заказ от Ферейдуна или его семьи.

— Ты мудра не по годам, — похвалила она.

Матушка, похоже, тоже была довольна, зная, что по крайней мере несколько месяцев мы сможем не беспокоиться о нашем содержании.

Нет ничего печальнее невесты, горюющей в день свадьбы. Видеть девушку, рожденную в одном из лучших семейств Исфахана, выращенную бережнее, чем лилия, и такую же прекрасную, видеть ее

с покрасневшими глазами в свадебном платье, алом с золотом, слышать, как добросердечные гости называют это следствием простуды, — это было слишком. Я была благодарна судьбе, что не являюсь членом семьи Нахид, потому что иначе мне пришлось бы участвовать в акд, свадебной церемонии, где присутствовали только родные жениха и невесты, а проводил ее мулла. Тем вечером он трижды спрашивал ее, согласна ли она выйти замуж за Ферейдун, и она отвечала: «Да». Она и Ферейдун подписали пожизненный контракт, после которого мужчина и женщина возвращаются к ожидающим их.

Матушка, я и Гордийе должны были появиться вечером на угощении для женщин, потому что здесь отказов быть не могло. Его накрыли в Большой комнате дома Нахид, освещенной нежно-зеленоватыми масляными лампами и украшенной огромными букетами цветов. Когда мы вошли, слуги подносили холодные фруктовые напитки, горячий чай и подносы со сладостями. Нахид сидела одна на диване, инкрустированном жемчугом. Гости вливались потоком, оставляя уличные одежды, чтобы поздравить ее и показать свои пышные наряды. Я надела тот чудесный лиловый халат, который подарила мне Нахид, с отделанными мехом манжетами, и оранжевое платье.

— Как тебе все это идет! — сказала она, после того как мы обменялись поцелуями.

— Нахид-джоон, ты выглядишь прекраснее, чем когда-либо, — сказала я.

И это было правдой. Волосы ее, убранные жемчугом, глаза еще зеленее, чем всегда, на фоне алого шелкового платья, расшитого золотой нитью. Она была так прекрасна, что я не могла смотреть на нее слишком долго и отвернулась.

— Не горюй так из-за меня, — прошептала она. — Я этого не перенесу.

— Все это время я верила в твое счастье! — ответила я. С Искандаром, подумалось мне, а не с Ферейдун.

— Ты единственная подлинная улада моей жизни, — сказала Нахид. — Я буду вечно благодарна тебе, что ты хранила мою тайну. — Она отвернулась, чтобы другие не увидели, как по ее щекам струятся слезы. Гости все прибывали, и мне пришлось уступить место тем, кто

хотел поздравить ее. Мать Нахид, Людмила, на минуту присоединилась к нам.

— Поздравления вам и вашей семье, — сказала моя матушка. — Пусть ваша дочь обретет вечное благословение.

— Ну разве не чудесно? — сказала Людмила, и ее зеленые, в точности как у дочери, глаза засияли счастьем. — Такой пары я и хотела для нее. Какое облегчение, что этот день настал.

Мне пришлось изо всех сил напрячься, чтобы мое лицо оставалось таким же счастливым.

— Надеюсь всеми родниками сердца моего, что пара будет счастлива, — сказала я, но голос мой был тусклым.

Никогда я не чувствовала себя предательницей больше, чем в этот миг. Людмила взглянула на меня, словно ощутив что-то не то, но тут ее позвала подруга, и она отошла.

Слуги засуетились, настилая достарханы поверх ковров, чтобы расставить блюда. Тут же появились подносы с целиком зажаренными ягнятами, запеченными голубями, дичью, включая онагров и зайцев, овощное жаркое и дымящиеся блюда с рисом. Мы с матушкой заняли две подушки и поели вдвоем. Задняя часть ягненка была мягкой, как масло. Матушка выбрала косточку с мясом, кусок хлеба и заставила меня съесть.

— Прямо тает, — сказала она.

Я положила еду в рот, не ощущая вкуса. Болтовня женщин становилась все громче и терзала мой слух. Мне уже хотелось уйти домой и заняться чем-то успокаивающим, например ткать ковер. Вспомнилось мое собственное замужество — без всяких церемоний, с одним лишь звяканьем серебра.

Когда еду убрали, две музыкантши начали играть на барабанчиках и кяманче, петь игривые песни о браке. Женщины вставали и начинали танцевать, вторя припеву. Нахид пришлось петь с ними и улыбаться, хотя ее сердце было словно в могиле.

— Смотрите на счастливую невесту! — кричали гости. — Да будет ваше будущее таким же радостным, как нынче! Вечер продолжался, и стихи становились все более пряными. Несколько женщин запели песенку о том, как подобрать к замочку правильный ключик. Лицо Нахид стало пепельным, хотя ее уверяли, что она будет наслаждаться так же, как и они. Я надеялась, что не будет, потому что ее муж на

самом деле мой; и в то же время надеялась, что будет, — потому что она моя подруга...

Праздник длился за полночь, хотя город вокруг уже давно спал. Я изнемогала, мечтая о постели. Но это был не конец. Перед рассветом слуги внесли кебаб из ягнятины, печени и почек, свежие горячие лепешки и простоквашу с мятой. Возбуждение снова усилилось, ведь мы знали, что вот-вот появится Ферейдун. Людмила и служанки укутали Нахид в расшитый золотом белый чадор, прикрыв лицо пичехом, чтобы ее не разглядывали на улице.

Дверной молоток мужской половины прогремел на весь дом, и Ферейдун ворвался во внутренний двор, облаченный в лиловый бархатный халат и небесно-голубую рубаху. Женщины устроили целое представление, прячась в свои одежды, но на самом деле не слишком заботились о скромности, потому что ради свадьбы законы смягчались.

Все, кроме меня и матушки, выкрикивали благословения Ферейдуну:

— Да будет твой брак плодоносным!

— Пусть прибывает твое богатство!

— Сыновья твои да будут в тебя!

Ферейдун оборачивался к женщинам, ухмыляясь и наслаждаясь их благими пожеланиями. Хотя он разглядел меня, но не подал виду. Судорога ревности свела мое тело, когда он взял Нахид за руку и повел ее через дом к воротам, а все хлынули следом на молчащую улицу. Пара арабских коней, серых в яблоках, ожидала ее. Ферейдун приподнял ее за поясицу, чтобы она могла вставить ногу в стремя и сесть на кобылу. А сам вскочил на жеребца и сверкнул торжествующей улыбкой.

Я воображала, как он поднимет пичех Нахид, взглянет в ее прекрасное лицо; я пыталась растоптать мысли о том, что будет, когда они останутся одни. Я думала, восхитится ли он ее удлиненным стройным телом, таким не похожим на мое, и подойдут ли они друг другу так, как подошли мы с ним. Когда они стали отъезжать, женщины заголосили благословения новобрачным мужу и жене. Все побежали за конями, которые от волнения забросали дорогу темными дымящимися яблоками. Крики женщин стали такими пронзительными, что мне захотелось заткнуть уши. От страха, что

упаду на мостовую, я уцепилась за руку матушки. Затем кони набрали ход и наконец исчезли из виду, а мы смогли пойти домой.

Наутро Гордийе вошла в кухню, где я размешивала для лепешек муку в воде. Я оказалась одна, потому что матушка во дворе кипятила травы, а кухарка отлучилась в уборную.

— Хорошие вести! — сказала она. — Родители Нахид заказали нам большой шелковый ковер для подарка по случаю свадьбы. Должен быть сделан в оттенках шафрана.

— Очень хорошо, — сказала я, хотя чувствовала себя как сырое тесто.

Шелк любит шафран, хотя цена ему немыслима. Сборщикам придется сорвать тысячи нежно-фиолетовых цветков, когда они раскроются, и выдернуть три рыльца — таких тонких, почти невесомых — из каждого цветка. Ярко-красные рыльца высушат, размелют в порошок и сварят краску, дающую прекраснейший из желтых оттенков.

— Это знак свыше, что мудро хранить тайну сигэ, — сказала Гордийе. — Ты знаешь, что поступила верно.

Должно быть, я выдала свое мученье, потому что Гордийе нагнулась ко мне и прошептала:

— Последствия будут очень тяжелыми, если кто-нибудь из семьи Нахид узнает о твоём сигэ. Ты меня понимаешь?

Разумеется. Она имела в виду, что вышвырнет нас. Но я также понимала, что заказ делает Гордийе уязвимой. Если семья Нахид узнает про сигэ, они наверняка решат, что она не сказала им просто из жадности.

— Я не скажу об этом, — ответила я спокойно, — при одном условии.

— Каком?

— Меня надо освободить от кухонной работы, пока я делаю ковер.

— Надолго?

— На несколько месяцев. И я должна привести несколько женщин себе в помощь.

Гордийе хохотнула:

— А ты умелая штучка. Город тебя переделал.

— Может быть, — сказала я. — Но как вы сами сказали, мать и дочь без средств должны быть всегда осмотрительны насчет своего денежного будущего.

Гордийе фыркнула, когда получила от меня свои же собственные слова, и глаза ее похолодели.

— Ты затеваешь нелегкую сделку, — предупредила она.

— Но она будет выгодна этому дому.

С этим она не могла спорить.

— Согласна, — ответила она неохотно, — но ты должна дать мне обещание...

— А ты мне, — сказала я.

Брови ее подпрыгнули, но выбора не было.

— Обещаю, — сказали мы одновременно.

Впервые Гордийе не смогла меня переиграть. Я больше не собиралась быть покорной и исполнять ее приказы, если было чем на них ответить. Ей это не понравилось, но запомнить пришлось.

Когда я о нем услышу снова? Когда он пресытится ею и снова захочет меня на ложе? Дни проходили без единого слова. Должно быть, он проводил много времени со своей прелестной новой женой. Была только одна вещь, которая могла меня утешить, — взять перо и рисовать. Я часами работала над узором в новом стиле шаха Аббаса, который показал мне Гостахам, но мне хотелось сделать что-то иное, вдохновленное зеленью квартала Четырех Садов. Я вырисовывала длинные заостренные листья, похожие на ятаганы, которые должны были пересекать ковер поперек. Когда у меня были вырезки для листьев, я нарисовала маленькие букеты и расположила их вертикально поверху и понизу. Узор уводил взгляд в обе стороны сразу: слева направо и обратно, по листьям; вверх и вниз и снова вверх, по цветам.

Когда я показала Гостахаму набросок, он долго изучал его. Потом сделал несколько поправок и изменений, прежде чем одобрить. Затем вздохнул и сказал:

— Если бы ты была мальчиком!..

Я тоже вздохнула.

— Ты больше переняла от меня, чем мои дочери. У тебя природный дар. Если бы ты была мальчиком, ты могла бы пробиться

из низов и научиться делать ковры, которые будут цениться вечно и повторяться мастерами после тебя. Может быть, в знак признания от шаха ты могла бы даже получить разрешение писать свое имя на лучших из своих работ. Уверен — я мог бы тобой гордиться. Вот сейчас ты сделала очень хороший узор.

Я вспыхнула, представив свое имя, вотканное серебром в ковер цвета индиго, подтверждающее, что я мастер, на сотни лет вперед. Никто в моей деревне никогда не подписывал свои изделия.

Он продолжал изучать мой узор.

— Что ты собираешься делать с цветом?

— Думала попросить у тебя совета, — сказала я, вспомнив последний урок.

— Выбери образцы сама, а потом покажешь мне, — ответил он.

Я провела весь вечер на базаре, разглядывая мотки шерсти и размышляя, как подобрать оттенки друг к другу. Гостиhamу я принесла четырнадцать образцов цвета и свой узор, который я набросала уже на сетке, описав, какие, по моему мнению, цвета куда лягут. Для длинных листьев я думала использовать травянисто-зеленый.

— Ты могла бы сделать этот ковер, — сказал он, — но он вышел бы не таким красивым, как тебе видится.

— Почему?

— Цвета поют не в лад, — сказал он. — Всегда есть разница между ковром на рисунке и получившимся ковром. Так же как всегда есть разница между хорошей и большой выгодами.

Я снова отправилась на базар и попробовала заново. Хотя мой узор был основан на листьях, длинные заостренные очертания, пересекавшие ковер, напоминали также перья. Они навели меня на мысли о невесомости птиц и прохладе ветра. Я решила сделать перьевидные силуэты белыми, как голуби на фоне небесной лазури, но на глубоком вино-багровом фоне с темно-синей каймой. Более сильные цвета помогут светлым перьям выглядеть легкими, словно плывущими по небу.

Гостиham одобрил основные цвета, но ему казалось, что контрастные оттенки не совсем верны. Он посоветовал мне попробовать слегка иные: более темный серо-зеленый для стеблей цветов, красный поярче в оттенках внутри цветков. Снова я вернулась на базар, расспрашивая о невозможных красках. «У вас нет серо-

зеленого, который выглядел бы как стебель цветка в тени? А как насчет красного погуще, вроде кислого вишневого варенья?» Торговцы скоро устали от меня. «Это все, что есть, — отвечали мне, разводя руками над прилавками. — Если вам нужен другой оттенок, заплатите кому-нибудь, чтобы окрасил шерсть для вас». Таких денег у меня не было, поэтому я приставала к ним, пока не отыскивался образец, который подходил.

После того как Гостахам одобрил все отобранные цвета, он велел мне нарисовать мой узор и показать ему. Я до изнеможения раскрашивала рисунок, стараясь показать, что хорошо заучила уроки учителя: «Услаждай глаз узорами, но и освежай его; удивляй глаз, но не переполняй его».

Даже теперь Гостахам не слишком одобрял мой план.

— Ты создаешь слишком большие цветочные пятна без внутренней сложности. Это кажется странным, но подробные узоры делают орнамент легче. Пробуй еще.

Труднее всего художнику точно воспроизвести то, что он легко и просто видит мысленно. Я пробовала трижды. Ко времени, когда я раскрасила третий набросок, мне показалось, что я нащупала равновесие между частями. Тогда я попросила матушку дать мне денег из платы за сигэ нанять работниц. В одиночку это отняло бы слишком много времени — соткать ковер высотой в мой рост. Но с двумя работницами можно было управиться за несколько месяцев. Моя матушка не хотела расставаться с деньгами, это было все, что мы имели, но передумала, когда увидела мой узор.

— Маш'алла! — сказала она. — Да это намного прекрасней, чем все, что ты когда-либо делала.

Как только она дала мне денег, я отправилась на базар, закупила шерсти и наняла Малеке в помощь себе. Здоровье ее мужа не улучшалось, и она была благодарна случаю заработать денег не только продажей своих изделий на улице. У нее была молодая двоюродная сестра по имени Катайун, быстро вязавшая узлы, и я наняла ее тоже. Никто из них не знал, как следовать узору на бумаге, так что я пообещала называть им цвета.

Прежде чем мы начали ковер, я показала свой последний набросок Гостахаму и спросила его одобрения. У него ушло всего несколько мгновений, чтобы взглянуть, улыбнуться и просто сказать:

— Вот ты и поняла.

В его глазах было нечто похожее на удивление.

— Хотя ты не мое дитя, но ты воистину дитя моего сердца, — сказал он. — Мне всегда хотелось поделиться секретами своего ремесла с сыном. Пусть Аллах не даровал мне сына, однако дал тебя.

Он остановил на мне теплый взгляд, и я ощутила, словно ясные глаза моего отца светятся в нем.

— Благодарю вас, дорогой аму, — ответила я, купаясь в его любви. Впервые посмела я обратиться к нему так — «дядя».

Нахид въехала в один из множества домов, которыми владел Ферейдун; этот был расположен у Зайенде-Руд, с видом на воду и горы. После того как она обустроилась, она прислала гонца с приглашением посетить ее. Мне не хотелось идти, но я знала, что должна, чтобы все выглядело правильно.

Я шла через квартал Четырех Садов к реке и радовалась, что ее дом так далеко от старой Пятничной мечети и того особняка, где я встретила Ферейдуна. Я свернула у моста Тридцати Трех Арок. Воздух был свеж, его охлаждала река. Я поняла, что дома казались большими из-за расстояния между высокими воротами. Посланец Нахид сказал мне искать новый дом со множеством ветроуловителей на крыше. Они гнали воздух внутрь дома и остужали его в подвале над бассейнами с водой, даря обитателям прохладу в самые знойные дни.

Когда я ступила в высокие ворота, сторожившие дом Нахид снаружи, я была потрясена. Это был маленький дворец, такой, какой Ферейдун мечтал населить дюжиной сыновей и дочерей. Почтительная служанка приняла мой чадор и провела меня в гостиную с коврами, затканными такими крохотными розетками, что их, казалось, могли сделать лишь детские пальчики. Вазы для цветов и омовений были все из серебра. Подушки, затканые серебряными нитями, сверкали. Я постаралась подавить зависть, поднявшуюся в моем сердце.

Нахид вошла в комнату, и я удивилась, как быстро она освоилась с ролью богатой и властной женщины. На ней были тяжелые золотые браслеты со свисавшей бирюзой и жемчугами, то же сочетание камней на лбу, нашитых на золотую ленту, поддерживающую ее кружевную накидку. Бледно-голубой шелковый халат и рубашка были неяркими и старили ее. Лицо ее было спокойным и замкнутым. Глаза казались

больше, чем всегда, но сейчас уже не были красными. Теперь она правила домом с двенадцатью слугами, занятыми только ее нуждами.

— Нахид-джоон! — сказала я, целуя ее в каждую щеку. — Хотя, я думаю, раз ты замужем, я должна звать тебя Нахид-ханум! Как ты?

— А как я выгляжу? — устало отозвалась она.

— Как луна, — сказала я, — но чуть постарше.

— И печальнее.

— Да, и печальнее, — сказала я.

Мы смотрели друг на друга, и грусть ее глаз отражалась в моих. Мы сели рядом на подушки, Нахид велела подать кофе и сласти.

— И как замужняя жизнь? — спросила я, стараясь выглядеть беспечной.

— Замечательно, как и ожидалось, — пожала плечами она. — Я его редко вижу.

Это было странно для новобрачной, но я не могла не надеяться, что причина во мне.

— А почему?

— Он так занят своими землями, лошадьми, поручениями отца.

— Но наверняка находит время и для тебя.

— Только по ночам, — сказала она.

Я ожидала услышать от нее совсем другое. Рассматривая ее лицо и тело, искала признаки удовлетворения и надеялась не найти. Невыносима была мысль, что они наслаждаются друг другом, и я быстро ответила:

— Похоже, ты не можешь забыть Искандара.

Ее глаза стали еще больше и печальней, но она не дала себе воли.

— Никогда, — прошептала она.

Она поманила меня.

— Я должна говорить тихо. Я не могу себе позволить здесь ничего, пока не пойму, кто здесь верен ему, а кто мне. Я должна притворяться, что все точно так, как я хочу.

— Как мне жаль, что ты так несчастна, — прошептала я в ответ.

— Могу ли я быть счастлива? — ответила она. — Его не сравнить с Искандаром. Он некрасив и недобр.

В моих глазах Ферейдун был куда красивее Искандара. Я вспомнила его мускулистые бедра, оплетавшие мои, и его горячую крепкую грудь, плотно прижатую к моей. Я едва не запротестовала: «А

его прекрасные волосы? А его язык, когда он выводит им узоры на твоих бедрах?» Но вместо этого я заговорила о других вещах — о ковре, над которым работала, о свадебных подарках Нахид, ее каллиграфии, — и все равно разговор упорно возвращался к Ферейдуну.

— Я бы даже выдержала замужество за ним — любой мужчина такой же, как другой, если он не Искандар, — когда бы не то, что происходит по ночам... — сказала она и тут же осеклась, отпила глоток кофе из маленькой чашечки тонкого голубого фарфора. — Будь ты мужем, я бы все рассказала тебе.

Даже после этих слов я поняла, что Нахид мне расскажет все, потому что хочет выговориться, а я единственная, кому она доверяет. Но я не хотела слушать.

— Ты уже повидала его дочь? — быстро перебила я, стараясь поменять тему.

Нахид удивилась:

— Кто тебе рассказал о ней?

Секунду я не знала, что ответить. Надо быть крайне осторожной, чтобы не выдать себя.

— Э-э-э-э... ну, ковер... — выдавила я. — Помнишь ковер, который он заказал, с талисманами, благодарение Аллаху, что к его дочери вернулось здоровье?

— Ты когда-то упоминала ковер, с которым помогала Гостахаму, — сказала Нахид. — Но ты никогда не говорила мне, что его заказывал Ферейдун.

Я с трудом перевела дыхание.

— Так я его не связывала с мужчиной, который на тебе женился, до недавнего времени, — солгала я.

— О, — сказала она. — Я могла бы ожидать, что ты расскажешь мне все, что знаешь, о мужчине, за которого я выходила. — Тон ее был резок.

— Я поистине сожалею, — пробормотала я. — Должно быть, позабыла.

— Странно, — ответила она. — А что ты еще о нем знаешь?

Мое сердце словно чернело, как сердце ягненка, поджариваемое на углях.

— Только то, что Гостахам рассчитывает на новые заказы! — быстро сказала я, пытаюсь быть как можно веселее.

Нахид приподняла бровь, как бы давая понять, что это теперь в ее власти — жены богатого человека. Я пригнула голову, потрясенная тем, что сказала.

— Я ведь не хотела ничего такого, — пролепетала я.

Она махнула рукой:

— Знаю.

Нахид глотнула еще кофе, а я почувствовала, как пот стекает по моей спине.

— Рада, что у тебя такой красивый дом, — сказала я.

Нахид огляделась вокруг безжизненными глазами.

— Я бы осталась в хижине, если бы могла разделить ее с Искандаром, — сказала она, и кожа вокруг ее глаз напряглась. — Помнишь, как женщины на свадьбе дразнили меня? Я боялась, но никогда не думала, что мужчина в твоей постели — это так мерзко.

Мое черное сердце задрожало. То доброе, что оставалось во мне, готово было крикнуть ей: «Все будет лучше!»

Нахид содрогнулась, и жемчужины на ее запястьях тоже содрогнулись.

— Днем он изображает лучшие манеры и отличное воспитание. Но ночью он превращается в животное. Когда я чувствую его горячее дыхание на моей шее, то готова завизжать.

Именно это я в нем и любила. Во тьме он был зверем, а с ним и я позволяла себе стать тем же. Дома, с Гордийе, я должна была быть покорной и стараться работать хорошо; с Гостахамом быть понятливой ученицей; с матушкой выказывать уважение; с посетителями быть благонравной дочерью. Только с ним я узнавала правду своей плоти. У меня ушло много времени, чтобы понять это, и теми ночами, когда его не было, я жаждала этого.

Потрясенная, я откашлялась.

— Ты краснеешь, — улыбнулась Нахид. — Да ты, я думаю, еще свежа и девственница.

— Думаешь, тебе понравилось бы больше, будь на его месте Искандар? — спросила я.

— Конечно, — ответила она. — Когда я вижу его без одежды, тоскую по моему возлюбленному. Его ладони на моем теле грубы,

словно кошачьи когти. Даже борода его обдирает мое лицо. Я хочу его сбросить, но я должна лежать и ждать, куда он кончит.

— Как ему это может нравиться? — едва не выдала я себя снова.

Я стеснялась, когда впервые легла с ним, но никогда не брезговала им в той мере, как описывала Нахид. Единственный раз, когда мне не удалось порадовать его, он наказал меня на недели. А ей что он за это делает?

Нахид глядела на меня со странным выражением, и утолчки ее рта опускались.

— А ему, в общем, все равно. Будто он просто исполняет обязанности мужа.

Неужели возможно, чтобы он шел с ней в постель, потому что так надо, а берег себя для меня? Я боялась в это поверить.

— А если ты его похвалишь?

— Я говорю ему, что он свиреп, как сокол, и силен, как лев. Подслащиваю все время, но это ничего не значит.

Я знала, Ферейдун не любит пустых слов. Ей придется выдумать что-то получше.

— Но ты же не веришь, когда говоришь это?

— Нет.

— Может, со временем ты научишься любить это.

— Сомневаюсь, — отвечала она. — Но я смогла бы с ним жить, если бы не потеря единственной вещи, которую я ценила.

— Искандара?

— И его... и его писем. Но до свадьбы мы с ним решили, что продолжать будет слишком опасно.

— Вы были правы, — заметила я. — Но, Нахид, теперь ты замужем навсегда, и не думаешь ли ты, что можешь попытаться все же полюбить своего мужа?

Я едва могла поверить, что произнесла эти слова. Я разрывалась между желанием видеть подругу счастливой и оставить ее мужа — и моего тоже — себе.

— Никогда, — сказала она.

— Но тогда как же ты будешь жить? — мягко спросила я.

— Не знаю.

Она могла вот-вот заплакать. Но, вместо того чтобы разрыдаться у меня на руках, как она делала до замужества, Нахид быстро овладела

собой, хотя я видела, как больно ей сдерживать себя.

— Нахид-джоон!.. — я сочувствовала ей.

— Я не могу здесь раскрываться, — шепнула она и только сейчас стиснула зубы до скрежета, чтобы не дать выступить слезам.

Губы оттопырились, и глубокие складки прорезались вокруг рта. Когда она убила свое рыдание, то стала такой же красавицей, как всегда, но ужасно было видеть горе в ее глазах.

Уходя, я вспоминала с муками вины радужные нити, спрятанные на моей шее под платьем. Заклинательница была права: ее любовь это связало. Я должна была сорвать нитки с шеи, но не смогла бы вынести потерю Ферейдуна.

Через день после встречи с Нахид Ферейдун снова прислал за мной. Когда я сидела в маленькой комнате и представляла, как мы с Ферейдуном вновь будем вместе, меня трясло от удовольствия. В то время как все тело Нахид отвергало его, мое при мысли о нем открывалось целиком, до последней поры. Как это было непохоже на то, когда я впервые легла под него! Тогда я была рабыней, а он господином. Теперь и он иногда становился моим рабом. Я ждала его в этот вечер, сознавая, куда мы вдвоем двинемся, однако с чудесной неопределенностью в том, как мы доберемся туда. Ферейдун, я знала, никогда не прокладывал борозду одинаково.

Когда он приехал, с ним был огромный узел, суливший мне наслаждения небес. Отослав прислугу, Ферейдун попросил меня раздеться. Я делала это медленно, в полумраке, а он сидел на подушке скрестив ноги, узел лежал рядом. Начала я стесняясь, но когда добралась до белья, то уже наслаждалась его взглядом.

Когда я осталась нагой, он встал и поднял меня на руки, медленно кружась по комнате. Голова моя плыла, длинные волосы вились в воздухе и скользили по телу. Приблизившись к постели, он опустил меня на нее и велел закрыть глаза. Я лежала так, разгоряченная и ожидающая. Мне было слышно, как он развязывает узел, затем он тихо встал надо мной. Мгновение спустя я ощутила постукивание по животу, словно шел нежнейший из дождей. Улыбнувшись, я выгнула спину. Он наклонился надо мной, зачерпнул еще пригоршню из узла, и касания продолжились. Так же стоя надо мной, он потер ладони, и аромат роз наполнил комнату. Я открыла глаза: все мое тело было

покрыто лепестками роз. Одни были бледно-розовыми, другие ярко-алыми, третьи винно-багровыми: многокрасочный ковер цветов. Я дотянулась до его талии и повлекла его к себе.

— Хочу твои финики в моем молоке... — сказала я, цитируя стихи, услышанные в хаммаме.

Он простерся на мне, давя лепестки между нашими телами. Сильный и сладкий аромат наполнил воздух, смешиваясь с нашими запахами. Прикрыв лепестками мои глаза и так ослепив меня, он сделал все то, на что я надеялась и чего потребовала. В ту ночь мы достигли вершины вдвоем, слив наши крики, сплетаясь в благоуханных садах рая. Если помнить то, что Нахид говорила о скуке ее ночей с Ферейдуном, неудивительно, что он хотел меня более чем когда-либо. Каждый раз, когда за мной присылали, я ощущала раскаяние перед Нахид, но когда воображала себя с Ферейдуном, колени под одеждой подгибались и я не могла не жаждать встречи с ним. Каждый раз, когда я приходила, то грезилась о новых способах дать ему наслаждение и остановить время. Однажды я нанизала керамические бусы на нить и обвила ими бедра. Они цокали, отсчитывая ритм наших движений, дразня его слух. В другой раз я сказала, что отдамся ему лишь тогда, когда он разденет меня всю, но только одним ртом. Он сделал все, что мог, развязывая завязки моих одежд зубами, выталкивая пуговицы из петель языком, стаскивая губами мои шальвары. Потом у него болели челюсти, но я еще не видела его счастливее.

Секрет, который я тайла от Нахид, оказался тяжелее, чем я могла подумать. Не только потому, что я была замужем за ее мужем, а потому, что я знала, как дать ему то наслаждение, которое она даже и вообразить не могла.

Утром, после того как покинула Ферейдуна, я вернулась домой и стала работать с Малеке и Катайун. Они приходили каждый день, кроме пятницы, и работали на станке, который мы поставили в доме. Обе они отчаянно нуждались в работе. Муж Малеке все болел. Отец Катайун, каменщик, умер недавно, сорвавшись с купола мечети, которую помогал строить. «Ушел прямо к Господу», — говорила она, и губы ее дрожали. Я испытывала к ней особенное сочувствие, потому что ей было всего пятнадцать, те же годы, когда и я потеряла своего

отца. Теперь, когда мне было почти семнадцать, я чувствовала себя много старше, будто прожила семь жизней с тех пор, как оставила нашу деревню.

Несмотря на свои трудности, женщины работали с муравьиным усердием. Обе вязали узлы почти так же быстро, как я. Малеке была застенчива, но когда она освоилась, то начала рассказывать мне о проказах своих детей. Катайун была словно жеребенок, которому просто хочется бегать. Она держала себя у станка прямо-таки усилием воли. Если б я не была ее нанимательницей, мы стали бы чудесными подругами.

По утрам они приходили и усаживались у противоположных концов станка. Я садилась у челнока, помня, как сидели мужчины в мастерской, рисунок был у меня под рукой, чтобы в нужный момент сразу найти нужный цвет. Приговаривая: «Красный, красный, бежевый, голубой, бежевый, красный, красный», я помогала вязальщицам не сбиться: каждый цвет назывался, как только они завязывали предшествующий узел. Катайун была чуть проворнее Малеке; приходилось ее слегка осаживать, чтобы они завязывали узлы одновременно. А у Малеке были руки посильнее, и когда она прижимала узлы гребнем, они были туже, чем вязала Катайун. Мне приходилось просить ее делать это чуть мягче, чтобы ковер не сошел со станка с разными боками.

Каждый день мы работали с утра до перерыва на еду и затем снова до раннего вечера. Я заботилась, чтобы у них было довольно чая и сладостей, и в полдень мы ели вместе. Подозреваю, что это была единственная их трапеза, в которой они могли быть уверены. Мне было приятно помогать им, ведь я сама испытала муки голода.

Однажды утром Катайун спросила об одном цвете, потому что рисунок в этом месте был не совсем ясен, и я сбилась, выкрикивая краски. Подумав секунду, я сказала:

— Вяжи красный. Теперь мы будем использовать его в этом цветке и дальше.

— Чашм! — ответила она и поклонилась мне.

А я поняла, что мне нравится чувствовать власть, особенно после стольких месяцев, когда делала все по приказу других.

Даже когда я проводила всю предшествующую ночь с Ферейдуном и не спала совсем, я заставляла себя бодрствовать, пока Малеке и Катайун не уходили, и только тогда ложилась отдохнуть. Если я просыпалась, когда было еще светло, то продолжала вязать узелки по своему усмотрению. Мне хотелось закончить все как можно скорее. Гордийе не требовала ничего с этого ковра, и все, что я заработаю, пойдет мне и матушке.

Однажды утром сгорбленная старуха постучала в нашу дверь и передала мне, что Нахид хочет видеть меня. Я попросила ее передать Нахид мои извинения, потому что была занята с Малеке и Катайун, однако старуха отвечала, что ей было приказано не возвращаться, пока она не приведет меня. С этим она грузно уселась во дворике и окутала свой горб рваной шалью, словно готовясь к ночлегу. Стало любопытно, зачем Нахид потребовала меня так срочно. От мысли, что она могла раскрыть мой секрет, меня прошиб пот.

Я пошла к моим работницам, надеясь, что посланница устанет и уйдет. Все утро мы проработали, а после завтрака и нескольких провязанных рядов Малеке и Катайун ушли. Я отправилась в нашу комнату и уснула. Когда проснулась, увидела, что старуха выходит из кухни, утирая губы, и спрашивает меня, готова ли я. Вздохнув, я пошла за чадором и пичехом, потому что знала — без меня она не уйдет.

На улице, несмотря на ясное небо, стоял жестокий холод. Слепящее солнце, казалось, высвечивало все, что под ним, без малейшей жалости. У продавца жареных орехов, торговавшего близ дома Гостахама, возле рта чернели морщины — глубокие, словно прорезанные ножом. Когда посланница обернулась, дабы удостовериться, что я иду следом, потек зеленоватого масла от нашего жаркого с пажитником и бобами фава блеснул на ее щеке, словно мокрая язва. Я была рада спрятаться под чадором от солнечного огня.

Мы миновали медресе в квартале Четырех Садов, где учились мальчишки, которые станут муллами. Я все еще брала еженедельные уроки письма у Нахид, и каллиграфические надписи на стенах, которые прежде были для меня только чудесными украшениями, теперь возглашали мне имена Господа: «Милосердный — Справедливый — Гневный — Всевидящий — Беспощадный».

Когда мы подошли к дому Нахид, она сунула монету в руку горбатой старухи и отослала ее. Я расцеловала Нахид в обе щеки и стянула свои покровы. Мне хотелось пить, но она не предложила мне своего обычного мятного чая. Лицо ее было бледно, и я заподозрила, что жизнь становится для нее скучнее, чем прежде. Ферейдун стал терять интерес к ее ложу; он проводил со мной все больше ночей. Приближался конец моего второго контракта, но я была уверена, что он снова продлит его, так велико было наше взаимное наслаждение каждый раз, когда мы встречались.

— Я бы пришла скорее, но не могла бросить работу, — сказала я. — Зачем ты послала за мной?

Пересохший язык с трудом складывал слова.

— Просто хотела тебя увидеть, — сказала Нахид, но голос ее был холоден.

Я вздрогнула и неловко заерзала на подушке.

— Ты, кажется, замерзла, — сказала Нахид.

— Так и есть, — отвечала я. — Можно чаю?

— Конечно.

Она позвала служанку принести чай, но никто не явился. Обычно женщины сидели снаружи у дверей, готовые исполнить ее малейшую прихоть. Уж не приказала ли она им не откликаться, подумала я.

— Я недавно видела Хому, — отрывисто сказала Нахид.

— Правда? — спросила я, стараясь выглядеть спокойной.

Необычно для Нахид было купаться с прежними соседями, теперь, когда у нее был свой хаммам и служанки-банщицы.

— Ты с ней мылась? — поинтересовалась я.

— Мылась, — ответила она. — Приятно было снова увидеть знакомые лица. Тут лишь я и моя прислуга.

— Жаль, что я не знала. — Я нервно попыталась устроить ноги поудобнее. — Можно было встретиться там.

Нахид сделала гримасу. Хома мне сказала, что ты только что была, несмотря на то что это не твой обычный день. Она говорила, что часто видит тебя в хаммаме, иногда трижды в неделю.

— Да, — признала я, — я бываю часто.

Объясняться дальше я не стала, боясь, что она поймает меня на лжи. Каждый раз, как я отдавалась Ферейдуну, мне приходилось делать Великое Омовение, чтобы очиститься в глазах Господа. По

утрам Ферейдун пользовался домашней баней, так что мне приходилось идти куда-нибудь.

— И почему ты ходишь так часто?

— Мне нравится быть чистой, — пробормотала я.

— Ты прежде ходила не чаще раза в неделю.

Я не знала, что ответить.

Внезапно Нахид рассердилась.

— Ты ведешь себя так, словно у тебя есть тайна, — сказала она.

Пот выступил у меня под мышками, и я отвела взгляд. Положив правую руку на сердце, я опустила глаза, чтобы дать себе немного времени.

— Я прошу у тебя прощения, — сказала я, сердце колотилось в груди.

— За что же?

Я никак не могла придумать правдоподобную ложь, отчего я так часто бываю в хаммаме.

В ее глазах вспыхнул холодный огонь.

— Говори мне правду, — потребовала она.

Совершенно несчастная, я заворочалась на подушке, а она не сводила с меня пылающего взгляда. Меня словно вели по улице без одежды.

— Ну? — подстегнула она. Голос ее был острым и холодным.

Взглянув в ее глаза, я словно посмотрела на полуденное солнце. Подняла ладони, чтобы защититься, — я больше не могла выносить ее испытующего взора.

Она не могла знать, что это был Ферейдун. Конечно нет, иначе ее лицо не было бы таким спокойным.

— Все верно, — призналась я.

— Итак, ты замужем.

— Да, — отвечала я.

— Все это время, пока я говорила, что ты не знаешь, что такое — быть с мужчиной, ты смеялась надо мной.

— Не смеялась, — поправила я, — а старалась сдержать обещание, которое дала.

— С чего тебе хранить замужество в секрете? Это же не преступление.

— Это не обычное замужество, — сказала я. — Это сигэ.

Нахид взглянула так, словно я произнесла грязное ругательство.

— Сигэ? — повторила она. — Но почему твоя семья так поступила с тобой?

Я вздохнула:

— Когда ты выходила замуж, твоя семья преподнесла твоему мужу большое приданое золотом и шелком. Со мной все наоборот: мой муж дал деньги нам. Вот почему.

Нахид выглядела раздраженной; мне все еще было непонятно, сколько ей известно.

— Ты должна была сказать мне и моей матери. Мы бы нашли тебе достойного мужа — возможно, ковровщика, подобно тебе.

Ковровщика! Итак, Нахид не допускала, что я заслуживаю кого-то вроде Ферейдуна. Почему ее судьба приносит ей столько даров, а моя — нет? Всякая душа равна перед Господом.

Я почувствовал, что в моем голосе нарастает гнев.

— Если бы я могла, — отвечала я, но это была только часть правды теперь, когда мы с Ферейдуном были словно уток и основа.

— Моя бесценная подруга, мне жаль тебя, — сказала Нахид, но таким презрительным тоном, что я поняла — мое замужество навек уронило меня в ее глазах. — Если бы я все еще жила дома, моя мать запретила бы мне видеться с тобой, узнав, что ты сигэ.

— Не могу ничего поделать, — горько ответила я. — Помнишь, как я срезала ковер со станка, потому что хотела сделать лучше? Гордийе разъярилась на меня из-за потери шерсти. Предложение сигэ явилось как раз после этого, и матушка поняла, что выбора нет.

Здесь я умолкла, надеясь, что мы поговорим о чем-нибудь другом.

— Итак, за кого ты вышла? Теперь ты можешь рассказать все, — сказала она, улыбаясь, чтобы подбодрить меня, но я видела, что ее глаза оставались тверже изумрудов.

— Нахид, ты ведь уже, наверное, знаешь. — Слова застревали у меня в рту.

— Откуда же мне знать? — невинно отвечала она.

Я помедлила. Помнится, Гостахам, Гордийе и даже матушка советовали мне придумать историю, которая сохранит мир в семьях. Все, что мне надо было сказать, — что мой муж удачливый конюх или мелкий торговец серебряными изделиями, некто умеренно

преуспевающий, но недостаточно знатный, чтобы навести Нахид на подозрения.

— Ты не хочешь довериться мне? — с оскорбленным видом спросила Нахид. — Или наша дружба для тебя больше ничего не значит?

— Конечно значит!

— Тогда скажи мне. Кто бы это ни был, я порадуюсь за тебя.

— Обещаешь?

Она не ответила, но ее рука ободряюще тронула мою. Я медлила избавлять свое сердце от секрета, тяготившего меня столько времени. Нахид когда-то оценила меня за сказанную ей правду об испорченных финиках; может быть, она снова оценит правду и это сделает нас ближе.

— Это Ферейдун, — шепнула я так тихо, что понадеялась — она не услышит.

Нахид отпустила меня и вскочила со своей подушки.

— Я знала! — крикнула она, и в ее глазах снова вспыхнул гнев. — Я послала Кобру с поручением в его маленький дом, и ей показалось, что она слышала твой голос! Как я надеялась, что это ошибка!

От стыда я не могла смотреть ей в лицо.

— Ведь я тебе доверяла! Я думала, что ты всегда говоришь правду!

— И я всегда старалась, — ответила я. — Нахид, это случилось за месяцы до того, как тебе сказали о помолвке с Ферейдуном. Откуда мне было знать, что твои родители выберут его из всех мужчин брачного возраста в Исфахане? Наши судьбы связаны воедино, так и предсказала Кобра, гадая нам по кофейной гуще.

Нахид смотрела на меня с подушки, она не собиралась меня щадить.

— Какой у тебя сигэ?

— На три месяца.

— А когда ты подписала первый контракт?

— Почти за три месяца до твоей свадьбы.

Нахид обвиняюще уставила в меня палец.

— Значит, ты возобновила его! — крикнула она.

Я вздохнула:

— Когда ты сказала мне о своей помолвке, мы с матушкой уже приняли предложение о возобновлении и деньги за него. Мы боялись отменить соглашение и тем обидеть Ферейдуна или наших хозяев. Нас во всем мире больше некому защитить, денег у нас нет.

— Денег! — с отвращением воскликнула Нахид. — Все вокруг денег, и с моим Искандаром из-за них.

— Но Нахид, — взмолилась я, — мы боялись, что нам придется просить на улице! Ты не понимаешь. Откуда тебе знать страх, что твой сегодняшний обед может оказаться твоим последним?

— Я не знаю, каково это, — сказала Нахид, — и хвала Господу. Я знаю только, что ты предательница; ты сидела рядом со мной, слушала мои рассказы о моем муже и притворялась, что он для тебя никто. А потом, наверное, пересказывала ему все ужасы, которые узнала о нем. Ничего странного, что он меня избегал.

— Я никогда не говорила ему о том, что слышала от тебя, — ответила я. — Мы мало разговариваем.

— Ах так, — сказала она, поняв больше, чем я рассчитывала. — Как ты можешь это выносить — уступать ему в постели? — И задумчиво: — Конечно, тебе же платят и ты должна делать что сказано. Он ждет этого от женщин, подобных тебе.

— Причина не в этом, — ответила я, желая задеть и ее. — Сначала было за деньги, но теперь я делаю это, потому что люблю его.

Она закрыла уши ладонями, совсем как ребенок.

— Я больше ничего не хочу слышать, — сказала она. — Только не думай, что ты единственная, — под настроение он берет в постель и того молодого музыканта.

Возглас отвращения сорвался с моих губ, когда я вспомнила хорошенького наглого мальчика с гладкими щеками. Он всегда свободно заигрывал в моем присутствии, словно я ничего не значила.

Очнувшись, я посмотрела на Нахид, ища помощи; я думала, сможем ли мы стать союзницами.

— В этом случае он всеми нами пользуется как желает, — сказала я. — Что мы можем сделать?

— Я не знаю, кто это «мы», — ответила она. — Ты знаешь, что я не могу ничего сделать с его женами или сигэ. Единственное, что я могу, — это принести ему хороших наследников. То, на что музыкант не способен.

Я пристально посмотрела на нее: она слегка округлилась лицом и талией, и я догадалась, что она беременна.

— Нахид, — сказала я, — я смиренно прошу у тебя прощения. Понимаю, что должна была сказать тебе раньше, и сожалею о своей ошибке. Но теперь, когда судьба свела нас таким странным образом, не стать ли нам обеим его женами и вместе растить наших детей?

Нахид громко захохотала.

— Нам с тобой? — спросила она. — Ты сказала это, будто мы два цыпленка в горшке.

— А разве нет? — ответила я. — Я всегда восхищалась тобой и любила тебя. Когда мы встретились, я думала, что ты сказочная принцесса.

— А я подумала, что ты простая деревенская девочка, которая пойдет со мной на чавгонбози, — ответила она так уничтожающе, что я почувствовала себя уязвленной до самого сердца.

Но потом она ненадолго умолкла. Лицо ее смягчилось, и я увидела, как в глазах блеснула влага.

— Все изменилось, когда я узнала тебя, — заговорила она. — Я стала заботиться о тебе из-за твоей честности, верности и любящего сердца. Но теперь я вижу, что ошибалась, ибо ты ранила и предала меня и обращалась со мной хуже, чем с нечистым уличным псом.

Я ощутила жестокое раскаяние, потому что любила ее и никогда не хотела причинить ей горе. Но прежде чем я сумела что-нибудь сказать, Нахид затрясла головой, словно пытаясь удержать слезы, и гнев ее запылал еще сильнее, чем прежде.

— Мне надо было думать, прежде брать в подруги такую, как ты, — сказала она.

— Что ты хочешь сказать? — Я почувствовала, как начинаю закипать. — Что я выросла в маленькой деревне?

— Нет, — ответила она.

— Что я работаю руками?

Она помедлила секунду, и я заподозрила, что из-за этого тоже, но тут она сказала:

— И не потому.

— Тогда почему?

— Уважаемая замужняя женщина вроде меня не имеет ничего общего с теми, кто продает себя за деньги.

Я вскочила, гнев обжигал мои щеки; она сказала это так, словно я была ничем не лучше проститутки.

— Уважаемая — возможно, однако у розы никогда не было столько шипов! — крикнула я. — Потому твой муж и уходит ко мне и стонет от наслаждения в моих руках!

Нахид встала и подошла ко мне, приблизив свое лицо к моему так, что я ощутила ее дыхание на губах.

— Не могу заставить тебя отказаться от него, но если ты понесешь его детей, я прокляну их, — тихо сказала она. — Если продавец вишневого шербета нальет им отравленного питья, трудно будет поступить мудрее.

Ее глаза и драгоценности сверкали в вечернем свете, как ножи. Я попятилась. Пальцы Нахид выгнулись, точно когти, словно она хотела вцепиться в мое чрево и вырвать его. Я бросилась к двери и распахнула ее настежь. Служанка, пристроившаяся рядом, упала, застигнутая врасплох моим нарушающим приличия побегом. «Где мой чай?» — рявкнула я, схватила свою уличную одежду и выбежала наружу, куда, я знала, Нахид за мной не кинется.

Стоял холод, но идти домой было невмочь. Я пошла к мосту Тридцати Трех Арок и нырнула в один из сводчатых входов. Тучи собирались над горами, вода казалась ядовито-зеленым стеклом. Я глядела на богатых женщин в шелковых чадорах, медленно шествовавших по мосту в туфлях на деревянной подошве, приподнимавших их над землей, в то время как бедные женщины семенили, обернув ноги грязными тряпками.

Вспомнилось, как быстро Нахид предложила тогда свою дружбу, — это означало, что она в первую же встречу думала о моей полезности. Но это не объясняло, почему она столько времени провела со мной после того, когда нас поймали на чавгонбози, и того внимания, которое она щедро дарила мне на уроках письма. Нахид доверяла мне свои самые драгоценные секреты, и однажды она мне даже сказала, что верит — мы всегда останемся подругами. Но сейчас я понимала, что она думала о таких бедных деревенских девушках, как я: мы будем довольствоваться ролью бархатного ковра под ее ногами.

Начинало моросить. Мужчина поднял раскрытые ладони к небу, произнося хвалу Господу за дар влаги. Пока я торопливо спускалась с моста, капли стали крупнее и забили больней. Я представила себе

Нахид в уюте ее дома. Наверное, она смотрит на дождь, падающий во внутренний дворик, из теплой комнаты, и ни одна капля не расплывется темным пятном по синему шелку ее платья. Если у нее мерзнут ноги, служанка согреет их своими ладонями. Я натянула чадор поплотнее, чтобы защититься от дождя, но напрасно: домой я пришла мокрой и промерзшей до костей.

Когда матушка увидела меня, глаза ее расширились в тревоге. Она стащила с меня мокрые одежды и укутала в толстое шерстяное одеяло. Меня так трясло, что она обхватила меня, не давая одеялу сползти. Озноб не прекращался до самого призыва на вечернюю молитву.

Следующие несколько дней я чувствовала себя опустошенной. Тело было грузным до неподвижности, глаза саднило, и время от времени я хлюпала носом. Матушка суежилась вокруг меня и пичкала черными травяными отварами, думая, что я больна. Когда Ферейдун снова прислал за мной, я пришла к нему с таким тяжелым сердцем, что не смогла скрыть этого.

— Что случилось? — поинтересовался он, войдя в комнату.

Усевшись на подушку рядом со мной, он погладил меня по лицу, а я опустила голову ему на плечо, словно больной ребенок.

— Мне грустно, — ответила я.

Он сдернул тюрбан и запустил его через всю комнату, чтобы рассмешить меня. Мне удалось выдавить слабую улыбку.

— Грустно из-за чего?

— Из-за всего.

Я не хотела говорить ему, что случилось у меня с Нахид, из страха, что он может в отместку устроить ей выволочку.

— Почему?

Вряд ли я смогу заставить его понять.

— Разве у тебя не случилось ничего, что печалило бы тебя?

— В общем, нет, — сказал он. — Временами я волновался, что меня убьют в бою, или что отец может пойти против меня, или что я могу скоро умереть.

— Я этого всегда боюсь.

— Чего, скоро умереть? Ну, только не такая молодая женщина...

— Нет, что другие люди могут умереть или что все кончится.

Ферейдун секунду глядел в сторону; я видела, что он не собирается давать мне никаких обещаний о нашем будущем, даже о нашем сикэ.

— Я знаю, как тебя развеселить, — сказал он.

Обхватив меня, он расцеловал мое лицо, а потом долго-долго держал меня в объятиях. Когда мне захотелось пить, он поднес чашу молока с вином к моим губам и я медленно выпила ее. Его нежность, которая мне доставалась так редко, согревала.

Он спросил, хочу ли я его или просто останусь в его объятиях. Мне хотелось и того и другого, поэтому он сначала дал мне одно, а потом — другое. Впервые масло в лампах выгорело досуха, и они потухли. Мы переплелись, как шелк и бархат, и когда все кончилось, я тихо лежала у него на руке, а он гладил мои волосы. Потом мы немного поспали.

Проснувшись я первой, потому что голова моя была занята мыслями. О том, как я попала в Исфахан, как Нахид показала мне героиней матушкиных сказок. Как я впервые встретила с ней и как она сказала о своих родителях: «Они сделают все, чего я захочу». Как я подумала, что девушка вроде нее будет всегда получать то, что захочет. Как я надеялась, что мы с ней останемся подругами навечно, и как я любила ее и жаждала ее прощения.

Не просыпаясь, Ферейдун обнял меня. Вина, которую я чувствовала оттого, что причинила боль Нахид, смешалась на мгновение с радостью от его объятий. Я принялась целовать его шею, а когда он проснулся, ощутила тот самый голод. Набросившись на него, я словно пыталась его съесть. Мы были как лев и львица, свирепые и игривые, и глаза Ферейдуна исполнились благодарности.

— Никогда не знаешь, чего от тебя ждать, — сказал он, — разве что переполненности наслаждением, и каждый раз все по-другому.

— И я тоже не знаю, — ответила я, гордая тем, что могу.

Может, учусь я медленно, но, в отличие от Нахид, я наконец поняла, как это делать хорошо. А сейчас, в ночной темноте, когда наши тела смешали свой пот, мое сердце открывалось Ферейдуну. Я повернулась на бок и заглянула ему в лицо.

— Хочешь знать, почему я была грустна сегодня вечером?

— Нет, — сонно отвечал он.

— Я ходила повидать Нахид. Она знает.

Он открыл глаза и посмотрел на меня:

— О сикэ?

— Да.

Я ожидала, что он будет потрясен, однако он зевнул и почесал бороду, а потом его руки пропутешествовали от груди к бедрам. Когда он нашел то, что искал, слабая улыбка приподняла уголки его губ.

— И что она сказала? — спросил он, растирая находку.

— Она не слишком рада, — ответила я.

— Ну и что?

Его слова не были холодными, они были просто равнодушными. Но сквозь мое тело они прошли ознобом, будто я проглотила в жару кусок льда. Прежде чем я успела ответить, Ферейдун поймал мою руку и заставил помогать себе. Я не хотела и пыталась освободиться, поскольку ждала, что он скажет еще что-нибудь. Мы боролись, и наконец мне удалось освободиться; я откатилась на край постели. Ферейдун бросился на меня, и я увидела жестокость в его глазах, напомнившую мне Нахид. В них было требование молчания и настояние, чтобы я уладила его немедленно, без всяких слов.

Я подумала, что мои глаза выдавали нежелание — самое худшее, что я могла сделать, ведь Ферейдун считал это игрой. Он раздвинул мои колени своими и взял меня без разговоров. Я жалко вскрикнула, не успев подготовиться, и с болезненным изумлением увидела, как затрепетали зрачки Ферейдуна от дополнительного наслаждения.

Я решила показать ему, что сердита. Я позволяла преувеличенным стонам наслаждения срываться с моих губ, хотя глаза выражали только скуку, и стискивала его бедра своими с фальшивой чувственностью. Я ожидала, что мое поддельное удовольствие остановит его, даже устыдит. Вместо этого, к моему изумлению, он напрягся, словно палаточный шест. Я билась всем телом, стараясь вытолкнуть его или даже сбросить, но моя ярость только усилила его пыл. Совсем как в наши ранние времена, он не обращал внимания, что я думаю или чувствую. Все его тело доставляло мне удовольствие, и он упивался этим, а если я сопротивлялась, он наслаждался и сопротивлением. Единственное, что наводило на него скуку, была неподвижность. Временами он стискивал мою спину и рычал, как лев, уверенный, что я разделяю несокрушимость его наслаждения.

Когда он скатился с меня, его тело блестело от пота и удовлетворение смягчило взгляд; ладонью он похлопал меня по щеке. Совсем как всадник, похваливший лошадь, что взяла трудное препятствие, но одновременно напоминающий ей, кто главный.

— Хорошая девочка, — сказал он. И через мгновение уже храпел.

Я лежала рядом, голова горела от унижения. Неужели мое единственное назначение — ублажать Ферейдуну и при этом все равно, в каком состоянии мои мысли? Я вылезла из постели, не заботясь о том, что разбужу его, и в одиночестве уселась на подушку в другом конце комнаты.

Ферейдун всхрапнул и разбросал руки и ноги, заняв постель целиком. Подушки отлетели, кроме той, что была под ним. Во мраке мне виделось мое замужество таким, каким оно было: для Гордийе — способом продать ковры, для моей матери — стать чуть спокойнее за наше будущее, а для меня — получить мужчину, не имея приданого.

Я отерла лицо там, где по нему похлопал Ферейдун. Мне хотелось любить мужчину так глубоко, как Нахид любила Искандара, пока я не поняла, что ее любовь держится только на мечтах. Я искала тогда в себе следы любви к Ферейдуну, но не нашла никаких ее корней. А теперь я знала, что их никогда и не было.

Сова заухала неподалеку от дома, накликаая тьму. Я не могла иметь права даже на половину постели Ферейдуну. Улегшись у стены, я обхватила плечи руками, удерживая себя в ночи. Ферейдун никогда не замечал, что я ушла. На рассвете я заставила себя перебраться на тюфяк и свернуться там, потому что не смела разгневать его своим отсутствием. Когда он проснулся, я притворялась спящей, пока он не ушел.

На следующий вечер я сходила в хаммам, чтобы найти Хому, не зная, кому еще можно довериться. День был ветреный, и ветер оплетал чадором мои ноги, швырял пыль в глаза даже сквозь пичех. Все еще стоял холод, и саманные дома возле хаммама словно жались друг к другу на ветру. У мальчика сорвало повязку с головы, он погнался за ней вместе с заботливой матерью. Ветер выл ровным, однообразным звуком, словно преследуя их по дороге.

Облегчением было зайти внутрь. Я отряхнула пыль с чадора и поискала Хому, пока не увидела ее в раздевалке хаммама, где она

прибиралась, прежде чем открыть ее для женщин. Похоже, я выглядела зеленой, как греческий пажитник, потому что она тут же раскрыла мне объятия и держала меня, пока я не призналась во всем. Не помню, чтобы мне случалось говорить так много. Когда я закончила, было очень тихо, и Хома по-прежнему обнимала меня, как ребенка. Она отвела меня к сиденьям, расправила мои ноги и пристроила мне подушечку под голову. Потом помазала тело розовой водой, чтобы придать мне сил.

— Ты знала? — спросила я.

— Подозревала, — сочувственно отвечала она. — Но не догадывалась, кто этот мужчина.

— Я поступила неправильно?

— В глазах Аллаха ты в законном браке, — спокойно ответила она.

— Но все же?

— А как ты думаешь?

Я вздохнула и глянула в сторону.

— Бедное дитя! — воскликнула она. — Вижу, как ты сожалеешь. Будь ты моей дочерью, я сказала бы Нахид и ее родителям о твоём сигэ еще перед ее свадьбой. Конечно, они бы все равно могли выдать ее за него, ведь разве у богатых мужчин нет наложниц? Но тогда бы они тебя не винили и ты могла сохранить дружбу.

Глубоко в душе я ощущала, что она была права.

— Хома, что мне делать? — спросила я.

Она вздохнула.

— А что теперь можно сделать? Все узнают правду, так что и ты оставайся замужем...

— Зачем?

— Потому что ты больше не девственница. Прежде ты была бедна, однако по крайней мере могла предлагать это. А что у тебя есть сейчас?

Разумеется, она была снова права.

— А что, если Ферейдун не продлит сигэ?

— Тогда ты должна остаться одна.

Я была слишком юна, чтобы вообразить себе, как провожу остаток дней одна, без детей. Это было даже хуже того, что перенесла моя мать.

— Не хочу быть одна, — горько сказала я.

Хома погладила мою руку:

— Дитя мое, не страшись. Если твой сигэ закончится, у тебя все равно будут преимущества.

— Преимущества?

Хома улыбнулась:

— Если Бог за тебя, и да будет так вечно, ты найдешь лучшего человека и снова выйдешь замуж. Если нет, ты сможешь опять сама заключать контракт на сигэ. Никто больше не скажет тебе, за кого выходить.

Об этом я не думала.

— Но Нахид сказала мне, что ее мать запретила бы нашу дружбу после моего сигэ.

Хома закрыла глаза и опустила голову в знак согласия.

— Это не самое почетное положение. Вот почему большинство разведенных женщин, становящихся сигэ, подписывают контракт втайне.

— А почему тогда подписывают?

— Из-за денег, удовольствия, детей или надежды, что в один прекрасный день мужчина сделает ее законной женой.

— Но ведь люди будут считать меня низкой?

— Могут.

Никто из тех, кому я доверяла, не объяснил мне так просто, что моя честь замарана. Должно быть, лицо мое отразило эту муку, потому что Хома охватила мои скулы ладонями.

— Азизам, сокровище мое, не говори никому, но я ведь и сама... — прошептала она.

— Почему?

— Я влюбилась в мальчика, когда мы оба были еще совсем юными, но наши семьи не соединили нас. Когда мой муж умер, а мои дети выросли, моя первая любовь и я пожелали соединиться. Так как он едва мог прокормить свою жену и восемь отпрысков, мы не могли пожениться, как обычно.

— Кто-нибудь об этом знал?

— Нет, мы решили, что разумнее сохранить это в секрете.

— Он давал тебе деньги?

— Только если я нуждалась, — отвечала она.

— Сколько это продлилось?

— Десять лет, пока он не умер, — сказала она. — Я благодарю Бога, что у нас есть право на сигэ, потому что это было мое единственное познание любви.

— Тогда почему ты никому об этом не говоришь?

— Многие из приличных семей считают это недостойным женщины, — вздохнула она. — Да ведь и ты хотела бы стать постоянной женой и главой дома, так?

— Разумеется, — сказала я, — но у меня не было выбора.

— Часто нам приходится жить с несовершенством, — ответила она. — Когда люди переживают из-за пятна на полу, что они делают?

Несмотря на горечь, я рассмеялась, потому что знала, на что она намекает.

— Застилают его ковром, — сказала я.

— От Шираза до Тебриза, от Багдада до Герата иранцы поступают именно так.

Я сидела молча несколько секунд, потому что в этом была самая суть. Я смотрела на Хому, которая согревала мою руку в своих.

— Хома, что мне делать? — снова спросила я. — Что со мной будет?

— Азизам, еще рано говорить, — отвечала она. — Сейчас ты по крайней мере осознала, что тебе не повезло и что ты натворила ошибок, совсем как Харут и Марут. Эти двое хотели чего-то так сильно, что поддались искушению и предали Высочайшего Творца Всего Сущего. Ты тоже хочешь чего-то, но уже поняла, что не всегда можно исполнить свои желания. А сейчас ты жаждешь изменений к лучшему. Соверши их так, как сумеешь, и будь как плод финиковой пальмы, что становится все сладостнее, хотя почва, на которой он растет, камениста и скудна.

Пока никто больше не появился в хаммаме, Хома вымыла меня и растерла, как делала матушка, расчесала мне волосы, завернула меня в полотенце и накормила зрелым маковым семенем, чтобы я задремала. Я растянулась на тюфяке в нише и крепко уснула. Старая сказка о Харуте и Маруте пришла в мой сон вместе с решимостью ни в чем не быть как они.

Сначала не было, а потом стало. Прежде Бога не было никого.

Жили-были два ангела по имени Харут и Марут. Когда все небесные дела заканчивались, одним из их любимых занятий было подглядывать за людьми. Зная, как щедра земля, они полагали, что жить в согласии с Господними законами так же легко, как вытягивать рыбу из вод залива. Но куда бы ни глянули, они видели, как люди воруют, лгут, мошенничают, блудодествуют и убивают. Посмотри сюда: видишь этого человека в Константинополе, помышляющего заманить дочь соседа в свои нечистые объятия? Посмотри туда: видишь женщину в Багдаде, настаивающую отраву, чтобы влить в еду своему богатому отцу? Месяцы и годы Харут и Марут наблюдали за этим. Всякий раз, как человеческие существа совершали падения, ангелы издавали звуки, похожие на звон колокольчиков.

Однажды Господь призвал Харута и Марута перед лицо Свое и объявил, что посылает их на землю с особым поручением. «Войдите в тела человеческие, — повелел Он, — и покажите всем ангелам небес и всем человекам вблизи, как жить справедливой и достойной человеческой жизнью».

Кончики крыльев Харута и Марута засияли от оказанной чести. В мгновение ока приняли они человеческий облик и воплотились в священном городе Мешихеде, вечно полном паломников. Харут обернулся высоким красивым бородачом с пустыми карманами. Марут получился ниже и коренастее, с приплюснутым носом, но его кошелек позванивал золотыми аббаси.

Они оказались во дворе самого святого места во всем Иране, храма имама Резы, сверкавшем крохотными зеркальцами, словно драгоценными камнями. Ощутив их духовные сущности, паломники собрались вокруг них и начали задавать вопросы. Поскольку ангелы многое знали о путях Господних, то служение давалось им легко. Их мудрые ответы были словно сладостный дождь с небес, успокаивающий и плодоносный.

Перед закатом Марут вдруг ощутил колющее в животе. Не зная, что это такое, он подивился странному чувству. Неужели Бог послал его на землю с той же целью, что и Иисуса? Ему что, тоже придется умереть? Мысль, что придется терпеть эту телесную боль и дальше, заставила его содрогнуться и схватиться за живот.

Заметив, как он расстроен, друг его Харут вскочил, но слишком быстро. У него потемнело в глазах, и он рухнул на землю. Преданные паломники подняли их обоих и отнесли в тенистые аркады мечети. «Весь день эти двое забывали поесть и напиться, — сказал один из паломников. — Словно они уже оставили свои здешние тела и воспарили в небесные сферы».

Чувствительная паломница принесла им еды. Подцепив кусок жареного баклажана на ломоть лепешки, она осторожно вложила снесь в рот Маруту. Глаза его заматались, и он прикусил ее пальцы. Он вырвал у нее остаток хлеба и баклажана и съел со скотской жадностью, поразившей ее до отвращения. Когда паломница подала воды Харуту, он проглотил ее с громким хлюпаньем и потребовал еще. «Кто эти люди?» — подумала она.

После заката большинство паломников разошлись по своим кельям. Из милосердия женщина решила остаться с двумя этими людьми, куда к ним не вернутся силы. Поев и напившись, Харут и Марут почувствовали себя лучше. К восходу луны они пристальнее взгляделись в женщину, помогавшую им. Лицо у нее было белое, а щеки словно яблоки. Темные глаза окаймляли ресницы, прелестные, как у голубки. Харут пожелал приподнять ткань, скрывавшую ее волосы. Марута заинтересовала тайна ее живота, без сомнения мягкого и круглого, словно свежесвепеченный хлеб.

Видя, что они пришли в себя, женщина встала, собираясь вернуться к себе на ночлег. «Подожди, о милосердная паломница, — взмолился Харут голосом, которого не узнал сам. — Пожалуйста, раздели с нами еще несколько мгновений. Ты нам нужна».

Они словно дети, подумала женщина, однако села с ними опять, решив уйти сразу же, как они успокоятся. Где могли вырасти такие странные мужчины? Чтобы провести время, она спросила: «Какой город породил вас?»

Харут и Марут неудержимо расхохотались, хрипя и задыхаясь, словно, подумала она, дикие свиньи. Похоже было, что прежде они никогда не смеялись. Марут лежал лицом в землю, пока не отсмеялся. Встал он со щеками и носом, выпачканными грязью.

«Если мы и скажем тебе, ты все равно не поверишь», — объяснил Харут, а Марут воздевал руки к небесам.

Наверное, они из какого-то священного ордена, где люди так глубоко духовны, что забывают свои земные корни, решила женищина, но в глазах ее было сомнение. «А в самом начале где ваши матушки дали вам жизнь, где вы жили?»

Харут и Марут поняли, что с ними обращаются как с малыми детьми или простофилями. Новое чувство возникло в каждом из них, такое же незнакомое, как и другие. Щеки Марута побагровели, а Харуту свело спину и челюсти.

«Мы из самой высшей сферы», — сказал Харут, показывая вверх.

«И мы это можем доказать», — прибавил Марут.

Женищина смотрела недоверчиво: «А как вы это можете доказать?»

«В начале дня ты неотрывно слушала каждое слово, которое мы изрекали, — сказал Харут. — Разве мы не отличались от других мужчин?»

Женищина поразмыслила над тем, какими они показались ей утром. «Несколько часов назад я бы в это поверила, — согласилась она. — Казалось, вы уже не живете в ваших телах».

Харут и Марут видели, как ее губы запнулись на слове «телах». Каждого пронзило желание дотронуться до нее и погладить ее теплый живот и бедра. Может быть, если удержать ее здесь, она будет щедра к ним, как иногда бывают паломницы...

«Наши тела нам в новинку», — признался Марут.

Женищина отмахнулась ладонью, словно пытаясь отогнать их. И снова встала, чтобы уйти.

«Погоди! — воскликнул Марут. — У меня есть доказательства».

«Ты это уже говорил».

«Я могу сказать тебе то, что не известно ни одному живому существу на земле».

Женищина спокойно ждала и не казалась заинтересованной. Харут положил руку на сердце, чувствуя раскаяние оттого, что они собирались сделать. К его удивлению, он отыскал способ унять его так же быстро, как оно возникло.

«Цена того, что мы знаем, — поцелуй», — сказал Марут.

Харут рассердился, решив, что его друг пытается обойти его. «Каждому по одному», — свирепо глянув, сказал он.

Женищина переступила с ноги на ногу. «Что же такое вы знаете?» — спросила она.

«Мы знаем о Боге», — сказал Марут.

Женищина прошла много фарсахов пешком, чтобы достичь Мешихеда. Каждый день она молилась по нескольку раз и старалась отворить божественному свое сердце. Неужели послание Небес может оказаться прямо перед нею в облики двух мужчин-мальчишек?

«Так согласна?» — поторопил Харут.

«Возможно», — сказала она, чуть улыбнувшись.

Угрызения совести пылали в груди Харута, но взгляд на ее ровные белые зубы меж алых губ помог одолеть это чувство.

«Садись рядом, — пригласил он, хлопнув по синим плиткам, — и мы расскажем тебе то, что знаем только мы».

Она уселась между Харутом и Мару том, тесно прижавшихся к ее бедрам. Харут ощутил некий восторг в своих чреслах. На секунду ему захотелось бросить Мару та в колодец, чтобы остаться с паломницей одному.

«Говори, — сказала паломница. — Чему ты можешь научить меня о Боге, Сострадательном и Милосердном?»

«Его девяносто девять имен уже отлично известны, — сказал Марут. — Единственный человек, знавший сотое имя, был святой пророк Мухаммед — пока мы двое не сошли на землю».

«Вы полагаете, что знаете Великое Имя? — спросила женищина. — Я вам не верю».

«Сперва поцелуй», — одновременно сказали Харут и Марут.

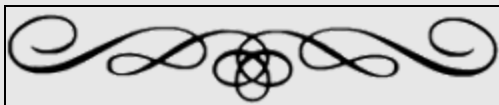
«О нет, — сказала женищина. — Слышала я такие обещания. Сначала имя».

Харут и Марут нагнулись поближе, каждый приблизил губы к ее уху. Набрав воздуха в грудь, оба шепнули ей Великое Имя. Разум женищины наполнился величавым звуком, гремевшим в ее ушах. Если бы она могла подумать о Харуте и Маруте, то больше не сомневалась бы в них. Но все ее мысли обернулись эхом этого звука, и тело свое она ощутила прохладным и легким, точно воздух. Все ее желания исполнились в одно мгновение, и она стала планетой в третьей надземной сфере, откуда она теперь сияет вечным и чистым светом.

Харут и Марут тоже перенеслись. Они оказались подвешенными за лодыжки в глубоком колодце, головами к воде. Днем их палило солнце, иссушая губы и обжигая подошвы ног. Гортани их высыхали, растрескивались, а они смотрели на чистую воду, что была на расстоянии вытянутой руки. Ночами они дрожали от холода и кожа их набухала мурашками. Если они говорили, то вспоминали, каково это — быть ангелом и ничего не ощущать.

Иногда, когда звезды в небесах приходят в нужное положение, они видят ее. Она льет свет своих прекрасных сострадательных глаз на землю, и они любят ее и жаждут ее в своем ничтожестве.

ГЛАВА ШЕСТАЯ



На следующий день я стояла в кухне, помогая матушке очищать травы для ее снадобий, когда в калитку для мужчин дважды стукнули.

— Иди посмотри, кто там, — сказала кухарка; я прикрылась чадором и пичехом, отворила дверь и увидела одного из слуг Ферейдунa, протянувшего мне письмо для Гостахама.

Уверенная, что в покрывалах он меня не узнает, я спрятала письмо и сказала кухарке, что это был торговец, предлагавший горные травы для тушения мяса — я знала, что они нам не нужны.

Уйдя в нашу с матушкой комнату, я взглянула на печать: она принадлежала Ферейдуну. Мое сердце забилося чаще. Я показала Ферейдуну свое недовольствие, и теперь наверняка он сел и написал мне, что все кончено. Подняв пакет к масляному светильнику, я тщетно пыталась разобрать, что за письмо он скрывает. Я твердила себе, что письмо надо отнести прямо к Гостахаму, но не могла сдвинуться с места. Даже если письмо не мое, известия в нем обо мне. Я медлила, а потом сломала печать.

На то, чтобы прочесть письмо, ушло много времени: выучилась я еще плохо и многие слова просто не могла понять. Но я обнаружила несколько раз свое имя и поняла, что Ферейдун предлагал сигэ еще на три месяца, основываясь на том, что доволен мной. Совершив непростительное деяние, вскрыв почту, адресованную Гостахаму, я спрятала письмо в своем поясе. В этот раз мне надо было подумать о предложении, не дожидаясь советов семьи. Теперь, когда я больше не была девственницей, настала моя очередь решать, чего я хочу. Хома сказала, что это мое право.

Катайун и Малеке в то утро пришли чуть позже, чем обычно. Катайун была свежа, как всегда, а у Малеке были темные круги вокруг глаз.

— Как твой муж? — спросила я.

— Все болеет, — отвечала она. — Целую ночь кашлял.

— Может, чуточку кофе, чтобы взбодриться? — предложила я.

Она благодарно приняла дымящуюся джезве, которую я поставила рядом.

Когда мы уселись за работу, я стала называть цвета, одновременно думая о предложении Ферейдун. Мое тело, я чувствовала, говорило «да». И дня не прошло, а я снова жаждала его рук, несмотря на то что он бил меня; и я уже придумывала тысячи новых способов доставить наслаждение ему и себе. Я стала как пожиратели опиума, которые мучаются, пока не найдут свою дневную дозу черного липкого дурмана, а потом растекаются по лежанкам, разбросав ноги, с блаженством в глазах.

Я говорила себе, что лучше всего оставить дело как есть. Сейчас, когда Нахид уже все знала, мне больше не надо было держать свой сигэ в секрете. Она будет ненавидеть меня и моих детей, но со мной будет внимание Ферейдун, и, может быть, я смогу жить счастливой и отдельной жизнью. Может, я рожу мальчиков, и хотя у меня не будет прав на наследство, они позаботятся обо мне в старости.

Если я приму предложение Ферейдун, это будет также и мягкая месть. Я стану словно колючка, напоминая Нахид, что Ферейдун женился на ней без любви, а из-за власти. Когда по ночам ее супруга не будет, она станет думать, как он упивается мной, и мучиться.

Так я думала до самого обеда, когда Гордиейе пришла поговорить со мной. Она была изысканно одета — в новый желтый халат и зеленый кафтан с изумрудом, который Гостахам когда-то подарил ей, сиявшим над ее грудью, словно маленькое море.

— Я только что получила приглашение посетить мать Нахид, — сказала она.

— Да будет ваш приход благим, — отозвалась я, скрывая усмешку.

Чем пытаться рассказать ей, лучше предоставить все Людмиле.

— Ты не хочешь составить мне компанию? — Гордиейе наконец-то была довольна мной и показывала это через маленькие подарки. — Мы бы обсудили заказ на ковер, я знаю, это тебе интересно.

— Вы так добры, думая обо мне, — ответила я, — но я должна присматривать за Катайун и Малеке, которым я нужна тут, чтобы они могли завершить свою работу.

— Ну тогда ладно, — сказала она, улыбнувшись.

Я знала — ей нравилось, когда я оставалась со своей поденщиной.

Продолжая нараспев выкрикивать цвета для моих вязальщиц, я доработала до перерыва, когда Малеке и Катайун смогли поджечь узлы деревянным гребнем. Малеке нажала слишком сильно, и гребень треснул; она уставилась на него так, словно могла сломаться сама. Я всегда могла понять, что она чувствует, взглянув ей в глаза, говорившие куда больше, чем она.

— Не страшно, — сказала я, хотя и сама с трудом могла позволить себе такую потерю. — Куплю новый.

Малеке ничего не сказала, но я знала, она благодарна, что ее не заставили платить за гребень.

Когда они с Катайун ушли, я принялась вязать сама. Я хотела быть здесь, когда Гордийе вернется, и увидеть ее лицо. Через час она пришла, бледная и злая, с размазанной у глаз сурьмой. Она ткнула мне в лицо письмо. Что ты об этом знаешь? — спросила она, и это был почти визг.

— О чем об этом?

— Кобра велела мне подождать снаружи, а потом Людмила сунула мне это письмо и захлопнула дверь перед моим носом.

Я изобразила изумление:

— С чего она так?

Гордийе уселась рядом со мной на подушку.

— Должно быть, они разузнали, — сказала она, хлопнув меня по плечу письмом. — Тут отменяется заказ на ковер. Ты понимаешь, что это для нас значит?

Гостахам потратил гору денег на рисунок узора и на заказ целой кладовой шелка, окрашенного по его особым заказам. Ковер невозможно будет продать еще где-то, потому что он украшен мотивами, значащими что-то только для Ферейдуна и Нахид. Я не думала об этом, когда мы поссорились с Нахид.

— Какое несчастье! — сказала я, и так я думала.

Да уж, всем до единого в доме не поздоровится, когда Гордийе переживает из-за денег. А ведь мы только что снова начали есть варенье.

Гордийе ткнула в меня пальцем:

— Когда ты в последний раз видела Нахид?

— Всего несколько дней назад, но она не упоминала о ковре, — сказала я.

Хоть это было правдой.

— Тогда как ее родители узнали?

— Не знаю, — отвечала я, стараясь казаться испуганной. — Ой, что подумает Нахид... Родители ей расскажут?..

— Да уж конечно, — сказала Гордийе. Голос ее стал масляным и почти нежным. — Наверняка ты или твоя матушка рассказали кому-то.

— Я никогда и ни с кем не обсуждала свой брак, — ровным голосом ответила я; Гордийе явно не поверила мне. — Я боюсь... — Может, удастся вызвать ее сочувствие. — Только бы Нахид не позвала меня прийти... Думаю, тебе больше не придется об этом волноваться. Гордийе ушла в свои комнаты, сославшись на головную боль. Я полагала, что буду долго смаковать ее унижение, но мои мысли вернулись к Людмиле. Она всегда была добра ко мне, а теперь она нас презирала. Как жаль, что моя страсть к Ферейдуну заставила меня согласиться молчать. Что мне теперь делать с его предложением? Еще утром я хотела принять его. Теперь я не знала. Мое сердце повернулось сначала в одну сторону, а потом в другую.

Как только у меня выдалась свободная минута, я отправилась на рынок заменить гребень, сломанный Малеке. Я шла мимо рядов торговцев коврами и красильщиков шерсти, чтобы попасть в ту часть базара, где продавались инструменты ковроделов — лезвия для выравнивания ворса, разделители бахромы и гребни. Проходы были темные и узкие, заваленные мусором.

Когда я отыскивала нужную лавку, то услышала, как кто-то играет надрывную мелодию на кяманче. Я тихо подпела — мотив казался странно знакомым. Потом я поняла откуда и повернулась, увидев молодого музыканта Ферейдуна, в одиночестве сидевшего на камне, перебирая струны. Концы тюрбана были обтрепанными, а лицо грязным.

Приблизившись к нему, я сказала:

— Салам. Это я.

— Кто такой «я»? — кисло спросил он, не поднимая головы.

Я оттянула пичех, чтобы он увидел мое лицо.

— А, — сказал он. — Ты одна из этих его...

— Что ты хочешь сказать? — Я была удивлена его грубостью.

— Ничего, — ответил он, словно эта тема его раздражала.

Я снова закрыла лицо.

— Что случилось с тобой? Мне казалось, ты один из его любимчиков.

Он взял на кяманче визгливую, словно кошачий вопль, ноту, и губы его сложились в саркастическую усмешку.

— Он меня вышвырнул.

— Почему?

— Я был слишком нахален, — объяснил он. — Ему это нравится, пока не переходишь границу.

Визгливые ноты, которые он извлекал, раздражали слух.

— Перестань, — сказала я. — Что будешь теперь делать?

— Не знаю, — ответил он. — Мне некуда идти.

В его красивых, с пушистыми ресницами глазах был страх, гладкий подбородок дрожал. Он был почти ребенок.

Вытащив монету, на которую собиралась купить гребень, я положила ее в его чашу для подаяний.

— Да будет с тобой Господь, — сказала я.

Он поблагодарил меня и, когда я пошла прочь, заиграл нежную, печальную мелодию. Она напомнила мне музыку, которую он играл в первую ночь, которую я провела с Ферейдуном. Как много изменилось с тех пор и для меня и для юного музыканта! Как неожиданно он оказался на улице!

Передумав делать покупки, я повернула домой. По пути с базара я обычно шла мимо маленькой мечети, которую хорошо помнила. Я вошла в нее и тихо села в одной из устланных коврами боковых комнаток, слушая женщину, читавшую Коран. Она как раз начала одну из моих любимых сур, о двух морях, одно из которых сладкое и насыщающее, а другое соленое, но в обоих водится красивая крупная рыба. Слова успокоили мое сердце, и, когда я услышала призыв с минарета, то встала и помолилась, касаясь лбом кистей ковра. Закончив, я снова уселась на ковер, слушая с закрытыми глазами ровный голос читавшей. Я думала о Ферейдуне и Нахид, об узлах нашей с ней дружбы, которые в моей памяти вдруг превратились в путаную бахрому. Я по-прежнему не знала, что делать с предложением Ферейдуна, а мой сигэ скоро истекал.

Какая бы мысль ни терзала меня в нашей деревне, отец почти всегда замечал это, наблюдая за мной. Что бы он сказал мне сейчас? В мыслях я отчетливо видела его таким, каким он был в нашу последнюю прогулку вдвоем, с посохом в руке. Он поднял его, словно меч. «Открой глаза!» — сказал он, и голос его прогремел во мне.

Я повиновалась и словно впервые увидела ковер под ногами. Цветы его вздрагивали, будто собираясь распуститься в звезды, а птицы, казалось, готовились взлететь. Все очертания, к которым я так привыкла, — желтые изразцовые стены мечети, купол, уходящий ввысь, даже самый пол — все теперь казалось изменчивым, как частицы песка в пустыне. Стены задрожали и вспучились; землетрясение, подумала я; но никто больше не заметил этого, и все же земля, стены и потолок больше не были твердыми. Я тоже начала утрачивать телесную суть, и на блаженный миг чувство, будто я уступаю чему-то, охватило меня, растворяя меня в совершенном ничто.

«Бабб! — молча воскликнула я. — Что мне делать?»

Он не ответил, но его любовь пронизала мое тело. Я ощутила радость от его близости, в первый раз после его смерти. Вспомнился день, когда он, забыв о болезни, показывал мне водопад и женщину с могучими руками, спрятанную за ним. Его любовь никогда не рождалась из его собственных интересов, она не зависела от того, доставляла ли я ему удовольствие. Узнать его любовь было все равно что узнать, какой должна быть любовь. Она была чистой и ясной, как река, и я хотела отныне чувствовать себя такой же. Хизр, пророк Господа, показывал заблудившимся в пустыне паломникам дорогу к воде; теперь мой отец показывал мне путь.

Колебания вокруг меня замедлились и утихли. Стены снова обрели твердость; ковер стал самым обычным ковром. Я коснулась ворса, чтобы соединиться вновь с землей, потом встала на подгибающиеся ноги. Женщина, читавшая Коран, заметила, как меня шатает, и предложила мне помощь.

— Осторожнее, ты выглядишь ослабевшей, — сказала она.

— Спасибо, мне уже намного лучше, — ответила я.

Когда я вышла из мечети, шаг мой был тверд и решение насчет Ферейдуна цвело в моем сердце.

Найдя матушку, я рассказала ей, что случилось в мечети. Голос отца все еще гремел во мне.

— Он сказал мне: «Открой глаза!»

— «...и взгляни на правду», — добавила она, завершая стихи, которые он любил цитировать.

Она просто светилась радостью.

— Как чудесно, что он до сих пор настолько с тобой, — глаза ее затуманились, — и со мной тоже...

— Биби, он помог мне принять решение, — сказала я, зная, что она выслушает, если это будет от него. — Я прекращаю сигэ.

Несмотря на рассказанное мной, она была потрясена.

— Что? И разрушишь наше будущее?!

— Он не будет всегда хотеть меня, биби. Однажды ему наскучит и он найдет другую.

— Ну и почему бы не получать деньги, покуда его внимание не иссякло?

— Из-за родителей Нахид. Теперь они нас презирают. Ясно дали это понять, отменив заказ на ковер.

Матушка вздохнула:

— У мужчины должны быть сигэ. Они приучаются нести это бремя.

Я помолчала.

— Ты говоришь совсем как Гордийе.

Матушка оскорбленно отпрянула.

— Кое-чего ты не знаешь, — мягко добавила я. — В нашу последнюю встречу с Нахид она грозила повредить любому ребенку, которого я понесу. Могу ли я жить с этим страхом?

Моя мать также прекрасно понимала, что во власти Нахид устроить такое.

— Вот скорпиониха, — сказала она. — Я всегда задумывалась, а в самом ли деле она тебе подруга?

— Знаю, — ответила я. — Ты была права. Но что же нам делать? — Матушка была в панике, увидев, насколько я серьезна. — Гордийе и Гостахам уже потрясены и несут серьезный убыток. Если ты оскорбишь Ферейдуна, они могут потерять даже больше. Что, если они рассердятся настолько, что вышвырнут нас?

В волосах матушки после смерти отца пробивалась седина, и морщины стали глубже. Ее слова ранили меня, потому что она любила меня больше всех. Когда отец умер, я стала ее единственной заботой и ее единственным утешением. Она опорожняла ради меня чашу своей жизни.

— Не обрекай нас на голод, — беспомощно попросила она, и я знала — она хочет, чтобы я отменила свое решение.

Я попыталась успокоить ее.

— Биби, ничего больше не изменится, — сказала я. — Так же буду здесь рабыней-ковровщицей и буду делать и продавать свои ковры.

— Ты сделала в деревне отличный ковер, а мы все равно почти голодали.

— Но теперь я знаю, как нанимать на работу других и как добиваться хорошей цены.

— Откуда? — спросила она. — Ты же не мужчина.

— Я могу найти мужчину, который поможет мне.

— Тебя обманут.

— Нет, если я найду доброго мужчину.

— Слишком опасно. Ковер нельзя есть.

— Но я отложу немного денег, и тогда у нас всегда что-то будет, даже если мои ковры не сразу продадутся.

Матушка застонала.

— Если бы твой отец был жив... Али, князь меж людьми, помоги нам, спаси нас, — начала она, призывая зятя пророка, что она всегда делала в тревоге и страхе. — Али, повелитель правоверных, молю о твоём благословении и защите...

Слушая ее молитву, я ощутила зуд раздражения. Матушка разочаровалась во мне и боялась признаться в этом даже себе. Будь я красавицей, я могла бы хорошо выйти замуж и уберечь ее от трудностей. Выдавая меня за Ферейдуна, она раскрыла свое отчаяние. Так как я не смогла принести достаточно, нам следовало брать сколько выйдет. Но я родилась с тем, чего моя матушка не ожидала. Мой дар ковровщицы и художницы прошел проверку в городе, и я удивила всех.

— Биби, — перебила я ее, — послушай. Мы не можем полагаться на других. Давай вместе сделаем нашу жизнь лучше. В сердце своем я верю, что именно этого хотел бы мой отец.

Матушка раздумывала несколько минут, потом прищелкнула языком.

— Совсем нет, — сказала она. — Он хотел, чтобы ты вышла замуж по-хорошему, а я мирно жила с тобой, обнимая внуков.

— Но я не вышла замуж по-хорошему, — сердито ответила я. — И чья в том вина?

Это было мое оружие, и я им воспользовалась.

Матушка покаянно дотронулась до моих щек.

— Ну хорошо, — сказала она, явно сдаваясь. — Ты ведь теперь взрослая женщина.

По ее ответу было ясно, что решение за мной. Я мысленно помолилась за отца — этим вечером он был моим союзником.

— Но я соглашусь с твоим решением прекратить сикэ, — продолжала матушка, — только если ты сделаешь одну вещь. В следующий раз, когда Ферейдун тебя призовет, скажи ему, что ты его любишь и желаешь, и спроси его: он хотя бы думал взять тебя в жены?

При мысли об этом я ощутила унижение. А меня он не хотел бы спросить? Кто я такая — просить богатого мужчину о постоянной связи?

— Женись он на тебе, наша жизнь стала бы сахарной, — заключила матушка. — Это единственное, в чем мы можем быть уверенными.

Я вздохнула.

— А ты не думаешь, что, если бы он этого хотел, давно уже предложил бы?

— Как ты сказала, нам надо пользоваться любой возможностью подсластить нашу жизнь.

Она была права. Я говорила себе то же.

— Сделаю, как ты сказала, — ответила я, хотя моя женская гордость корчилась от боли при одной этой мысли.

Хотя Ферейдун не получил от нас ответа на свое предложение, через несколько дней он прислал за мной. Он так жаждал увидеть меня, что отослал всех слуг до того, как мы поели, и принялся ловить мое ухо зубами. Я не чувствовала себя влюбленной, но решила изобразить, что хочу дать ему наслаждение. Вспомнив, как Гордийе заставляет Гостахама выполнять ее желания, я стонала в его объятьях.

громче обычного, потому что хотела, чтобы он был в хорошем настроении, когда я с ним заговорю.

Мы снова оделись, и слуги принесли еду. Когда мы поужинали, он задумчиво прилег с бокалом вина в одной руке и трубкой в другой. Я притворилась ищущей что-то.

— А музыки сегодня не будет? — спросила я, ожидая услышать, что случилось с мальчиком.

— Сегодня нет, — равнодушно ответил Ферейдун.

Словно для того, чтобы предупредить дальнейшие расспросы, он повернулся ко мне и умелой рукой развязал мой пояс.

— Недавно я получил интересные новости... — выдохнул он мне в ухо.

— И какие?

— Нахид сказала мне, что ее родители отменили заказ на наш свадебный дар — ковер, — сказал он. — Почему — не объяснила.

Он выглядел удивленным, словно не знал, что такие вещи случаются.

— Я знаю почему, — ответила я, наблюдая за ним.

— Правда? — спросил Ферейдун. Он снял с меня шальвары, скатал их и швырнул через комнату. — И почему?

— Они узнали про сигэ и решили наказать Гостахама и Гордийе, и меня тоже.

— Вот в чем дело, — легко отозвался он. — Как им не стыдно так сердиться, но они к этому привыкнут. Я ведь их зять.

— Полагаю, ты можешь купить ковер у Гордийе и Гостахама, — сказал я.

— Нет, если родители Нахид этого не хотят, — отвечал он. — Подумай, как оскорбительно это будет для них, если они увидят в нашей прихожей этот ковер! — Он захохотал, словно восхитившись этой мыслью.

Равнодушие Ферейдуну обозлило меня, но я понимала, что будет еще время явить свой гнев. Однако я решила проверить его дальше.

— Нахид очень уязвлена, — сказала я. — Думаю, что теперь она меня возненавидела.

Он стянул мою рубашку и белье, оставив меня нагой, в одной тонкой накидке на волосах.

Его слова меня подстегнули. Я снова вспомнила то, что сказала заклинательница: «Но ты и сама имеешь право покончить со всем...»

подавив свои чувства, я снова направила разговор к тому, что хотела обсудить. Я принялась легонько поглаживать его грудь.

— А когда ты был мальчиком, ты мог вообразить, что женишься на двух подругах? — Я старалась быть игривой, словно это большая шутка, в которой участвуем мы все.

— Я часто думал о женщинах и как буду их укладывать, — ответил он. — Отец прислал мне первую, когда мне исполнилось тринадцать. Но больше всего времени я проводил, занимаясь лошадьми, учась объезжать самых диких.

— Как интересно, — сказала я.

Вообразить его в степи, глядящим животных и без страха вскакивающим на их спины...

— А когда я была девочкой, — продолжила я, чувствуя, как это уже далеко, — я воображала, что выйду замуж за того, кто будет устилать мой путь розовыми лепестками. Так всегда говорил мой отец.

— Разве я этого не сделал? — смешливо фыркнул Ферейдун.

— Отец и представить бы не мог как, — согласилась я, потому что Ферейдун и вправду устлал меня розовыми лепестками.

Он снова захохотал и принялся раздвигать мои бедра.

Я продолжала говорить.

— Всегда хотела выйти замуж и вырастить столько детей, сколько мне дарует Господь, вместе со своим мужем...

От собственной смелости кружилась голова.

— Если Господь захочет, сможешь, — ответил он, не отвечая, с кем именно. Он раздвинул мои бедра шире. — Давай начнем их делать.

Я перекатилась на него, стараясь еще немного удержать его внимание.

— Должно быть, прекрасно иметь дочь, — сказала я.

— Она свет моих очей, — ответил он, ухватив мои ягодицы и сжимая их. — Я тоже надеюсь на многих детей, дочерей и, особенно, сыновей.

— А если твои сыновья будут от меня? — спросила я, глядя его грудь своими сосками.

— Это будет благословением, — сказал он с затуманивающимися глазами.

Теперь я продолжала гладить его ладонями, потому что наконец ощутила, где он чувствительнее всего, и он тихо застонал.

Я сделала глубокий вдох и задержала ладонь.

— Следует понимать это как заключение постоянного брака?

Его дыхание затруднилось, и он стал обмякать в моих руках.

— Не знаю, — осторожно проговорил он. — Все зависит от того, на ком еще захочет меня женить отец и будут ли у меня другие сыновья.

Он перекатился на бок и оказался сверху, на мне.

— А что, если мой сын окажется твоим единственным? — быстро спросила я.

— Может быть, — сказал он голосом, совершенно меня не убедившим.

Глядя мои груди, он принялся целовать меня, словно пытаюсь изменить тему. Я раздвинула ноги и призывно застонала, однако мысли мои были далеко. Возможно ли, чтобы мой сын стал единственным? Он может взять еще четыре жены, а я даже пока не беременна.

Когда Ферейдун перестал меня целовать, он помедлил.

— Я знаю, чего ты хочешь, — сказал он. — Не могу ничего обещать.

Мое сердце упало.

— А в будущем?

— Будущее ведомо лишь Аллаху, — отвечал он. Он снова нажал на мои бедра, раздвигая их. — Давай выпьем нашу чашу вина сегодня, как призывают поэты, пока мы еще не стали глиняными сосудами, разбитыми о землю.

Быть ли мне таким сосудом? Спросить я не успела. На следующие несколько часов я забылась в сладкой тьме и тепле. Он был со мной особенно нежен, словно стараясь возместить то, что не предложил мне постоянного брака. Я любила его руки, обнимавшие меня, ибо в тот миг чувствовала себя защищенной. Но когда мы закончили, я с горечью поняла, что он ничего мне даже не пообещал.

Утром, проснувшись раньше его, я долго смотрела на его лицо. Оно стало более пухлым, чем когда мы встретились впервые, и его живот тоже. Крупные красные губы пахли вином, табаком и мной. Складки вокруг рта стали глубже. С чего ему жениться на мне? Если он сделает это, придется оплачивать наши расходы, мои и матушкины,

до конца жизни. А сейчас он это делает лишь три месяца. Он всегда был рассудительным купцом, и сделка для него оказалась удачной.

После разговора с матушкой мне очень хотелось доказать ей, что я смогу продать мой ковер за хорошую цену. Я подгоняла Катайун и Малеке, чтобы они заканчивали работу, и втроем мы работали, словно упряжка ослов. Как только последний узел в верхнем левом углу был завязан, мы сгруппировались вокруг и с благоговением уставились на ковер, восхваляя Аллаха за Его дары. Что за чувство это было — завязать последний из тысячи тысяч узлов! Как поразительно видеть каждое крошечное пятнышко цвета на своем особом месте, подобно мельчайшей мошке в творении Господнем!

На базаре я наняла опытного стригая, чтобы он выровнял ворс моего ковра. Когда он закончил, поверхность была словно бархат, и узор был даже яснее, чем прежде. Он напомнил мне свежий весенний день, когда белоснежная голубка неожиданно вспархивает в небо, легкая, точно мысль. Хотя я видела на базаре сотни ковров, но думала, что мой может легко соперничать с лучшими домоткаными образцами.

Закончив бахрому, я заплатила помощникам остатками денег, которые матушка дала мне из сигэ, и мы попрощались. Я сказала им, что, как только продам ковер, найму их ткать следующий. Потом я добавила им немножко денег за хорошую работу.

— Благодаря тебе мои мальчишки сегодня хорошо поедят, — сказала Малеке.

Я отнесла ковер к Гостахаму и попросила его сказать, что он думает о моей работе. Мы раскатали его в мастерской, чтобы он мог осмотреть все от края до края, и он коротко его похвалил, прежде чем указать на недостатки.

— Некоторые вещи трудно увидеть, пока ковер не закончен, — говорил он мне. — Красный более яркого оттенка может сделать перья даже светлее. В следующий раз я предложил бы края поменьше — по той же самой причине.

Он рассказал мне о каждом цвете, о каждом рисунке и о каждом сделанном мной выборе. Хотя и разочарованная его замечаниями, я понимала, что он прав. Он был настоящий мастер, и меня сдерживало то, сколько он всего знает об этом ремесле.

— Ты не должна падать духом, — сказал он. — То, что я сказал тебе, предназначено только для ушей создателя ковра. Покупатель никогда и не заметит того, о чем я говорил, потому что его глаза будут зачарованы красотой ковра. Не продавай его задешево, потому что сейчас ты начинаешь понимать себе цену.

Я поблагодарила его за то, что он поместил мою глину в чудесную форму.

— Если бы ты уже не была глиной, из которой стоило бы лепить, — улыбнулся он, — этого бы не было.

Воистину это была высокая похвала от такого мастера, как Гостахам, и она наполнила меня радостью. Потом он предложил мне помочь выставить и продать ковер, но я хотела сделать это сама. Когда я сказала ему об этом, лицо его приняло озадаченное выражение.

— Ты уверена? — спросил он.

Я была совершенно уверена. Таков был наилучший способ убедить матушку, что я смогу зарабатывать деньги своим ремеслом.

Гостахам все еще выглядел сбитым с толку тем, что я хотела продолжать дело без его помощи, но благословил меня и пожелал получить самую высокую из возможных цен.

Счастье, вызванное завершением работы над ковром, улетучилось быстро. Потому что настроение в доме становилось все мрачнее и мрачнее. Несколько друзей Нахид прислали Гостахаму письма с отменой заказов на ковры под предлогами, которые были явно лживыми. С исчезновением этих заказов Гостахам и Гордийе начали бояться. У них еще оставался доход от работы на шахскую мастерскую и их собственный прекрасный дом, так что голодать они не будут, но теперь их волновала утрата роскоши и прежнего положения. В доме начались раздоры. Гордийе требовала от Гостахама находить больше заказов, а он жаловался, что всех их несчастий не случилось бы, не будь она такой жадной. Когда он тянулся к ней, она отстранялась, и ее вопли радости больше не раздавались в доме. Даже слуги выглядели мрачными. Я слышала, как Шамси тихо напевала, выкручивая стираное белье: «Ай, ветер, унеси беду; ай, дождь, смой неудачу...»

Однажды вечером после дневной трапезы Гостахам и Гордийе позвали матушку и меня в Большую комнату. Мы вошли и выразили

им свое почтение, но они ответили очень сухо. Словно самый воздух прокис, откуда мы снимали обувь и занимали места на подушках.

Гостахам начал говорить, как он обычно делал, прежде чем вмешается Гордиейе.

— Вчера я послал слугу в дом Ферейдуна, — сказал он. — Его даже не пустили к хозяину.

— Как невежливо, — заметила матушка.

— Это не просто невежливо, — сказала Гордиейе. — Это небывалый случай. — Она обернулась ко мне. — Мы хотели узнать, не поссорились ли вы с Ферейдуном. Его могла рассердить даже мелочь. — Она поощрительно улыбнулась мне.

— Последний раз, когда мы виделись, он казался очень довольным, — ответила я. — Это имеет ко мне отношение?

— Нам еще не заплатили за ковер с драгоценными подвесками, — напомнил Гостахам. — Похоже, что Ферейдун не очень-то хочет расставаться со своими деньгами.

— Может, он занят делами... — сказала матушка.

— Сомневаюсь, — сказал Гостахам. — Вероятнее всего, он рассержен.

— Могли родители Нахид изъяснить ему свое неудовольствие? — спросила я, чтобы перенаправить вину по должному адресу.

— Они так никогда не сделают, — возразил Гостахам. — Он взрослый человек и может жениться, как ему угодно. Таков закон. Что случилось, когда вы виделись последний раз? — спросила Гордиейе, жаждущая рассказа.

— Единственная новая вещь, которую я могу вспомнить, — отвечала я, выдумывая на ходу, — он сказал мне, что я радую его больше любой другой женщины.

— Только вообразите! — ахнула Гордиейе, словно такое ей не могло и в голову прийти.

— И что ему не терпится увидеть меня снова, — добавила я.

— Хорошо, — сказала Гордиейе, но так, словно не поверила мне. — А что Нахид — могла она налить мужу в уши яду о тебе?

— Не знаю, — ответила я. — Она меня больше не приглашает.

Гордиейе повернулась к мужу:

— Лучшее, на что мы можем надеяться — это возобновление Ферейдуном сигэ. Напомни мне, когда заканчивается контракт?

— Завтра, — сказала я.

— Думаешь, он его возобновит?

— На этот раз у меня нет никаких сомнений, — ответила я, чувствуя, как его письмо давит мне на бедро.

— Тогда намного легче, — сказал Гостахам, вытягивая ноги. — Если Ферейдун будет на нашей стороне, уверен, он заплатит за ковер.

Гордийе просветлела:

— Нам всем будет куда радостнее, когда у нас в руках будет письмо о возобновлении, правда?

— Всем, кроме меня, — сказала я громче, чем намеревалась.

Гордийе откинулась на свою подушку.

— Что ты такое говоришь?

— Я намерена ему отказать.

— Невозможно! — Гордийе почти умоляюще обернулась к матушке. — Что твоя дочь говорит в этой комнате, не имеет значения, — сказала она. — Я понимаю, что последнее время судьба ей преподносит неожиданности. Наверное, ей нужно прислушаться к твоим мудрым словам. Матушкина спина осталась прямой.

— Это целиком и полностью решение моей дочери, — ответила она. — Она замужняя женщина и достаточно взрослая, чтобы знать, что правильно, что нет.

Она не показала ни единого признака слабости, который бы дал Гордийе возможность начать ее переубеждать.

— Ты ошибаешься, — сказала мне Гордийе.

Я почувствовала, как кровь бросилась мне в лицо.

— Не я! — Мой голос показался мне громовым. — Гостахам сказал, что моего умения хватит, чтобы работать в шахской мастерской, будь я мальчиком. Но вместо того, чтобы дать мне развить свой дар и найти честного мужа, вы продали меня за бесценок.

Матушка прижала край своего платья к лицу.

— Клянусь Али, девочка права, — сказала она. — Я приняла предложение, потому что думала — это единственный способ уберечь нас от нужды.

Впервые я увидела в глазах Гостахама стыд. Он избегал моего взгляда, однако не делал ничего, чтобы успокоить жену. Как ковродел хозяином был он, но как муж он был слабее новорожденного ягненка. Сейчас, когда я больше не была девственницей, я понимала, что

творилось между ним и его женой. Он любил ее, несмотря на ее недостатки, и для него не было счастливее дня, чем тот, когда он приносил новый заказ. Дом тогда наполнялся ее хриплым смехом, и она звала его в свою постель. Для того чтобы сохранить мир в доме, Гостахам готов был на что угодно.

— Мы все надеялись на большее для тебя, — сказала Гордийе. — Тебе может улыбнуться удача, если ты попытаешься еще раз.

— Слишком поздно, — сказала я.

Голос Гордийе стал ледяным.

— Да искусают пчелы твой язык, — процедила она. — Если ты получишь письмо о возобновлении, ты ответишь «да». Поняла?

Я вскочила, разозленная, как никогда в жизни. Хотя я невысока, Гордийе, Гостахам и моя матушка — все показались мне крошечными.

— Я не стану, — сказала я, утвердившись на ногах.

— Неблагодарная! — завопила Гордийе так, что слышно было во всем доме. — Не забывай, сколько денег на тебя ушло!

— А я потратила на вас свою невинность! — завопила я в ответ.

Гордийе исходила яростью:

— Гадюка! После всего, что мы для тебя сделали!

Я не жалела о времени, проведенном в объятиях Ферейдуна; так или иначе, с ним я стала настоящей женщиной. Но цена моя упала, когда я потеряла девственность, а без приданого ни у одного мужчины не было причин брать меня постоянной женой.

— Вы продали меня в надежде на будущие доходы. — Мой голос снова окреп. — Вы мне должны.

— Мы тебе ничего не должны! — крикнула Гордийе. — Мы можем тебя завтра вышвырнуть, и никто не подумает, что мы неправы!

Гостахаму явно хотелось оказаться далеко от этого места, но он не произнес ни слова.

Я смотрела на Гордийе и не отвечала. Наконец молчание стало слишком тяжким для Гостахама.

— Азизам, мы не можем себе позволить вызвать гнев Ферейдуна, — мягко сказал он.

Секунду я смотрела на него, и мое сердце было полно благодарности за все, чему он меня научил.

— Почитаемый дядюшка, — ответила я, называя его так из преданности и уважения, — вы мой учитель, звезда моих очей. Хотели

бы вы, чтобы я продолжала приносить горе другим из-за денег?

Гостахам умоляюще посмотрел на жену.

— Ну, это женские дела... — пробормотал он.

— Да, именно женские, — отрезала Гордийе, стараясь вывести его из разговора. — Мыждемся письма от Ферейдунана и тогда возобновим снгэ. Больше говорить не о чем. А теперь можешь возвращаться к своей работе.

Она прижала ладони к вискам, как делала всегда, предчувствуя головную боль. Уходя, бросила Гостахаму:

— Чего ждать от той, кто может срезать ковер со станка?

По пути в кухню я шептала самые скверные ругательства, которые знала. «Гори ее отец в аду...» — шипела я.

Мы помогали кухарке нарезать овощи, но через несколько минут матушка сказала, что плохо себя чувствует.

— Иди приляг, — ответила я. — Я доделаю остальное.

Я шинковала сельдерей с такой яростью, что кусочки подскакивали и падали на пол, и кухарка ругала меня на чем свет стоит.

К концу вечера я составила смелый план. Сунула Таги монету и шепотом попросила его разузнать, когда голландец ходит к цирюльнику или в баню (пусть даже редко), чтобы знать, где его найти.

— Он каждую среду вечером ходит на базар посмотреть ковры, — сказал мальчик-посыльный, с довольным видом пряча мою монету в рукав.

— Погоди! — сказала я, собираясь уточнить, но Таги ускользнул в бируни. Он очень хитер.

Так как была именно среда, я собралась на базар, притворившись, что выполняю поручение, и ходила почти целый вечер от лавки к лавке, будто интересуюсь коврами. Любуясь кашкайским ковром всех оттенков индиго, я заметила голландца в соседнем ряду, беседующего с молодым торговцем с коротко подстриженной бородкой. Я следила за ним, пока он не двинулся дальше, и тогда метнулась из одного ряда в другой, догоняя его у самого выхода на дорогу, чтобы встретиться с ним как бы по воле случая.

Приподняв пичех, чтобы лицо было видно, я засеменила по проходу. Голландец разглядывал ковры, висевшие в нише лавки, когда

заметил меня. Салам алейкум, — храбро поздоровалась я. — Покупаете сегодня ковры?

— Воистину так, — ответил голландец, удивленный, что к нему обратились.

Я напредила ему о своей семье и шерстяном ковре, который соткала.

— А! — воскликнул он. — Никогда не попадался мне ковер прекраснее вашего, я восхищаюсь им более всех иных.

Я улыбулась; его искусство вежливой беседы было необычным для ференги, но я все равно наслаждалась им. Вблизи на него было очень интересно смотреть. Голубые глаза, прозрачные, как у кота, и такие же непредсказуемые движения.

— Я всегда ищу красивые вещи, которые можно продать в Голландии, — сказал он.

— Тогда, может быть, вы не откажетесь взглянуть на ковер, только что законченный мной?

— Конечно, это будет такое удовольствие.

— Могу ли я пригласить вас прийти и взглянуть на него? Я буду чрезвычайно благодарен, если вы мне его пришлете, — ответил он. — Моя жена вот-вот прибудет, мне хотелось бы показать его и ей.

— Сочту за честь, — сказала я.

— С вашего разрешения, я пришлю к вам мальчика, и он поможет отнести ковер туда, где я живу.

— Пожалуйста, велите вашему мальчику спрашивать меня, и никого другого, — сказала я.

Голландец некоторое время задумчиво разглядывал меня.

— А ваша семья не сможет ему помочь?

Я помедлила.

— Я хочу удивить их, — ответила я.

В его глазах вспыхнул азарт.

— Какая замечательная мысль, — сказал он. — Могу я прислать мальчика сегодня?

Я удивилась его торопливости, но подумала, что лучше продолжить сейчас.

— К вашим услугам.

Голландец поклонился и ушел. Он платил самую высокую из цен, о каких я только слышала. Если он захочет купить мой ковер, я хорошо на нем заработаю.

Когда я вернулась, мальчик голландца уже меня ждал. Надеюсь на быструю продажу, я передала ему ковер и вручила хорошие чаевые, чтобы он помог мне, если понадобится.

Уверенная, что скоро получу целый мешок денег от голландца, я продолжала свое дело. Прикрывшись так, чтобы моего лица совсем не было видно, я отправилась на Лик Мира — найти писца. Я нашла одного возле Пятничной мечети и попросила написать письмо, адресованное Ферейдуну, на его лучшей бумаге и лучшим почерком. Пришлось объяснить ему, что он пишет от лица Гостахама и должен самым изысканным слогом благосклонно поблагодарить Ферейдуну за предложенный сигэ, прибавив, что я отказываюсь от него по собственной воле и это решение не моей семьи, а только мое.

— А где сегодня твоя семья? — спросил писец, у которого была чахлая борода и шишка возле носа.

— Дома.

— Странно, что они прислали тебя одну, — заметил он, — особенно по сердечным делам.

— Они нездоровы.

— Все?

Когда я не ответила, он поманил меня и шепотом сказал:

— Я сделаю, но ты заплатишь мне втрое против обычного.

Что мне оставалось? Он хорошо наживался, угадывая, насколько отчаянное у клиента положение.

— Заплачу, — сказала я.

— А если ты когда-нибудь расскажешь, что я был твоим писцом, я поклянусь на священном Коране, что это был кто-то другой.

Писец написал письмо и шепотом прочел — так, чтобы услышала только я. Оно звучало не так гладко, как те, что писали Ферейдун и Гостахам, хотя было достаточно цветисто и полно лести. Я задумалась над ним, потому что не могла сказать, что в нем не так. Но я торопилась и решила, что сойдет.

Я забрала письмо домой и дождалась, когда Гостахам уйдет по делам, и тогда пробралась в его мастерскую и вынула печать из

потайного места. Я знала, что он часто бывает небрежен, забывая запереть за собой, никогда не предполагая, что кто-то из домашних посмеет выдать себя за него. Растопив немного красного воска, накапала его на сложенное письмо и быстро вдавила в него печать. Теперь не могло быть никаких сомнений, что оно из дома Гостахама.

Закончив, я вдруг ощутила себя чистой изнутри впервые за многие месяцы. Пусть кара будет самой тяжелой — сигэ я больше выносить не могла. Я знала, что Гостахам и Гордийе разгневаются и что меня накажут, но рассчитывала, что буду прощена, как уже было.

Самое трудное из оставшихся мне дел я оставила на вечер. Сидя в одиночестве в нашей каморке, я писала письмо для Нахид. Почерк у меня был неуклюжий, как у ребенка, но я хотела, чтобы это было письмо из моих собственных рук, говорящее именно о том, что происходило в моем сердце. Она учила меня писать, и мне хотелось, чтобы она знала, как много я получила от нее и как ценила ее наставления, знания и дружбу. Я знала — Нахид поймет истинность чувств за неуклюже выписанными словами.

Нахид-джоон, моя самая дорогая подруга,
пишу, чтобы попросить у тебя прощения. Я любила тебя больше любой другой подруги и доставила тебе горе. Поначалу, когда я не знала о твоей помолвке, сигэ мучил только меня, но когда он был возобновлен, а я ничего не сделала, чтобы отменить его, я потеряла твое доверие. Как я хотела бы принять верное решение и рассказать тебе все накануне помолвки. Надеюсь, что ты простишь меня за эту ошибку. Я всегда буду любить тебя, но вижу, что ты меня больше не любишь. И я решила вернуть покой тебе и Ферейдуну. Я отказала ему в повторном возобновлении; таким образом, наш сигэ расторгнут. Я желаю тебе радостей жизни и надеюсь, что однажды ты вспомнишь меня с такой же любовью, какую я чувствую к тебе.

Затем я сорвала с шеи радужное переплетение ниток и развязала один за другим семь узлов, шепча благословения над каждым. Когда нити расправились, я вложила их в письмо. Нахид не узнает, что

именно значит этот скруток, но сможет понять, что я сняла заклятие и сделала все, что могла, чтобы освободить ее любовь.

На следующий день, когда мы с матушкой чистили финики от косточек, из бируни донеслись крики Гостахама. Когда звуки стали громче, я разобрала слова «ковер» и «сигэ». Вытерев руки, я постаралась собраться с духом.

— Биби-джоон, мой сигэ окончен, — произнесла я, стараясь говорить спокойно.

— Да защитит тебя Господь, — ответила она, продолжая вынимать косточки из сочных плодов; я заметила, что ее руки дрожат.

Гостахам ворвался во двор с письмом в руке, Гордийе бежала за ним, пытаясь узнать, что случилось. Его тюрбан сбился набок, а фиолетовая рубаша взмокла от пота. Вспомнив, как они оба орали на меня за снятый со станка ковер, я начала краснеть и обливаться потом, хотя знала, что на этот раз поступила правильно. Я встала, чтобы встретить их. Гостахам швырнул письмо к моим ногам.

— Откуда оно пришло?

Я притворилась, что не знаю.

— Я же не умею читать или писать, — ответила я. Лицо Гостахама было багровым от ярости.

— Сегодня я пошел в дом Ферейдуна потребовать деньги, которые он должен нам, — сказал он, будто не слышал меня. — Как меня там удивили — рассказали, что я написал ему письмо с отказом от сигэ!

— Что? — потрясенно вымолвила Гордийе.

— Когда я увидел собственную печать на письме, отрицать стало бесполезно. Я сказал Ферейдуну, что нанял нового писца, которого тотчас вышвырну с работы. Я умолял его о прощении за непристойность письма, славил его щедрость и само его имя.

Гордийе прикрыла лицо руками, будто от невыразимого стыда.

Теперь дрожала я. Хотя я прослушала письмо до того, как отправить его, но читала я недостаточно хорошо, чтобы понять, как скверно писец исполнил свою работу. Молчание и багровеющее лицо делали мою вину очевидной.

— И женщина из моего дома посмела выставить меня в таком унижительном положении!

Он сгреб меня за рубашку и дернул к себе.

— Нет тебе прощения за это, — сказал он.

Одной рукой он хлестнул меня по виску, другой ударил в подбородок. Я рухнула на землю.

Матушка упала рядом со мной.

— Бей меня первой! — крикнула она. — Только не тронь больше мое дитя!

— Полагаю, Ферейдун тебе не заплатил, — сказала мужу Гордийе.

— Заплатил? — издевательски фыркнул Гостахам. — Мне повезло, что он не приказал кому-нибудь отравить меня. Единственный способ получить его прощение — выдумывать историю за историей. Я рассказал ему, что мы нашли ей постоянный брак и что в ее интересах принять его, пока она еще молода, если он не захочет взять ее сам.

— И что он сказал? — спросила моя мать, не в состоянии скрыть надежду в голосе.

Я прижала руку к щеке, чтобы остановить боль, бьющуюся в челюсти. Вкус крови был словно кусок железа на языке. Он сказал: «Ее использовали, и я насытился ею». А затем потер ладони, словно избавляясь от грязи.

Этого я и ожидала. Можно было ублажать Ферейдуна еще какое-то время, но в один прекрасный день он все равно избавился бы от меня.

Лицо Гордийе будто сжалось при взгляде на меня.

— Ты воистину приносишь зло! — бросила она. — Не будь это так, твой отец не умер бы таким молодым, Нахид не узнала бы о сигэ, а наши друзья не отменили бы свои заказы.

Способа избавиться от пути зла не было. Вечно приносить неудачу семье и портить все, до чего дотрагиваешься, по крайней мере в ее глазах.

— Нахид узнала об этом от Кобры, — возразила я, чувствуя, что из угла моего рта сочится кровь; матушка сорвала свой платок, ее длинные седые волосы упали на плечи, и промокнула кровь тканью. — Все, что я сделала, — признала, что это правда.

— Ты могла солгать, — сказала Гордийе.

— Я не могла больше! — крикнула я, хотя боль, едва я разомкнула губы, стала жестокой. — Как бы вы себя чувствовали, если бы вам

пришлось каждые три месяца переживать, хочет ли вас еще ваш муж? Или если б ваша лучшая подруга угрожала вашим детям?

— Да сохранит Аллах моих дочерей, — ответила Гордийе, не обращая внимания на мои вопросы.

Я подобрала письмо, которое Гостахам швырнул к моим ногам. Мне было стыдно. Никто не учил меня больше, чем он; и хотя он не защищал меня, подобно отцу, он был любящим учителем.

— Не может быть прощения тому, что я взяла вашу печать без спросу, — сказала я ему. — Но это лишь потому, что я не видела другого способа прекратить сигэ.

— Тебе следовало сказать мне, как ты несчастна! — взорвался Гостахам. — Я бы объявил твое решение Ферейдуну с извинениями и заверениями в благодарности за его щедрость. Ничего странного, что он так рассержен, потому что не ожидал такого наглого отказа, да еще такого безграмотного.

Я вздохнула. Снова я совершила ошибку, действуя слишком поспешно, но на этот раз у меня были серьезные причины.

— Но Гордийе велела мне согласиться.

— Если бы ты призналась в своих намерениях, я бы распознал опасность и нашел лучший способ.

Я не поверила ему, потому что он никогда не шел против желаний своей жены. Тем не менее я ответила:

— Глубоко сожалею о своей ошибке. Знаю, я не всегда делала все правильно, ведь я не из Исфахана. Целую ваши стопы, аму.

Гостахам вознес ладони к небу и поглядел вверх, словно ожидая, что прощение снизойдет оттуда.

— Они принесли мало неприятностей? — поинтересовалась Гордийе. — Ты потерял заказ на несколько ковров из-за нее. Им больше не стоит оставаться тут.

Я попыталась снова: терять мне было нечего.

— Прошу разрешения остаться под вашим покровительством, — сказала я ему. — Буду трудиться над вашими коврами, как рабыня, столько, что наше пребывание не будет вам стоить ни аббаси. Сделаю все, что вы скажете, без единой жалобы.

— Это она говорила и в прошлый раз, — напомнила Гордийе.

Гостахам промолчал. Потом сказал:

— Верно. Очень жаль, воистину очень.

Это было все, что нужно Гордийе, прежде чем сказать слова, которые она жаждала произнести в течение многих недель:

— Вы изгнаны из нашего дома. Завтра вы уйдете.

Гостахам съежился, но не велел ей придержать язык. Он вышел, а Гордийе последовала за ним, оставив меня истекать кровью. Матушка заставила меня откинуть голову и снова попыталась промокнуть платком мой рот изнутри, там, где щека была разбита и сочилась. Я закрывала глаза от боли.

Вскоре мы слышали, как Гордийе стонет на весь дом; Гостахам получил награду за то, что позволил ей добиться своего.

— Мерзкий звук, — пробормотала я.

Матушка не отозвалась.

— Биби, — еле выговорила я, рот открывался с трудом. — Прости, что я так это сделала.

Матушкино лицо оставалось каменным. Внезапно она встала и ушла в кухню, оставив меня одну. «Только бы не она опять», — услышала я голос кухарки. Я лежала на земле, окровавленная и испуганная. Медленно поднявшись, я побрела на кухню, постанывая от боли.

Шамси, Зохране и матушка заканчивали чистить финики для еды. Сытный запах баранины, тушенной с финиками, наполнял воздух, и я слышала, как слуги обедали все вместе. Я оставалась в постели, временами задремывая, придерживая челюсть, чтобы унять боль. Матушка не спросила меня, как я себя чувствую, когда пришла спать. Посреди ночи я встала в уборную и натолкнулась на Шамси, у которой выкатились глаза, когда она увидела меня. Я поднесла руку к лицу и обнаружила, что щека моя раздулась, как мяч.

На следующее утро я не могла раскрыть рот, чтобы поесть, а нижняя губа совсем онемела. Али-Асгар, который разбирался в лошадях и овцах, ощупал мою челюсть в поисках перелома.

— Непохоже, что она сломана, — сказал он, но на всякий случай закрепил ее тряпкой, связав концы у меня на макушке, велел убрать, когда боль утихнет.

— А сколько ждать? — спросила я сквозь зубы.

— По меньшей мере неделю, — ответил он. В его глазах светилась жалость. — Ты заслужила наказание, — сказал он, — но не

такое. Я бы и провинившуюся собаку так не ударил, как он тебя.

— И все из-за своей жены! — сказала моя мать.

— Как обычно, — сказал Али-Асгар, служивший тут много лет. — Это неизменно.

Мы увязали нашу скудную одежду в узлы и вышли дожидаться Гордийе и Гостахама во дворе.

— Где твой ковер? — спросила матушка, с тревогой поглядев на мой маленький узелок.

— Думаю, что его собирается купить голландец, — ответила я, хотя он так и не сообщил об этом.

Вдруг меня уколола мысль: а ведь его мальчик так и не вернулся с предложением.

Как раз в эту минуту Гостахам и Гордийе вышли во двор, одетые в накрахмаленные рубахи, — она в розовой, он в винно-красной. Никто не сказал ни слова о тряпке вокруг моей головы или распухом лице. Гордийе подставила мне тугие щеки для прощального поцелуя и затем решительно отвернулась. Я подумала, что Али-Асгар сказал Гостахаму о моем состоянии, потому что он взял меня за руку и оставил в моем рукаве маленький кошелек, когда Гордийе не видела.

— Спасибо за все, что вы для нас сделали, — сказала им матушка. — Я прошу прощения за то, что мы были для вас бременем.

— Да будет Аллах с вами всегда, — отвечала Гордийе тоном, подразумевающим, что без помощи нам не обойтись.

— И с вами тоже, — сказала матушка.

Она с надеждой посмотрела на них обоих, словно они могли смягчиться, но они повернулись и ушли обратно в бируни. Я не сказала ничего, кроме «до свидания», потому что лицо болело от ударов Гостахама, а сердце ныло еще сильнее.

Али-Асгар проводил нас на улицу, и мы смотрели, как высокие ворота дома закрываются за нами. Снаружи дом Гостахама выглядел как крепость. Ничего не было видно, даже света. Другие дома на этой улице были такими же слепыми и неулыбчивыми. Мы дошли до перекрестка, где дорога упиралась в квартал Четырех Садов. Нищий был на своем обычном посту под кедром. Его чашка для подаяний была пуста, он дрожал на ветру, конец культи посинел от холода. При виде его матушка согнулась и зарыдала.

— Добрая ханум, что вас терзает? Как я могу помочь? — спрашивал нищий, размахивая своим обрубок.

Предложение помощи от такого оборванца заставило матушку рыдать еще громче. Я попыталась обхватить ее руками, но она уклонилась от моих объятий.

— Биби-джоон, мы найдем способ... — говорила я, сжимая зубы, чтоб побережь челюсть. Но говорила неубедительно, потому что едва ли верила в это сама.

— Нет, не найдем, — отвечала она. — Ты не понимаешь, что натворила. Мы теперь на улице, и мы можем умереть.

— Но...

— Нам надо вернуться в нашу деревню, — сказала матушка. — По крайней мере, там у нас есть крыша.

Я представила, как мы уходим из города так же, как и пришли, по мосту, построенному для шаха. Но я знала, что ступлю на этот мост не раньше, чем вернусь посмотреть на город — только взглянуть на его бирюзовые и лимонные купола, греющиеся в утреннем свете. А потом я вообразила еще несколько шагов, только чтобы остановиться в одной из арок моста и охватить глазами весь город. Я стала подобна соловью над розой-Исфаханом, воспевающему вечную любовь к его красотам.

— Я не хочу уезжать, — сказала я.

— Не говори со мной больше, — отрезала матушка.

Она зашагала прочь, а я за ней, в то время как добрый нищий упрашивал нас быть снисходительными друг к другу.

Ее шаги вели нас к Лику Мира, где жестокий ветер закручивал пыль площади. Мужчина обогнал нас, потирая руки и дрожа. Торговцы, словно беспощадные москиты, жужжали нам в уши. Ножовщик совал нам под нос «клинки, острые, как у Сулеймана».

— Оставь нас, у меня нет денег, — наконец огрызнулась я. Челюсть заболела даже от стольких слов.

— Не ври, — грубо ответил он, уходя.

Порыв холодного ветра швырнул пыль нам в лица. Матушка подавилась ею и начала кашлять. Я подозвала продавца кофе, чтобы он принес две курившиеся паром чашки, и заплатила ему одной из наших драгоценных серебряных монет. Ножовщик через улицу разглядел мое серебро и клинком послал слепящий блик мне в глаза.

Я набрала воздуху для проклятия, но матушка остановила меня:

— Может, ты для разнообразия помолчишь?

Устыженная, я втягивала кофе едва размыкавшимися губами. Что делать потом, я не знала. Знала только — надо что-то придумать, пока матушка не начала искать погонщика верблюдов, чтобы отправиться назад в нашу деревню.

— У меня есть мысль, — сказала я.

Когда я встала, матушка последовала за мной, и мы пробирались через скопище лавок, пока я не разглядела стайку женщин, разложивших свои товары возле базарных ворот. Одна предлагала расшитое древо жизни, наверное лучшее из того, что было в ее доме. Другая продавала сотканые ею одеяла. Я искала Малеке и нашла ее, сидящую на корточках возле двух ковров. Увидев меня, она вскочила в ужасе.

— Да сохранил тебя Аллах! — воскликнула она. — Что случилось?

— Малеке, — сказала я, — ты можешь нам помочь?

Она притихла на секунду, разглядывая мое разбитое и вспухшее лицо.

— Что ты сделала?

Я не удивилась, что винит она меня, потому что знала, как выгляжу.

— Гордиейе решила, что мы слишком тяжелое бремя, — ответила я.

Глаза Малеке сузились. Ты навлекла позор на семью?

— Конечно нет! — вмешалась матушка. — Моя дочь никогда такого не сделает.

Малеке устыдилась, ибо моя матушка явно выглядела уважаемой вдовой в черных траурных одеждах.

— Они разъярились из-за моей ошибки в оценке ковра, — сказала я, что отчасти было правдой; я не хотела рассказывать ей о моем сигэ, боясь, что упаду в ее глазах. — Малеке, ты не знаешь кого-нибудь, кто приютит двух бедных женщин? Мы сможем заплатить.

Я тряхнула маленьким кошельком, спрятанным в поясе. Я знала, что Малеке нужны деньги, а нам нужна была защита семьи.

Она вздохнула:

— Мой муж все еще болеет, и у нас на четверых всего одна комната...

— Прошу тебя, — сказала я. — Мы можем заботиться о нем, пока тебя не будет.

Малеке медлила, готовая сказать «нет».

— Я знаю, как составлять лекарства, — предложила матушка. — Постараюсь его вылечить.

Лицо Малеке на миг похорошело от надежды.

— А что ты можешь сделать? — спросила она.

— Могу смешать настойку сухих горных трав, исцеляющих легкие, — быстро сказала матушка. Она показала на свой узел. — Тут растения, которые я собрала летом.

Малеке вздохнула.

— Вы помогли мне, когда я была в нужде, — сказала она. — Я не дам вам замерзнуть или умереть от голода.

— Да прольет Господь свое благо на тебя, Малеке! — сказала я.

У нее были все основания не поверить моей истории, но она все равно решила нам помочь.

Мы с матушкой присели рядом, стараясь помочь продать ее товары. Малеке зазывала проходящих, упрасывая взглянуть на ее ковры. Многие мужчины вместо этого останавливались взглянуть на нее, потому что рот у нее был словно бутон, а улыбка — в жемчугах. Матушка старалась отвлечь их, подробно расписывая достоинства ковра, но мед покинул ее язык. Я вспоминала, как она соблазнила странствующего торговца шелком купить мой бирюзовый ковер, скромно торгуясь, пока не получила свою цену. Теперь она выглядела усталой, и никто не останавливался пошутить с ней подольше. Я сидела на коврах, пока она работала, прижимая руку к отчаянно болевшей челюсти. Единственной, кто что-то продал в тот день, была женщина с одеялами; ее товар был соблазнительней всех.

До позднего вечера Малеке не сбыла ничего, и большинство покупателей уже отправились по домам. Она скатала свои ковры, и мы с ней взвалили на плечи по скатке. Матушка несла наши узелки, и мы шагали за Малеке через базар, к старой площади и старой Пятничной мечети.

Матушка напряженно шла рядом с Малеке. Она не оглядывалась и не смотрела на меня, не спрашивала, как я себя чувствую. Боль в челюсти словно терзала все тело, но ее отчужденность была еще мучительнее.

Когда мы пересекали старую площадь, по которой я столько раз ходила к Ферейдуну, я задумалась о нем и маленькой, усаженной деревьями улочке, на которой стоял его нарядный дом для удовольствий. Он сейчас мог быть именно там, готовясь принять другого музыканта или другую сигэ. Я почувствовала, как у меня все свело внизу живота, словно он вошел туда, и горячая волна расцвела в моем животе и вспыхнула на щеках. Теперь я должна отречься от этих наслаждений и, может быть, никогда больше не испытать их.

Мы шли и шли, пока не оказались почти за городом. Я никогда не знала, что почти рядом с дворцом наслаждений Ферейдуна располагались трущобы с путанными улицами, где жили слуги. Малеке свернула на темную извилистую улочку, сырую и грязную. Над кучами мусора жужжали мухи. Еще зловонней были лужи ночных отбросов, потому что здесь не было стоков для них. Грязные бродячие собаки дрались над помоями, отбегая только из-за камней, которыми швыряли в них мальчишки с немытыми лохмами.

Хотя было еще светло, улицы становились все сумрачнее и сумрачнее, пока мы кружили по переулкам, а запахи все отвратительнее. Наконец после несчитанных поворотов мы подошли к сломанной двери хижины Малеке. В крошечном дворике, мощенном битой плиткой, дрались и играла стайка детей. Двое из них бросились к Малеке, протягивая грязные ручонки:

— Биби, ты принесла курицу? А мяса?

— Нет, сердца мои, — тихо сказала Малеке. — Не сегодня.

Разочарованные, они вернулись к товарищам, и перебранка возобновилась.

— Это мои дети, Салман и Шахвали, — сказала она.

Малеке распахнула перед нами дверь.

— Добро пожаловать, — пригласила она. — Устраивайтесь, пока я приготовлю чай.

Мы сбросили обувь у порога и сели. В конце комнаты имелся крохотный очаг для готовки и обогрева, а рядом стояло несколько закопченных горшков. На полу — две корзины, где, скорее всего, хранились пожитки семьи и одежда. Потолок побурел там, где просочился дождь. Я пожалела Малеке, которой приходится жить в такой нищете. Когда я нанимала ее, и представить не могла, как отчаянно ей нужны деньги.

Муж Малеке, Давуд, спал на тюфяке в углу, дыша так тяжело, словно что-то застряло у него в легких. Она потрогала его лоб, чтобы узнать, есть ли жар, и тряпкой утерла ему пот.

— Бедняга, — сказала она.

Мы выпили чаю вместе, почти не разговаривая. Я старалась не поранить губы о выщербленный край моей пиалы. Вскоре Малеке позвала детей ужинать, хотя для них у нее был только хлеб и сыр. Мы с матушкой отказались от еды, притворившись, что голодны. Да я бы и не смогла взять в рот хлеб или прожевать его.

— Тебе надо супу, — сочувственно сказала Малеке. С твоего разрешения, завтра я приготовлю суп для всех, — ответила матушка.

— Ах, но деньги!..

— У нас еще кое-что осталось, — прохрипела я. Боль в челюсти была свирепой.

Когда стемнело, мы расстелили на полу хозяйские одеяла. Давуд спал ближе к стене, Малеке рядом, а дети между ними. Потом легла матушка, а за нею наконец я. Наши тела случайно соприкоснулись, и она отодвинулась, храня между нами расстояние.

Все мы улеглись на земле, и места осталось ровно столько, чтобы можно было встать и воспользоваться ночной лоханью, для приличия скрючившись возле очага. Давуд тяжело хрипел во мраке. Детям, наверное, снились сны: время от времени они вскрикивали. Знаю, что и я стонала, ибо проснулась от ужасных звуков и поняла, что они мои.

Ночь была дождливая, и я снова проснулась от удара ледяной капли в лицо — крыша текла. Стерев воду, я вспомнила Большую комнату Гостахама с ее рубиново-красными коврами, вазами для цветов, неиссякающим теплом. Я содрогнулась и натянула повыше тонкое одеяло. Когда я наконец проснулась на рассвете, то почувствовала себя еще более усталой, чем накануне.

Утром мы с матушкой предложили остаться и позаботиться о муже и детях Малеке. Но перед тем как уйти, она, чтобы сберечь нашу честь в глазах Аллаха и соседей, попросила нас огласить сигэ с Салманом и Шахвали. Им было только пять и шесть, так что сигэ, разумеется, не были настоящими браками. Мы просто подтвердили, что принимаем контракт, и неожиданно стали семьей: теперь нам не было нужды скрывать лица в присутствии Давуда.

— Вы нам теперь невестки, — с улыбкой сказала Малеке, — особенно вы, ханум.

Было странно и все же нужно думать о моей матушке как о невестке женщины вдвое моложе ее.

Когда Малеке ушла, матушка попросила детей проводить ее до ближайшего базара, где купила мешок бараньих костей подешевле. Бросив в котел с водой, она варила их с пригоршней овощей. Давуд проснулся, недоуменно оглядел комнату и спросил, кто мы такие.

— Друзья, — сказала матушка, — готовим тебе целебный суп.

Он поворчал, а потом снова улегся.

Я оставалась на тюфяке в полузабытии. Время от времени я засыпала, чтобы опять проснуться от боли в челюсти и голодных судорог в желудке. Спать было трудно, потому что у Малеке оказалось шумно. Шесть других семей жили в каморках вокруг общего двора, включая Катайун, ее брата Амира и их матушку, так что суэта была непрестанной. Меня одолевали запахи: ночные отбросы, прогорклое масло, жуткий запах крови зарезанной курицы, едкие испарения варящихся бобов, зловонная обувь, стоявшая во двореике, постоянный смрад тесного жилья. А потом — бесконечные звуки: мать, кричащая на ребенка, который не хочет учить урок, муж, орущий на жену, соседи, сражающиеся за каждый медяк, колеса, визжащие на неровной глинистой улице, стук ножей, нарезающих овощи, невнятные молитвы, стоны боли и горя, — все это я слышала одновременно. Дом Гостахама был тих, словно крепость.

Единственной мыслью, удерживавшей меня от отчаяния, было сознание, что мне принадлежит дорогой ковер. Когда я выздоровею, то найду голландца и завершу сделку. Как только серебро окажется в моих руках, я начну другой ковер с Малеке и Катайун. Мечтала нанять и других, чтобы на станках было сразу много ковров, совсем как в шахской мастерской. Тогда, может быть, мы с матушкой сможем наконец заработать достаточно денег, чтобы содержать себя и жить как хочется.

Челюсть моя заживала больше недели, прежде чем я смогла начать поиски голландца. Мне не хотелось идти к нему, пока я была избитой и израненной, он мог легко решить, что я возьму любую цену за свой ковер. Когда я сказала матушке о своем намерении отыскать его, она ответила лишь: «Буду готовить». Она все еще почти не

разговаривала со мной. Гнев этот ранил меня, и я надеялась, что деньги от голландца успокоят ее.

Матушка взяла наши последние деньги и купила цыпленка на маленьком базаре возле дома Малек. Во дворике она перерезала ему горло, пока дети соседей завистливо смотрели на это, потом ощипала птицу и сварила в горшке со свежей зеленью. Малек пришла в этот вечер домой на запах тушеной курятины, наслаждения, которого она давно была лишена. Мы все пировали, и даже Давуд сел и проглотил немного еды, объявив ее «райской трапезой».

На следующий день была среда, день, который голландец проводил на базаре. Поздно утром матушка разогрела остатки курятины и подала мне их с лепешкой. Я поела, а потом надела свою последнюю хорошую одежду — розовую рубаху, подарок Нахид, и лиловый халат, — хотя знала, что никто не обратит на это внимания.

— Скоро вернусь, надеюсь, с деньгами, — сказала я.

— Удачи, — сухо сказала матушка, не глядя на меня.

Не накидывая пичех, чтобы голландец смог узнать меня, я зашагала через базар к Лику Мира. Даже после краткого пребывания в доме Малек я больше не чувствовала себя принадлежащей к Большому базару с видом на дворец падишаха и его мечеть с лимонными куполами, такими яркими на синем небе, ибо теперь я жила в месте, где надо было бороться, даже чтобы просто навести чистоту.

В одном из проулков я столкнулась с юным музыкантом, игравшим на кяманче. Он выглядел еще грязнее и неприбраннее, чем прежде. Я поспешила пройти, потому что у меня не было монеты подать ему. Сколько нищих было в городе! Впервые появившись в Исфахане, я их даже не замечала.

Добравшись до ковровых лавок, я притворилась разглядывающей товары на прилавках, надеясь услышать знакомый чужеземный голос. Чтобы провести время, я изучала молитвенный коврик, изображавший переливчатую полосу соболие-черного шелка меж двух белых колонн, соединенных аркой. Узлы были такими ровными, а рисунок таким ясным, что я невольно забыла о боли.

Хотя я провела много времени в лавках, но не видела и не слышала никаких признаков голландца. Все еще не теряя надежды, я принялась расспрашивать торговцев, не знают ли они его или где он

живет. Один из них, дородный мужчина, едва различимый сквозь пелену опийного дыма внутри лавки, сказал:

— Я не видел его уже несколько дней.

Должно быть, я выглядела встревоженной, потому что он посмотрел на меня с ухмылкой и предложил денег на что угодно. Я бросилась прочь из его лавки, придерживая чадор под подбородком.

Становилось все холоднее. Я дышала на руки, чтобы согреть их, присев на минуту возле одной из лавок. Торговец кофе пробежал мимо с подносом, уставленным дымящимися джезве, распевая хвалу своему питью, взбадривающему кровь. Я жадно посмотрела на горячий напиток, но заплатить было нечем.

Припомнив, что в тот первый раз, когда нашла голландца, я видела его разговаривающим с молодым купцом, я медленно побрела к той лавке. Он был один и сидел на подушке с деревянным столиком на коленях, развернув перед собой счетную книгу.

— Салам алейкум, — сказала я.

Он ответил на приветствие и спросил, чем может помочь.

— Вы знаете ференги с голубыми глазами?

— Голландца, — подтвердил он, вставая, чтобы помочь мне.

Мое сердце вздрогнуло, потому что своей подстриженной бородкой и стройностью он напомнил мне Ферейдуну. Покраснев, я отвела взгляд.

— Я ищу его по очень срочному делу, — сказала я. — Вы не скажете, где его найти? Вы его не найдете, — сказал купец. — Он уехал.

— Из Исфахана?

— Из Ирана.

Сердце заколотилось так часто, что я испугалась, оно вылетит через мое горло, и мне пришлось опереться на прилавок.

— Что вас беспокоит, ханум? — учтиво, как к замужней женщине, обратился ко мне купец.

— Я... я нездорова, — ответила я, пытаюсь овладеть собой.

После всего, что случилось со мной и с моей матушкой, я не могла вынести мысли о том, что моя единственная остававшаяся надежда на будущее украдена.

— Прошу вас присесть и отдохнуть, — сказал он.

Я опустилась на подушку, стараясь прийти в себя, пока он подзывал торговца и платил ему за чашку кофе. Быстро выпив ее, я благодарно почувствовала знакомое тепло, разошедшееся по жилам.

Конечно, я возбудила любопытство купца.

— И какое у вас дело с голландцем? — спросил он, стоя по-прежнему на уважительном отдалении.

— Он думал купить у меня ковер, который я соткала, — объяснила я. — Его слуга забрал его неделю назад, и с тех пор я о нем не слышала.

Очень трудно было скрыть боль, которую я чувствовала. Я думала о Нахид, как она удерживала на лице маску хладнокровия. Я делала то же, вонзая ногти в ладони.

— Мне очень жаль, ханум, — сказал купец. — Вы должны помнить, что ференги приезжают сюда только затем, чтобы разбогатеть, и у многих из них чести меньше, чем у пса.

Я вспомнила, как голландец держал себя с Гостахамом.

— Я слышал, что он даже забрал ковер у одной исфаханской семьи ковровщиков, не заплатив. Нужно хорошо владеть языком, чтобы сделать такое, — сказал купец.

— Большая удача, — горько ответила я, вспоминая, как Гордийе предала меня.

Оглядевшись, я заметила, что другие купцы глазеют на нас. Я встала, собираясь уйти: нельзя медлить дальше одной в лавке с мужчиной, чтобы на твой счет не начали отпускать замечания.

— Если вы все же увидите его, скажите ему, что его ищет женщина. Может, он просто забыл.

— Разумеется, — согласился он. — Если Господу угодно, он вернется и заплатит вам все, что вы заработали.

— Могу я снова прийти и осведомиться о нем?

— Считайте мою лавку своей, — отвечал он.

Жалость, промелькнувшая в его глазах, сказала мне: он не верит, что я когда-либо еще увижу голландца. Я поблагодарила его за доброту и начала долгий путь домой. Был почти вечер, становилось все холоднее и ветренее. Когда я брела через старую площадь, закружились первые снежинки этого года. К дому Малеке я пришла, облепленная снегом. Челюсть на холоде разболелась, и мне пришлось отогреться у очага, прежде чем я смогла заговорить. Малеке и ее

дети сгрудились вокруг меня, и даже матушка взглянула с надеждой на добрые вести.

Когда я попросила их ничего не ждать, у Давуда начался припадок кашля, который, казалось, никогда не кончится. Малеке выглядела изнуренной, словно ее кости больше не выдерживали веса тела. А морщины на лице матушки будто углубились еще сильнее.

Малеке удивленно глядела на меня.

— Ты отдала его мальчишке свой ковер без всякого подтверждения? — спросила она.

— Он вел дела с Гостахамом, — ответила я. — Мне казалось, это меня защитит.

Матушка и Малеке обменялись взглядами.

— Твои узоры такие красивые, — задумчиво сказала Малеке. — Ты так уверенно выкликаешь цвета. Легко забыть, что ты еще так юна...

Матушка вздохнула.

— Даже юнее своих лет, — мрачно заметила она и после этого только молчала.

Мы сидели вместе, пили бесцветный чай и ели черствый хлеб — все, что у нас оставалось, — и слушали резкие, сердитые крики детей во дворе.

Я хотела взяться за новый ковер, но у нас не было денег на шерсть. Единственное, чем мы могли заработать хоть несколько монет, — варить лекарства и продавать. Увидев, сколько жителей квартала в холода уже мучаются кашлем и насморком, матушка решила составлять снадобье от болезней легких, носа и горла.

— Попробуй, — с сомнением разрешила Малеке, — но большинство здешних слишком бедны для такой роскоши.

Я спросила, могу ли помочь.

— Думаю, ты уже довольно помогла, — жестко ответила матушка.

И я сидела тихо, пока она разводила огонь в очаге и раскладывала для отвара коренья и травы, собранные летом. Маленькая комнатка наполнилась горьким ароматом, воздух сгустился паром. Глаза мои так заслезились от испарений, что пришлось выйти во дворик. Только мужу Малеке словно стало легче: пар очистил горло и ненадолго дал ему вздохнуть свободнее.

К полудню матушка послала меня на местный крохотный базарчик взять несколько дешевых глиняных сосудов без всякой росписи, с глиняными же затычками. Я посмотрела на мелкие монеты, которые она мне дала, — их было так мало, что лишь кто-то беднее нас польстился бы на них. Но я все равно пошла на базар, приподнимая временами полы чадора, чтобы не волочились по никем не убираемым мокрым отбросам. Этот базар был для самых бедных жителей города, там продавалась утварь вроде грубых горшков, старой одежды, драных одеял и изношенных тюрбанов.

Первый горшечник, к которому я подошла, стал глумиться над моей ценой.

— Я что, благотворитель? — сказал он.

Я принялась искать самую жалкую лавку, но и там торговец посмеялся над моими деньгами. Услышав, как в задней комнате плачет ребенок, я предложила ему две бутылочки лекарства, которое успокоит ребенка и вылечит кашель. Когда он согласился, я ощутила, что сделано это отчасти по доброте: с моим унылым лицом я выглядела голодающей. Себя мне довелось увидеть отраженной в металлических сковородках, выставленных у входа на базар.

Когда матушка закончила варить снадобье, то разлила его в посудины и закупорила их. Две бутылочки я отнесла горшечнику, который поблагодарил меня за быстро исполненное обещание. Потом мы рассказали всем семьям двора, что продаем снадобье за деньги или еду. Но Малеке была права: ни у кого не было средств. Соседи Гостахама обычно закупали лекарства про запас. Тут болезнь была несчастьем, стоившим денег, и лекаря звали от полной безысходности, а женщин посылали к аптекарю изготовить средство, прописанное лекарем.

Потерпев неудачу среди соседей, мы решили продавать снадобье повсюду вразнос. Так как все уважаемые мелочные торговцы были мужчинами, мы попросили Амира, брата Катайун, пойти с нами и помочь нам продавать наш товар в более богатых частях города. Он был высоким, нескладным парнишкой, но дружелюбным и с зычным голосом, как у взрослого мужчины.

В первый день мы вышли рано утром и дошли до процветающего квартала Четырех Садов, но подальше от дома Гостахама, чтобы избежать нежелательной встречи. Амир серьезно отнесся к своему делу.

— Да будет ваше дыхание легче ветра! — вопил он, и его собственное дыхание клубилось в холодном воздухе. — Сделано сильным травником с юга!

Время от времени из домов выбегали слуги посмотреть на наш товар. Если это был мужчина, Амир хватал бутылку и старался ему продать. Если женщина, вступали мы с матушкой. К вечеру мы продали два сосуда лекарства, и этого хватило на хлеб и жареные почки для нас троих.

— Не попробовать ли нам продавать возле мечети с медным минаретом? — спросила я матушку.

Она не ответила. Я вздохнула и пошла домой следом за ней.

Следующие несколько недель мы торговали нашим снадобьем каждый день, кроме пятницы, в кварталах побогаче. Становилось все холоднее и больше людей заболело. Мы зарабатывали не слишком много, но достаточно, чтобы прокормиться и добавить немного еды Катайун.

Однажды матушка проснулась с безжизненными глазами и тяжестью в груди. Я сказала, что пойду сама вместе с Амиром, но она ответила, что так нельзя. Хотя я просила ее остаться дома и отдохнуть, она заставила себя встать и весь день ходила в христианских кварталах напротив моста Тридцати Трех Арок.

Стоял жестокий холод. Ледяной ветер задувал от Зайен-де-Руд, и вершины гор Загрос белели снегом. Казалось, река вот-вот замерзнет. Когда мы переходили мост, сильный порыв ледяного ветра ударил в нас. Мы с матушкой обхватили друг друга, чтобы нас не снесло. «Ах!..» — воскликнула она, и голос ее клокотал мокротой. Мы

перешли мост, миновали огромный собор и пошли к кварталам, казавшимся процветающими.

Несмотря на холод, Амир не терял ни бодрости, ни силы голоса. Он кричал о достоинствах наших лекарств, и низкий голос его был словно приглашение. Особенно для женщин — они так и откликались на зов. Хорошенькая юная служанка выскочила из одного дома и отворила ворота, чтобы посмотреть на наши снадобья. Когда мы с матушкой подбежали поздороваться, она была разочарована, что это не Амир.

— Дыши легче и да будешь всегда здорова! — сказала матушка.

— И почему?

Матушка перегнулась в приступе кашля, такого тяжкого, что из глаз ее покатались слезы; она задыхалась и хрипела, пока не справилась с собой. Служанка отпрянула назад и захлопнула ворота перед нашими носами.

Матушка присела у большого дома и стала вытирать глаза, обещая, что скоро поправится, но мы уже не могли работать в этот день. Мы вернулись в холодный и темный дом. Матушка, дрожа, закуталась в одеяло и проспала до самого утра. Я выставила горшок наружу, чтобы соседи видели, что в нашем доме болезнь, и могли бросить в него луковицу, морковку или кусок тыквы. Я собиралась варить постную похлебку из того, что нам пожертвуют. Но когда матушка проснулась, она отказалась есть, потому что горела в лихорадке.

Несколько следующих дней я не делала ничего, только ухаживала за семьей. Таскала воду из ближнего колодца, поила матушку и Давуда. Меняла мокрые тряпки на матушкином лбу. Обвязала бечевкой яйцо, принесенное Катайун, и подвесила его к потолку, потому что новая жизнь обладает свойством исцелять. Когда Салман и Шахвали были голодны, замешивала муку с водой и пекла им лепешки. Я делала все, чего Малеке не могла из-за усталости, — от стирки детской одежды до подметания пола.

Когда по вечерам начиналась лихорадка, боль была слишком сильна даже для моей матушки. Она натягивала одеяло на глаза, чтобы заслониться от света. Она корчилась и содрогалась на своей подстилке, хотя лоб ее блестел потом. Потом, когда лихорадка отступала, она

безжизненно лежала на постели и лицо ее словно теряло краски жизни.

Я отдала наши последние сосуды с лекарством Амиру, который продал их и принес нам деньги. Матушка собиралась купить на них сушеных корешков и трав, чтобы приготовить следующую партию, потому что зимой негде было собрать свежие растения. Но я не могла отложить никаких денег, потому что Малеке все еще не продала ковер.

Я тратила деньги так медленно, как только могла, покупая только самое необходимое — муку для лепешек, овощи для похлебки. Еды хватило ненадолго. Когда деньги кончились, мы все терпели первые сутки почти без жалоб. Но на вторые Салман ходил за мной, пока я хлопотала по дому, и просил есть.

— Ему надо хлеба! — твердил он, показывая на Шахвали, который так устал, что тихо сидел у очага, и глаза его были тусклыми.

— Отдам за тебя жизнь, но хлеба у меня нет, — отвечала я, жалея его больше, чем собственный пустой желудок. — Сведи Шахвали к Катайун и попроси у них кусочек.

Когда они ушли, я в отчаянии оглядела темную конуру. Матушка и Давуд лежали на грязных подстилках. У двери, где мы оставляли обувь, было полно грязи, а в воздухе стоял запах немытых тел. Мне самой некогда было вымыться. Трудно было поверить, что когда-то меня растирали собственные банщицы, отмывали дочиста и выщипывали волосы, пока я не становилась гладкой, как яблоко, одевали в шелка и отводили услуживать мужчине, менявшем дома, как другие меняют одежды.

Матушка на секунду приоткрыла глаза и позвала меня. Я бросилась к ней и отвела волосы с ее лица.

— Похлебка осталась? — хрипло спросила она.

Отчаяние, которое я испытала, была огромным, как небо, потому что мне нечего было ей дать. Миг я молчала, потом ответила:

— Я сейчас приготовлю, биби-джоон. Горячее и целебное.

— Милостью Божьей, — сказала она, закрывая глаза.

Я не могла сидеть спокойно, зная, что она голодна; надо было чем-нибудь ей помочь. Плотно закутавшись в пичех и чадор, я побежала в ковровые ряды Великого базара.

Молодой купец был на своем обычном месте. Едва дыша, так велика была моя надежда, я спросила, не видел ли он голландца. Он

отрицательно прищелкнул языком, и глаза его были полны сочувствия. Разочарованная, я поблагодарила его и ушла.

Голубые глаза голландца были такими невинными, такими бесхитростными. Как он мог сделать такое? Я верила, что он будет следовать законам чести. Я не подумала, что он, как любой ференги, может уехать, когда угодно его холодному сердцу торгаша.

Господь да судит его подлость, но этой мысли недостаточно, чтобы унять мою печаль. Что мне делать? Как помочь матушке? Я вспомнила юного музыканта и нищего с обрубок. Если они могут прожить на улице, я должна попробовать тоже. Мое сердце колотилось, когда я шла через базар до гробницы Джафара, куда стекались толпы тех, кто хотел отдать дань уважения ученому богослову, скончавшемуся больше ста лет назад. Мне казалось, что это подходящее место для того, чтобы одинокая женщина могла попросить милостыню. Стоя неподалеку, я смотрела на старого слепого нищего, в чьей чашке для подаяний блестело серебро. Послушав, как он работает, я размотала свой платок и постелила его на землю для подаяния, повторяя то, что запомнила, слушая других.

— Да обретете вы вечное здоровье! — шептала я группе женщин, выходявших из гробницы. — Пусть ваши дети никогда не голодают. Да сохранит Али, князь меж людей, вас здоровыми и невредимыми!

Слепой нищий помахал рукой в мою сторону.

— Кто здесь? — рявкнул он.

— Всего лишь женщина, — ответила я.

— Что у тебя за беда?

— Моя мать больна, а у меня нет денег накормить ее.

— А твой отец, брат, дяди, муж?

— У меня нет никого.

— Какая злая судьба, — угрюмо сказал он. — И все равно я ни с кем не делю мой угол.

— Пожалуйста, прошу вас, — сказала я, едва веря, что должна упрашивать попрошайку. — Моя матушка голодает.

— Если это правда, сегодня можешь остаться, — ответил он. — Но проси громче! Тебя никогда не услышат, если будешь так бормотать. Спасибо, о седобородый, — сказала я, употребив слово почтения к мудрому старшему.

Как только я увидела хорошо одетого мужчину в чистой белой чалме, выходящего из гробницы, я прокашлялась и начала молить, как мне казалось, ясным, но печальным голосом. Он прошел, не бросив монетки. Вскоре молодая женщина остановилась и попросила меня рассказать о моей беде. Я сказала ей о болезни матушки и о том, что голодна.

— Ты замужем? — спросила она.

— Нет.

— Ты, должно быть, совершила нечто позорное, — заключила она. — Иначе с чего бы ты была одна?

Я попыталась объяснить, но она уже уходила.

Слепому нищему подавали хорошо. Просит здесь еще с детских лет, сказал он, так что люди знают его и его великую нужду. «Да исполнятся ваши молитвы!» — желал он им, и они ощущали довольство своей щедростью.

— Сколько заработала? — спросил он меня в полдень.

— Нисколько, — печально ответила я.

— Тебе надо поменять свой рассказ, — посоветовал он. — Внимательно смотри на слушающего, прежде чем начнешь говорить, и говори им то, что откроет их сердце.

Несколько минут я думала об этом. Когда женщина постарше проходила мимо, я заметила, что она красива, но увядающей красотой.

— Добрая ханум, умоляю, помогите мне! — сказала я. — Моя судьба жестока.

— Что случилось с тобой?

— Я была замужем за человеком, у которого больше коней, чем в Исфахане мечетей, — говорила я, стараясь походить на матушку, рассказывающую свои сказки. — Однажды его вторая жена придумала, что я собиралась отравить его из-за денег, и он выбросил меня вон. Мне не к кому идти, вся моя семья умерла. Осталась я ни с чем! — И я расплакалась. Бедное создание, — ответила она. — Вторые жены сами как отравы. Возьми это, и да вспомнит о тебе Бог. — Она уронила монету на платок.

Когда двое молодых и крепких солдат подошли к гробнице, я придумала сказать им совсем другое.

— Мои родители умерли, когда я была маленькой, а братьев убили, — стонала я.

— Кто?

— Оттоманы, в сражении у наших северо-западных границ.

— Храбрецы! — сказали они, оставляя мне пару мелких монет.

Мужчины останавливались куда чаще женщин и заговаривали со мной.

— Могу поспорить, что ты хороша, как луна, — сказал юнец с едва пробивающейся бородкой. — Не поднимешь пичех, чтобы я мог взглянуть?

— Сгори твой отец в аду! — скрипнула я зубами.

— Только взгляд!

— Хасан и Хусейн, святые меж людьми, защитите бедную женщину от жестоких чужаков! — закричала я в полный голос, и он поспешно скрылся.

Толстяк с бородой, крашенной хной, был еще назойливей, чем юнец.

— Мне все равно, какая ты там, под пичехом, — говорил он. — Как насчет быстрого маленького сигэ, на часок, а?

Он протянул ладонь, на ней блестело серебро. Толстые пальцы бугрились мозолями.

Я сгребла платок с несколькими заработанными монетами и побежала прочь. Толстяк прокричал мне вслед:

— У меня мясная лавка на базаре. Приходи, если проголодаешься!

И он швырнул к моим ногам несколько мелких монет, раскатившихся в стороны. Я отвернулась, но когда вспомнила истощенное лицо матушки, то нагнулась и быстро подобрала их. Уходя, толстяк хохотал. Я иду домой, седобородый, — сказала я нищему, потому что собрала денег на похлебку. — Благодарю тебя за щедрость.

— Да отвратит Бог твои неудачи, — сказал он.

— И твои, — ответила я, но испытала стыд, ведь я знала, что его слепоты не отвратит ничто.

Я пошла в съестные ряды базара и отдала все деньги за лук и бараньи кости. Когда я возвращалась домой со своими узелками, цена, заплаченная за них, камнем лежала на моем сердце. Выдумывать истории, которые разбудят жалость чужих людей, и терпеть домогательства мужчин с грязными намерениями — это было все, что

я могла сделать, чтобы выстоять, но я шла с базара к нищему кварталу Малеке и глотала слезы, ведь они ничем не могли мне помочь.

Когда я пришла, матушка свернулась клубком на своей тощей ватной подстилке, одеяло сбилось у нее в ногах. Это был один из спокойных промежутков между приступами, но ее глаза испугали меня. Они словно умирали на ее лице. Я бросилась к ней, выложив свои покупки.

— Смотри, биби! Вот лук и кости! Сейчас я приготовлю похлебку, и она вернет тебе силы.

Матушка слабо пошевелилась на постели.

— Свет очей моих, в этом нет нужды, — сказала она.

Я схватила ее холодную руку и почувствовала кости ее пальцев. Ее тело словно истаяло с тех пор, как она заболела.

— Не могу есть, — добавила она через некоторое время.

Я подумала о насмешках юнца и вожделении толстого мясника. С радостью вытерпела бы их снова, лишь бы моя матушка сделала глоток-другой.

— Постарайся, молю тебя, биби-джоон, — просила я.

— Где ты взяла деньги на еду?

Она знала, что я потратила наши последние монеты, вырученные от продажи ее травяных снадобий, так что мне пришлось признаться, что я попрошайничала у гробницы Джафара. Глаза ее закрылись, как будто она не могла вынести моего ответа.

— Мужчины просили тебя об услугах? — прошептала она.

— Нет, — быстро ответила я.

Взбив подушку под ее головой, я отвела длинные седые волосы с матушкиного лица. Они были слипшимися и жесткими, не мытыми уже много дней. Матушка отодвинулась: она терпеть не могла грязи.

— Ты сегодня выглядишь гораздо лучше, — весело сказала я, стараясь убедить себя, что это правда.

— Да? — отозвалась она. Кожа ее пожелтела, а круги под глазами стали темнее. — Я и чувствую себя получше, — сказала она тихим, слабым голосом.

Я намочила еще одну тряпку в воде и обтерла ей лицо и руки. Она вздохнула и сказала:

— О, как хорошо чувствовать себя чистой.

— Как только ты поправишься, мы пойдем в хаммам, — сказала я жизнерадостно, — и до вечера будем оттираться и отмываться.

— Да, конечно, — сказала матушка голосом, каким отвечают болтливому ребенку.

Осторожно повернувшись на бок, она вскрикнула: «Ах! Ах!» Болезнь поразила ее бедра, ноги и спину.

— Пока тебя не было, я видела чудесный сон, — сказала она, не открывая глаз. — Про тот день, когда ты и твой баба принесли домой рога антилопы.

Матушка коснулась моей щеки.

— Это был самый благословенный день в моей жизни, кроме того дня, когда родилась ты.

— А почему тот день? — спросила я.

— Когда ты уснула, мы с твоим отцом шутили, что нам никогда не нужны были любовные зелья вроде этих рогов. Потом он обнял меня и сказал, как он благодарен, что женился на мне, и ни на ком другом.

— Конечно, ведь он любил тебя, — успокаивающе пробормотала я.

— У любви нет никакого «конечно», — ответила она. — Особенно после пятнадцати лет без детей!

Резкость матушкиного тона заставила меня вздрогнуть и задуматься, как прожили мои родители эти годы до моего рождения. Я знала, что каждый год моя матушка ходила к Кольсум за травами, которые помогли бы ей забеременеть, пока в отчаянии не посетила каменного льва на кладбище Кух-Али и не потерялась о него животом, умоляя о ребенке. Теперь я понимала, что она должна была чувствовать. Я-то пробовала всего несколько месяцев и горевала каждый раз при виде моих кровей.

— А отец сердился? — спросила я, растирая пальцами дряблые мышцы ее голеней.

— Он был в отчаянии, — ответила матушка. — Все мужчины его возраста уже учили своих юных сыновей ездить верхом и молиться. Горечь копилась между нами, порой сутки проходили в молчании. Я мучилась целый год и наконец решила пожертвовать собой, чтобы облегчить его горе. «Муж мой, — однажды сказала я, — тебе надо взять вторую жену». Он был удивлен, однако не мог скрыть надежду

на появление сына. «Ты и вправду сможешь принять жизнь бок о бок и под одной крышей с другой женщиной?» — спросил он.

Я старалась быть храброй, но мои глаза наполнились слезами. Он был таким заботливым, что больше не возвращался к этому разговору. Вскоре я забеременела, и наш мир снова засиял.

Матушка положила ладонь на живот.

— В день, когда мое чрево начало содрогаться, твой отец надрывался на уборке урожая, — вспоминала она со смягчившимся лицом. — Меня окружали мои подруги, растиравшие мои ноги, подносявшие мне прохладной воды и певшие для тебя. Но как я ни старалась, ты не выходила. Так я тужилась целый день и целую ночь. Наутро я послала мальчика к Ибрагиму и попросила его выпустить одну из своих птиц, чтобы ты тоже могла освободиться от своих пут. Мальчик вернулся и доложил, что птица умчалась как ветер. Как только я услышала эту новость, повернулась к Мекке, присела и натужилась в последний раз. И наконец явилась ты... Все последующие годы твой отец хотел мальчика, — продолжала она. — Но в тот день, когда вы привезли домой рога каменного козла, он и сказал мне, как счастлив, что женился на мне, и ни на ком другом. Так он любил нас. А ты — ты была для него драгоценней любого сына.

Мой отец любил меня, как свет в глазах своих. Мне же казалось естественным благословение такой любви. Сейчас, когда я старше, могу представить себе, что бывает совсем иначе.

Лицо моей матушки излучало радость, и оно выглядело красивым, даже несмотря на ее бледность и худобу.

— Твоего отца нет, но я никогда не забуду, как он нашел мир с Господом, — сказала она, — и теперь я могу сделать так же. Дочь моя, я принимаю нашу судьбу — твою и мою — такой, какая она есть.

Помня, как сильно матушка не одобряла моего поведения в Исфахане, я ощутила, что при ее благословении сердце мое заплакало кровавыми слезами.

— Биби, я отдам за тебя свою жизнь! — крикнула я.

Матушка раскрыла мне свои объятия, и я свернулась рядом на засаленной подстилке. Худой рукой она прижимала меня к себе и гладила мой лоб. Я вдыхала ее запах, сладкий для меня даже в болезни, и чувствовала нежность ее руки в своей. Впервые за много недель она приласкала меня, и я вздохнула от удовольствия.

Мне так хотелось оставаться возле нее, но день клонился к закату и я понимала, что должна встать и заняться стряпней. Может быть, и матушка съест хоть немного похлебки. Я попыталась подняться, но она сжала мое запястье и прошептала:

— Дочь, любимый мною лик, ты должна пообещать мне одну вещь.

— Что угодно.

— Когда я умру, ты пойдешь к Гостахаму и Гордийе и попросишь их смиростивиться.

Я повернулась лицом к ней.

— Дитя мое, — продолжала она, — ты должна передать им мою последнюю просьбу: пусть они найдут тебе мужа.

Земля подо мной словно качнулась, как тогда, когда умер мой отец.

— Но...

Она стукнула меня пальцами по руке, призывая к молчанию. Это было словно касание пера.

— И обещай мне, что склонишься перед их волей.

— Биби, ты должна жить, — шепотом умоляла я. — У меня нет никого, кроме тебя.

В ее глазах стояла боль.

— Дочь моя, я никогда тебя не покину, если Бог не призовет.

— Нет! — вскрикнула я.

Давуд проснулся и спросил, что случилось, но я не смогла говорить. У него начался приступ кашля, мокрого и скверного, как погода снаружи, но потом он снова уснул.

— Ты не пообещала, — сказала матушка, и я снова ощутила на своей руке птичье касание.

Я подумала, какими сильными были эти пальцы, годами ткавшие ковры, выкручивавшие белье, месившие тесто.

Я склонила голову.

— Клянусь священным Кораном, — сказала я.

— Тогда я могу отдыхать спокойно. — И она прикрыла глаза.

Мальчики ворвались в дом, жалуясь, что они голодны. Мне пришлось оставить матушку и вернуться к работе. Когда я думала про ее слова, руки мои начинали дрожать, и я едва не порезалась, кроша лук. Я бросила в кипяток бараньи кости, соль, укроп и подбросила в

огонь сухого навоза, чтобы похлебка кипела. Дети жадно вдыхали запах варева, и личики у них были заострившиеся и усталые.

Когда похлебка была готова, я разлила ее матушке, детям, Давуду, Малеке и себе. Она была чуть гуще кипятка, но с голодухи казалась шахской едой. Дети пили ее, и щеки их покраснелись, как яблочки. Я взглянула на матушку, лежавшую на постели. Похлебка, нетронутая ею, курилась паром.

— Биби, прошу тебя, поешь, — сказала я.

Она прикрыла рукой ноздри, словно ее тошнило от запаха бараньих костей.

— Не могу, — слабо отвечала она.

Салман рыгнул и протянул пиалу за добавкой. Я налила ему еще, молясь, чтобы осталось матушке. Но тут Давуд сказал: «Да не заболят никогда твои руки!» — и опорожнил горшок в свою пиалу.

Шахвали сказал:

— Я тоже хочу еще!

Я чуть не сказала, что больше нет, но тут глаза Малеке встретились с моими.

— Мне жаль, что твоя матушка не может съесть свою похлебку, но ее доля не должна пропасть, — мягко сказала она.

Я принесла пиалу, стоявшую возле матушки, и без единого слова протянула ее сыну. Когда я вернулась к матушке, то старалась не слушать, как чавкает Шахвали, потому что нервы мои были истрепаны, как нити старого ковра. Держа безжизненную матушкину руку, я принялась тихо молиться.

«Благая Фатеме, прославленная дочь Пророка, даруй моей матушке вечное здравие, — молилась я. — Фатеме, мудрейшая из женщин, услышь мою молитву. Спаси мою безвинную мать, ярчайшую из звезд детской жизни...»

На следующее утро матушка была голодна, но у меня для нее ничего не было. Я злилась на Малеке, что она отдала матушкину похлебку, и избегала ее взгляда. Когда она ушла, а матушка и Давуд снова уснули, я накинула пичех, чадор и поспешила к гробнице Джафара. Хорошо, что я жила теперь далеко от Большого базара, мне так не хотелось, чтобы кто-то узнал, что я стала попрошайкой. По

дороге я выдумывала новые истории, которые буду рассказывать проходившим, чтобы на меня излились реки их щедрости.

Нищий со своей чашкой был уже там.

— Да будет с тобой мир, седобородый! — сказала я.

— Кто здесь? — хрипло спросил он.

— Вчерашняя женщина, — ответила я.

Он ткнул посохом в мою сторону:

— Ты что опять здесь делаешь?

Я отпрянула, боясь, что он меня зацепит.

— Моя матушка все еще очень больна, — сказала я.

— А я по-прежнему очень слепой.

— Да вернет Аллах твое зрение, — сказала я, пытаюсь добротой ответить на его грубость.

— Пока он соберется, мне нужно что-то есть, — отрезал нищий. — Ты не можешь приходить сюда каждый день, нам обоим придется голодать.

— Что же мне тогда делать? И я тоже не хочу голодать.

— Иди к другой гробнице, — посоветовал он. — Если на будущей неделе твоя матушка еще не встанет, я позволю тебе вернуться.

Мои щеки запылали. Как смел грязный попрошайка воспрещать мне заработать несколько грошей! Я отошла от него и встала у входа в восьмиугольную гробницу. Расстелив свой платок, я начала просить помощи у проходивших.

Вскоре высокая худая женщина, наверное одна из постоянных благодетельниц слепца, подошла и спросила его о здоровье.

— Не так уж плохо, милостью Али! — отвечал он. — По крайней мере, мне лучше, чем вот ей, — добавил он, махнув в мою сторону.

Я подумала, что он опять подобрел и старается направить деньги в мою сторону.

— Ты о чем? — Женщина была охоча до сплетен.

Громким шепотом он сообщил:

— Она пользуется щедростью достойных людей вроде вас, чтобы покупать себе опий.

— Что? — крикнула я. — В жизни не притрагивалась к опию! Я тут, потому что моя матушка больна.

Мои протесты только вызвали подозрения.

— Тогда трать деньги на нее, а не на себя, — ответила женщина.

— Истинно так, Господь свидетель, — проницательно заметил нищий.

Они громко заговорили о пагубных пристрастиях. Шедшие мимо останавливались и смотрели на меня, словно на злобного джинна. Видно было, что стоять здесь бесполезно, потому что словам нищего доверяли. Никто не бросит и медяка глотательнице опиума.

— Прощай, седобородый, — покорно сказала я. Омерзительно быть с ним сердечной, но мне может понадобится вернуться. — Увидимся на следующей неделе.

— Да пребудет с тобой Господь, — отозвался он уже добрее.

Теперь я понимала, как он выстоял на своем углу столько лет.

Я побывала у двух других гробниц, но при каждой были свои постоянные попрошайки, которые шипела на меня, когда я пыталась просить на углу. Слишком вымотанная, чтобы настаивать, я направилась домой. Небо заволокло тучами, землю усыпал тонкий снег. Пока я шла к старой площади, холод выгнал всех лавочников и торговцев домой. Несколько нищих, остававшихся на улице, шаркали в сторону старой Пятничной мечети, чтобы укрыться там. В тусклом свете купол мечети казался жестким и промерзшим. Замерзла и я. Когда я добралась до Малеке, мои пальцы и ступни онемели от холода.

Матушка спала на своей грязной подстилке. Кости черепа с пугающей четкостью проступали под ее кожей. Веки, затрепетав, раскрылись, она оглядела меня, ища покупки. Увидев, что я ничего не принесла, закрыла их снова.

Я прижала холодные ладони к матушкиному лицу, и она облегченно вздохнула. Ее словно выжигало изнутри. Испугавшись, что это пламя сожжет ее, я выбежала, набрала снега, завернула в рукав рубахи и положила ей на лоб. Когда она простонала, что хочет пить, я дала ей несколько глотков крепкого настоя коры ивы на спирту, подкрепляющего при лихорадках, который Малеке выменяла на базаре. Матушка глотала его, протестуя, а потом ее стошнило им и зеленой желчью. Я подтерла комковатую вонючую слизь, удивляясь, почему от настойки ей сделалось хуже.

В этот вечер у семьи не было еды. Малеке пришла с базара и выпила пустого чаю, прежде чем лечь. Мальчики обессилели от голода и хныкали, что у них болят животы, а потом свернулись по обе стороны от нее. Взгляд на них наполнил меня тоской по временам,

когда я засыпала в объятиях матушки, а в ухо мне нашептывалась ее воодушевляющая сказка.

Когда взошла луна, вернулась и матушкина лихорадка. Я набрала еще снега, чтобы остудить ее, и осторожно положила ей на запястья. В этот раз она судорожно вздохнула и отдернулась, словно снег обжигал. Я попыталась снова, и она скрестила руки на груди в слабой попытке защититься. Страшась повредить ей, я все-таки продолжала прикладывать рукав со снегом к ее телу, потому что это был единственный способ уменьшить жар. Вскоре она перестала взмахивать руками и тихо застонала. Если бы она плакала или кричала, я бы радовалась, потому что видела бы, что в ней еще есть сила. Но этот звук был слабым и жалостным, словно писк брошенного котенка. Это было все, что могло выдавить из себя ее бедное, измученное тело.

Пока я ухаживала за матушкой, мне были слышны ночные шумы всего дома. Салман кричал во сне о страшном джинне, преследующем его под мостом. Давуд хрипел так, словно его легкие были полны воды. Женщина, обитавшая в одной из каморок на другой стороне двора, вопила и призывала на помощь Аллаха, силясь родить.

Не знаю, сколько времени прошло, когда матушка стала пытаться заговорить. Губы ее шевелились, но я не могла разобрать слов. Я попробовала убрать волосы с ее лица. Она остановила мою руку и прошептала:

— Прежде не было...

— Спи, биби-джоон, — убеждала я ее, не желая, чтобы она тратила силы на рассказ.

Она отпустила мою руку и беспокойно заметалась на своей подстилке.

— Не было... — пробормотала она снова.

Нижняя губа треснула и начала кровоточить. Я шарила в темноте, пока не нашла бутылочку с мазью из трав и ягнячьего жира и наложила ее, чтобы остановить кровь.

Ее губы бесплодно шевелились, будто стараясь довершить зачин. Чтоб помочь ей, я прошептала:

— ...а потом стало...

Матушкин рот искривился в подобии улыбки. Я надеялась, что теперь она успокоится. Удерживала и поглаживала ее руку, как она множество раз до этого мою. Ее губы снова задвигались. Мне

пришлось нагнуться поближе к ее лицу, чтобы расслышать, что она говорит.

— Стало!.. — упорно выговорила она. — Стало!..

Глаза ее сверкали радостным, странным и нездешним светом, какой бывает у поедающих опиум.

Пот стекал по ее лбу. Я принесла воды и попыталась поднять ее голову, чтобы она попила. Возбужденно отвернувшись, она старалась договорить. Слова получались мечущимися, будто овощи в похлебке. Я вспомнила, как она рассказывала истории тем самым сладостным голосом, что завораживал слушателей.

— Биби-джоон, ты бы попила — горишь, словно уголь! — сказала я.

Вздохнув, она закрыла глаза. Я смочила ткань водой и подала ей.

— Ну пососи, хотя бы ради меня! — умоляла я.

Она приоткрыла рот и позволила мне вложить уголок тряпицы. Чтобы успокоить меня, сделала несколько сосущих движений, но через мгновение снова стала пытаться говорить. Тряпица вывалилась из ее рта. Она схватилась за живот и произнесла несколько неразборчивых слов.

— Что такое, биби-джоон? — спросила я.

Она растирала живот.

— Толкается и толкается, — шептала она, и слова были словно шелест травы. Схватив мою руку, она легонько сжала ее. — А потом стала... — выговорила она, но я смогла различить эти слова лишь потому, что так хорошо их знала.

— Пожалуйста, пожалуйста, успокойся, — тихо просила я.

Ее руки и ноги напряглись, лоб набух жилами. Рот открылся, и наконец она выдохнула:

— Ты!..

Дотянувшись, она тронула мою щеку, и глаза ее были нежными. Из всех придуманных ею сказок лишь я была написана чернилами ее души. Я удержала ее руки на своем лице, отчаянно желая наполнить ее тело моими силами.

— Биби-джоон, — воскликнула я, — прошу тебя, возьми жизнь, что бьется в моем сердце!

Пальцы ее обмякли и соскользнули с моего лица. Она лежала неподвижно на своей подстилке, и силы покинули ее.

Я бы отдала свои глаза, чтобы вернуть тот миг, когда Гостахам и Гордийе велели мне продлить сигэ. Я упросила бы Гостахама вытащить меня из этой путаницы каким-нибудь приемлемым образом, а если бы он отказался, подчинилась бы его требованию оставаться с Ферейдуном, пока не надоем. Что угодно, лишь бы не допустить страданий моей матери.

Матушка снова заговорила. Слова падали по одному, словно каждое стоило огромной цены.

— Да спасет Бог... тебя... от нужды!.. — медленно прошептала она. Потом ее тело обмякло.

— Биби, не оставляй меня!.. — закричала я.

Стиснув ее руку, я не ощутила ответа. Потрясла руку, потом плечо, но она не шевельнулась.

Я бросилась к Малеке, которая все еще лежала между свернувшимися детьми.

— Проснись, проснись! — торопливо зашептала я. — Подойди и посмотри на матушку.

Малеке протерла глаза, вздохнула и сонно поднялась. Она уселась возле матушки, пристально вгляделась в ее увядшее, опустошенное лицо и испуганно вздохнула. Поднесла кончики пальцев к ноздрям матушки и подержала их там. Я затаила дыхание — если моя матушка не дышала, то и мне не надо было.

Первый призыв к молитве от Пятничной мечети пререзал воздух. Люди зашевелились. Снаружи закричал осел, и громко захныкал ребенок. Салман проснулся и позвал Малеке, требуя хлеба. Она встала перед моей матушкой, словно пытаясь защитить Салмана от нее.

— Она едва соединена с землей, — наконец сказала Малеке. — Я буду молиться за нее и за тебя.

Вскоре после рассвета я набросила на себя чадор, пичех и пробежала почти всю дорогу до Большого базара. Овец уже зарезали и разделывали. Толпа денежных покупателей шумела возле туш, свисавших с крюков и выложенных на прилавках. От вида мяса с прожилками рот наполнился слюной, и я подумала, сколько сил свежее баранье жаркое принесло бы моей матушке. Может, кто-нибудь подаст милостыню. Я расстелила платок и начала просить.

Я видела маленького мальчика-посыльного, без сомнения из богатого дома, заказавшего больше мяса, чем он мог унести, в то время как рядом с ним женщина в грязном чадоре свирепо торговалась за ножки и кости. Мужчина постарше закупал почки; это напомнило мне отца, который любил кебаб из почек и искусно жарил их на огне. В суматохе никто не обращал внимания на меня.

Время шло, а я не могла ждать. Я бросилась наземь и закричала, обращаясь к прохожим, напоминая им о дарах Бога и о том, что ими надо делиться с другими. Люди смотрели на меня с любопытством, но мой порыв не смягчил их сердец. Раздавленная тревогой за матушку, я оставила свое место и отправилась искать на мясном базаре того толстяка с узловатыми пальцами. Я нашла его — одного в лавке, разрубаящего баранью ногу. Брюхо его выпирало под бледно-голубой рубахой, забрызганной кровью, а чалма была в длинных красных мазках.

— Чем могу служить? — спросил он.

Я пошаркала ногами.

— Это я, та, у гробницы Джафара, — пробормотала я.

Мясник ухмыльнулся и сказал:

— Позволь мне дать тебе немного мяса.

Он протянул мне палочку только что зажаренного кебаба. Густой запах мяса, усыпанного грубой солью, победил мой сопротивление. Подняв пичех, я вцепилась в капающее мясо. Прохожие оглядывались, удивленные тем, что закрытая женщина обнажила свое лицо, но я была слишком голодна, чтобы обращать внимание.

— А-ах, чудное и мягкое, — сказал он.

Я ела кебаб молча, сок стекал по моему подбородку.

— А теперь мне позволено увидеть твои хорошенькие губки.

Я не ответила. Когда я доела, то сказала умоляющим голосом:

— Мне нужна еда для матери, она больна.

Мясник рассмеялся, живот заходил ходуном под одеждой.

— Хорошо, а заплатить ты можешь?

— Пожалуйста, — сказала я. — Бог вознаградит вас на следующей неделе баранами пожирнее.

Он обвел рукой вокруг себя.

— Тут нищие в каждой части базара, — сказал он. — Кто накормит их все?

«Урод», — подумала я. Я повернулась и побрела прочь, хотя это было чистое притворство.

— Подожди! — окликнул он меня. Схватив острый нож, мясник располосовал ляжку до самой кости. Он нарубил мясо кусками величиной с мою ладонь и швырнул их в глиняную миску.

— Разве ты не хочешь? — спросил он, протягивая ее мне.

Я благодарно потянулась к ней.

— Благодарю тебя за щедрость! — сказала я.

Он отдернул миску, прежде чем я смогла дотронуться до нее.

— Все, чего я прошу, — часик после последнего призыва к молитве, — шепнул он.

Губы его сложились в такую плотоядную усмешку, что он явно думал приманить меня, как пчелу к маку. Меня затошнило от мысли, что я лежу под его толстым животом и чувствую на себе его огромные ладони.

— Я хочу больше, чем это, — высокомерно сказала я, словно привыкла к таким грязным сделкам. — Много больше.

Мясник снова расхохотался, потому что ему показалось, что теперь он меня понял. Он схватил ляжку и отрезал вдвое больше. Швырнув баранину в миску, он толкнул ее ко мне. Я схватила ее обеими руками.

— Когда?

— Не на этой неделе, — ответила я. — Когда моей матушке станет лучше.

— Тогда неделя, и мы в сигэ! — шепотом сказал он. — И даже не думай спрятаться в городе. Где бы ты ни жила, я тебя найду.

Я взяла миску, вздрагивая от отвращения.

— И мне понадобится еще мясо через несколько дней, — сказала я, стараясь выдержать свою роль.

— Как пожелаешь, — ответил он.

— Тогда через неделю, — сказала я, стараясь выглядеть кокетливой. За спиной я слышала сальный смешок мясника.

Я донесла мясо до рядов знахарей и выторговала на часть его лучшее лекарство от лихорадки, какое только нашлось. Потом я понеслась домой проведать матушку. Когда я прибежала, она слабо произнесла мое имя, и я возблагодарила Аллаха за еще один

подаренный ей день. Я дала ей воды и осторожно влила ложку снадобья ей в рот.

Мясо еще оставалось, поэтому я обменяла кусок на зерно и рис для семьи Катайун. Я сделала много мяса с овощами — если хранить его ночью на холоде, можно растянуть на несколько дней — и еще крепкий мясной бульон для матушки.

Наша трапеза в этот вечер поражала воображение. Малеке, Давуд и их сыновья уже год не пробовали баранины. Давуд просидел весь ужин, чего прежде не было. Матушка была слишком больна, чтобы есть мясо, но выпила бульона и приняла еще лекарства.

— Где ты взяла это мясо? — спросила Малеке.

— Благотворительность, — ответила я, потому что не хотела говорить правду.

Богатые часто жертвуют баранину, чтобы исполнить назр, но они никогда не предлагают такие замечательные куски. Не будь матушка так больна, она заподозрила бы неладное в моем ответе.

Я помолилась, благодаря Господа за еду, и попросила Его прощения за обещание, которое дала мяснику. У меня не было никакого намерения видеть его снова. Я решила теперь обходить мясные ряды по широкой дуге.

Несколько вечеров я разогревала еду и кормила семейство. Мальчики ели столько, сколько им давали, и так быстро, как могли; Малеке и Давуд ели медленно и благодарно, тогда как матушка едва касалась губами супа.

Когда тушеное мясо почти закончилось, во дворе появился маленький грязный мальчик и спросил меня. Он поманил меня наружу и сунул мне большую миску свежего блестящего мяса. Испуганная, я отшатнулась.

— Ты что, не рада? — спросил он. — Оно же от мясника.

— А, — сказала я, стараясь вести себя так, словно ждала этого.

— Мясник ожидает твоего визита, — сказал мальчишка. — После вечернего призыва к молитве.

Даже в детских глазах я могла видеть презрение и отвращение к той, которой он меня считал. Как ты нашел меня? — спросила я дрожащим голосом.

— Легко, — ответил он. — Я тогда пошел за тобой до самого дома.

Я схватила мясо и вежливо попрощалась. Дома я переложила мясо в котел и приготовила новую еду. Когда матушка спросила, откуда мясо, я ответила чистую правду:

— От мясника.

Я не знала, что мне делать. Если прятаться от мясника, он может заявиться в дом Малеке и унижить меня перед всеми. Тогда нас снова назовут опозоренными и вышвырнут на улицу. Я вспомнила хорошенького юного музыканта и то, как он скатился до лохмотьев и попрошайничества. Мясо скворчало, и я чувствовала, как меня покрывает испарина, однако жар очага не был тому причиной.

В ту ночь мне снился мясник, ведущий меня в маленькую темную комнату и ломающий мне все кости своими толстыми ручищами. Он выставил меня на прилавке, насадив на один из окровавленных крюков, голую, а когда кто-нибудь требовал мяса, он резал его с меня, еще живой. От ужаса я закричала и продолжала кричать, перебудив всех в доме. Когда меня спрашивали, в чем дело, я не могла сказать. Я лежала без сна, мучаясь вопросом — что же делать? До моего свидания с мясником оставалось два дня.

Гордийе и Гостахам выбросили нас и предоставили нашей судьбе, а теперь я должна была вернуться к ним попрошайкой и в бесчестии. Словно сам Господь хотел сделать мое унижение полным.

Леденящим вечером я покрылась чадором, не думая о том, в каком виде мое платье и халат, и пошла к ним. Было тяжело стучать в их ворота и еще тяжелее, когда Али-Асгар ответил на стук.

— Что ты тут делаешь? — спросил он так, словно увидел джинна.

— Я пришла за милостью, — ответила я, склонив голову.

Он вздохнул:

— Не думаю, что тебя хотят видеть.

— Можешь попробовать?

Он пристально взгляделся в мое лицо.

— Напомню им о твоей челюсти, — наконец решил он и исчез на минуту.

Когда он вернулся и поманил меня внутрь, сердце мое заколотилось. Я опустила покрывало и шагнула за ним в Большую комнату, где Гордийе и Гостахам сидели на подушках и пили свой вечерний кофе. На Гордийе был бархатный халат, который она заказала

из ткани, расцвеченной алыми и желтыми осенними листьями, а желтые туфли в тон аккуратно стояли у двери. Она ела печенье на розовой воде, наполнившее мой рот слюной безнадежного вожделения.

— Салам алейкум, — сказали они одновременно.

Сесть меня не пригласили, ибо теперь я была просто еще одной просительницей.

Я понимала — ничто, кроме полной покорности, на Гордийе не подействует. Я склонилась поцеловать ее ступни, выкрашенные по подошвам ярко-красной хной.

— Падаю перед твоим милосердием, — сказала я. — Моя матушка очень больна, и нам нужны деньги на лекарства и еду. Я прошу у вас помощи, ради любви Фатеме.

— Да вернет ей здоровье имам Реза! — сказал Гостахам. — Что случилось?

Гордийе уставилась на меня, ее острые глаза увидели все сразу.

— Ты стала худой, как сухарь, — сказала она.

— Да, — ответила я. — Мы ели не так, как здесь.

— Какая неожиданность! — сказала она, и в ее голосе было удовлетворение.

Я сдерживала себя, хотя считала, что Гордийе чересчур радуется своей победе.

— Умоляю тебя снова принять нас под свое покровительство, — сказала я. — Сделаю все, что угодно, чтобы увидеть матушку в безопасности, тепле и сытости.

Гостахаму было больно, Гордийе торжествовала.

— Хотелось бы дать этому исполниться, — сказала она, — но несчастья прекратились после твоего ухода. Ферейдун заплатил за ковер со вшитыми камнями и за ковер, заказанный родителями Нахид. Думаю, что это Нахид убедила его.

— И я думаю, что знаю почему, — кивнула я. — Я сказала ей, что уступаю ее мужа и молю о прощении. Наверное, она подтолкнула его проявить снисходительность и ко мне.

— Ты поступила хорошо, — согласился Гостахам. — Это нам очень помогло.

— Оставить Ферейдуна для тебя значило потерять всякое преимущество, — сказал Гордийе, перебивая своего мужа. — Посмотри на себя.

Я взглянула на свое грязное и порванное платье. Оно было хуже, чем те, которые носили последние служанки в доме Гордийе.

— Когда ты виделась с Нахид? — спросил Гостахам.

— Я с ней не виделась, — ответила я. — Написала ей письмо.

Он был изумлен:

— Ты написала ей — сама?

Не было смысла дальше скрывать мои способности.

— Нахид немного учила меня писать, — сказал я.

— Маш'Аллах! — воскликнул Гостахам. — Ведь мои собственные дочери не могут даже удержать перо!

Гордийе смутилась, она тоже не умела писать.

— Я не учена, — быстро сказала я, — но я хотела, чтобы мои сожаления были выражены моей собственной рукой.

Гостахам изумленно поднял брови.

— Ты всегда меня удивляла, — сказал он.

А он любил меня по-прежнему — я видела это по его взгляду.

— Но есть и другие неожиданности, — добавил он. — Ты, наверное, не слышала, что Нахид родила первенца. Мальчика. Я подозревала, что она беременна, еще во время последнего прихода к ней. Опережая напоминание Гордийе обо всем том, что мной потеряно, я вздохнула:

— Если бы только я была так удачлива...

— Удача неблагосклонна к тебе, — согласилась Гордийе.

— Но она благосклонна к вам, — сказала я, ибо начала уставать от мыслей о комете и замечаний насчет моего скверного пути. — Можете ли вы немного помочь нам, пока матушка больна?

— Разве мы не сделали все, что могли? — спросила Гордийе. — И разве ты не швырнула нам в лицо нашу же щедрость?

— Я глубоко сожалею о своих поступках, — сказала я, и это была правда.

Гордийе, казалось, не слышала.

— Я не понимаю, почему ты так бедна, — говорила она. — Что с твоим ковром? Он должен был наполнить твои руки серебром.

Я собралась ответить, но Гордийе начала отмахиваться, словно прогоняла муху.

— Не знаю даже, зачем говорю с тобой, — сказала она. — Мы уже много раз слышали твои объяснения.

— Но нам приходится просить на еду!

— Знаю, — сказала Гордийе. — Кухарка сказала, что видела тебя возле мясных рядов, попрошайничающую.

Я содрогнулась при мысли о мяснике.

— Мы не ели уже...

— Что значит «просить»? — вдруг перебил Гостахам.

Я попыталась заговорить снова, но Гордийе не дала.

— Да ничего, — резко ответила она.

— Подожди, — сказал Гостахам. — Дай девочке рассказать.

— Почему мы должны слушать? — спросила Гордийе, словно ударила.

Но в этот раз ее наглость вызвала ярость Гостахама.

— Довольно! — взревел он, и Гордийе вдруг стала послушной; меня это потрясло, ведь я никогда прежде не видела, чтобы он осадил ее. — Почему ты не сказала мне, что кухарка видела, как она просит? Ты что, ждешь, чтобы я позволил члену моей семьи голодать?

Гордийе замялась с ответом.

— Я... я забыла, — пискнула она.

Гостахам поглядел на нее и в этот миг словно впервые увидел все ее недостатки написанными на ее лице. Наступило долгое молчание, и теперь у нее не хватало смелости взглянуть на него.

Повернувшись ко мне, Гостахам сказал:

— Что случилось с твоим ковром?

— Я послала ковер голландцу, — отвечала я охрипшим от горя голосом. — Но потом мне пришлось лечить свою челюсть, и когда я пошла разыскивать его, он покинул Иран.

Гостахам вздрогнул; я не могла сказать, при упоминании о моей челюсти или о ковре.

— Он так и не заплатил?

— Нет, — печально сказала я.

— Подлая собака! — с отвращением сказала Гордийе, словно поняла, что отныне должна обращаться со мной добрее, когда видит муж. — Он увез ковры, которые заказал, вскоре после того, как вы с матушкой ушли. Как хорошо, что мы потребовали деньги вперед. Тебе следовало бы сделать то же.

— Конечно, — сказал Гостахам, — ведь эти ференги хватают все, что могут! У них нет чести.

Устав стоять, я переминалась с ноги на ногу.

— Иначе я не попросила бы вас о помощи, — сказала я.

Гостахам взглянул на меня с жалостью и приказал Таги принести свой кошелек.

— Возьми эти деньги, — сказал он, вручая мне небольшой мешочек монет. — Сделай все, что можешь, чтобы вылечить свою матушку.

— Постараюсь больше вас не беспокоить, — сказала я.

— Сочту за большое оскорбление не знать, как дела у тебя и матушки, — ответил Гостахам. — Если будет воля Божья, ты вернешься и расскажешь нам, что на ее щеках расцвели розы.

— Благодарю вас, — сказала я. — Останусь отныне и навсегда вашей слугой.

— Да будет с тобой Господь, — сказала Гордийе, но ледяным голосом.

Гостахам нахмурился.

— Желаю от всей души, — быстро добавила она.

Пока Али-Асгар провожал меня к воротам, я сжимала Гостахамов мешочек, такой тяжелый и надежный, в своем кушаке. Я верила, что он раскаялся в своей суровости ко мне и искал возможности загладить ее. Поэтому он наконец приструнил свою жену, пусть даже и ненадолго.

По пути к Лику Мира я миновала доброго нищего с культей на вершине Четырех Садов и остановилась, чтобы дать ему мелкую монету. Потом пробралась к мясным рядам и отыскивала толстого мясника. По случайности я появилась в самом начале последнего призыва к молитве; голос муэдзина, ясный и чистый, плыл через площадь от Пятничной мечети. Он словно очищал меня изнутри.

— Ах! — сказал мясник, завидев меня. Потом шепнул: — Ты на день раньше, чем должны начаться наши наслаждения! Дай мне вытереть руки.

Ногти его чернели запекшейся кровью.

— Не утруждай себя, — шепнула я в ответ. — Вот твои деньги, — громко добавила я, отсчитывая монеты так, чтобы его приказчики могли быть свидетелями оплаты. — Это покроет стоимость мяса и услуги посыльного.

Мясник побагровел от гнева. У него больше не было власти надо мной — я расплатилась. Схватив нож, он принялся рубить баранье сердце.

— Благодаря твоему отличному мясу здоровье моей матушки улучшилось, — сказала я. — Ты был так щедр, дав мне в долг еды.

Мясник помедлил, потом смахнул деньги в свою окровавленную ладонь.

— Ну и повезло же тебе, — прошипел он.

Погромче он ответил:

— Хвала Господу за ее здоровье.

— Хвала, — сказала я.

Чувствовалось, что я только что избежала худшего в своей жизни. Я могла быть рабыней Бога, ковров или даже Гостахама, но не хотела быть снова рабыней чьих-то удовольствий.

Вернувшись в дом Малеке, я накормила семью приготовленным мной мясом, хотя самой Малеке дома еще не было. Все выглядели куда оживленней, чем несколько дней назад, когда были раздраженными от голода. Давуд вполне сносно передвигался по дому. Но самая заметная перемена была в моей матушке. Лихорадка наконец отступила, цвет лица приближался к обычному. Я вознесла хвалу благословенной Фатеме за ее заступничество.

Малеке вернулась очень поздно, с одним лишь ковром на спине и легкой поступью.

— Я продала один! — возвестила она гордо прямо от двери.

Семья, недавно переехавшая в Исфахан, купила его, чтобы убраться свой новый дом. Жена увидела, что узлы Малеке прочны, а цена низка, и сказала ей, что скорее поможет бедной молодой матери, чем богатым торговцам с базара.

Мы дружно и радостно воскликнули:

— Хвала Господу!

Сыновья Малеке радовались блестящим серебряным монетам на ее ладони. В тот вечер, когда Малеке поела, все были так рады, что мы решили устроить «корей». Затопив очаг голубиным пометом, ссыпали угли в большой чугунный сосуд и поставили его под низкий столик. Малеке накинула на него одеяла, наказав мальчикам не притрагиваться к нему ступнями. Собравшись вокруг, мы улеглись под одеяла и согревались блаженным теплом углей. Впервые за много недель мы

пили крепкий чай и грызли сахар с шафраном. Малеке гладила кудри детей, пока они не уснули. Давуд шутил, и редкий нынче смех матушки звучал в моих ушах самой прекрасной музыкой.

Еще два месяца матушка медленно поправлялась. Так как она быстро уставала, то, не вставая с подстилки, объясняла, какие травы покупать на базаре, и учила меня, как делать ее лекарства. Я настаивала их, разливала и закупоривала, а потом передавала Амиру, который и сам их успешно продавал. Снадобья приносили нам достаточно денег, чтобы прокормиться, но отложить на шерсть пока не удавалось. Я жаждала начать новый ковер, потому что это был единственный способ поправить дела, и по-прежнему мечтала нанять для нас помощниц.

Когда я рассказала Малеке о моих надеждах, она засомневалась.

— Купить шерсть, нанять женщин... на какие деньги? — спросила она.

— А как насчет тех, которые ты получила за свой ковер?

Малеке прищелкнула языком.

— Слишком рискованно, — ответила она, — но если ты соберешь денег, я добавлю своих.

Прежде я бы рассердилась, что она не поддается убеждениям, но теперь я сознавала, что она права в своей осторожности. Так как я не заработала бы достаточно денег на шерсть снадобьями или нищенством, сделать можно было только одно. Матушка была на пути к выздоровлению, и я обязана была сказать Гостахаму и Гордийе, что их щедрость изменила положение. Я надела старый подарок Нахид — лиловый халат и розовое платье — и отправилась повидать их снова.

Я пришла, когда Гордийе не было. Али-Асгар сказал мне, что она отправилась на встречу с матерью Нахид, и это означало, что семьи помирились. Он проводил меня в мастерскую, где Гостахам делал наброски.

— Проходи, садись, — пригласил он, веля Шамси принести кофе. — Как матушка?

— Много лучше, — отвечала я, — благодаря вам. Деньги, которые вы мне дали, пошли на свежее мясо, восстановившее здоровье. Благодарю вас, что помогли спасти ее.

— Благодарение Господу, исцелителю человеков, — ответил он.

Я взглянула на лист у Гостахама на коленях. Рисунок был прекрасен, будто сад в цвету.

— Над чем вы работаете? — спросила я.

— Ковер с кипарисом, — пояснил он.

Деревья были высокие и тонкие, слегка расширяющиеся посередине, будто женские губы. Их окружали пышные гирлянды цветов. При виде рисунка Гостахама мне до боли захотелось опять работать с ним.

— Аму, — сказала я, — как вы знаете, сейчас у меня нет покровителя, так что я делаю все возможное, чтобы честно заработать денег.

— Верно, — кивнул Гостахам, — но сейчас время, когда ты рискуешь сама, потому что будешь рисковать всегда.

Он был прав. Я не могла остановиться; это была часть моей натуры.

— Вы можете помочь мне?

— Возможно... если только ты твердо пообещаешь делать то, что я потребую, — насторожившись, сказал он. — Сможешь?

Я знала, что всегда была диковинкой в его глазах, ибо во мне были дар и пламя. Он никогда не видел их в своей жене и дочерях, которым было достаточно, чтобы их баловали. Но теперь у него были причины не доверять мне. Я тяжело вздохнула.

— Обещаю вам, аму, я научилась, — сказала я. — Матушку едва не потеряла. Нищенствовала на базаре, испытала наихудшие оскорбления от чужих. Я заключила мир с тихой жизнью. Я не пойду против вашего мудрого совета, по крайней мере там, где он касается ковров.

Гостахам поглядел в сторону, и глаза его были полны сожаления. Несколько раз, прежде чем заговорить, он откашлялся. Мы поступили с тобой неправильно, — наконец выговорил он.

— А я с вами, — отвечала я. — Прошу простить меня за все огорчения, которые причинила вашей семье, потому что ничего не люблю больше, чем сидеть рядом с вами и учиться.

Гостахам смотрел на меня так, словно оценивал заново. Я понимала, что он увидал во мне эту перемену. Я пришла спокойной, осторожной и сильной, а не тем своевольным ребенком, каким была.

— Пора нам обоим внести поправки, — сказал он. — Если ты уверена, что сможешь делать то, чего я потребую, у меня есть способ помочь тебе.

— Я сделаю все, что вы скажете.

— Мне нужны работники, — сказал он. — Этот кипарисовый ковер — частный заказ, и мои обычные помощники слишком заняты, чтобы делать его. Ты теперь знаешь, как читать рисунок, так что сможешь называть цвета и следить за его изготовлением. Я буду платить тебе и двум работникам поденно и дам вам шерсть.

Радость переполняла меня.

— Спасибо вам, аму, за щедрость, — выговорила я.

— Не торопись, — отвечал он. — Условие таково: я навещаю вашу мастерскую каждую неделю, чтобы удостовериться, что все идет в точном соответствии с моим рисунком.

— Конечно, — закивала я. — Мы откроем вам наш дом. А для кого этот ковер?

— Для друга Ферейдуна, — ответил он.

Я была изумлена:

— Так он больше не сердится!

— Похоже, что простил нам все, — подтвердил Гостахам. — И родители Нахид тоже, они возобновили свой заказ на ковер несколько дней назад.

— Я так рада, — ответила я, потому что чувствовала, что и Ферейдуну легче сейчас оттого, что его серебро надежно размещено.

Мы потягивали кофе. Так хорошо было снова оказаться у Гостахама. Однако теперь многое было иначе, ведь я больше не была его работницей. Хотя я не имела его покровительства, но больше и не была под властью у него с Гордийе. Он был прав, я буду всегда пытаться делать все сама. Наверное, быть не связанной все же лучше.

— Аму, — сказала я, — можно показать вам рисунок, над которым я работала?

Я набросала несколько узоров, пока больные матушка и Давуд спали.

Он захохотал, откинув голову.

— Ты очень необычна для девушки, — ответил он. — Уверен, скоро на тебя будет работать семьдесят семь человек.

Показав ему набросок, я спросила совета по краскам. Это был простой ковер с солнечным узором, с целой вселенной маленьких цветов, рисунок, привлекательный для молодых жен, что наслаждаются покупкой модных вещей на базарах, — так я надеялась. Гостахам внимательно разглядывал его, но я заметила, что морщины на его лбу стали глубже, верный признак того, что что-то не так. Он поднял глаза и сказал:

— Не делай этого.

Удивленная, я уставилась на него.

— Попытаешься продать этот ковер — вступишь в соперничество с ковровщиками всей страны, которые используют тот же рисунок. Вполне достойный рисунок, но ты можешь сделать лучше.

Я вспомнила, как долго Малеке продавала один из таких ковров, хотя он и был очень хорош. А мне не хотелось бороться так же тяжело, как пришлось ей.

— Что же мне тогда делать?

— Сделай другой ковер с перьями, наподобие того, что ты делала для голландца, — сказал Гостахам.

Я зажмурилась при воспоминании о собственной глупости, обошедшейся мне так дорого. Напоминание было ранящим.

— Тот ковер представил тебя художником, чьей работе нет равных. — Гостахам понизил голос. — Вот единственный способ получать деньги за эту работу.

— Рада, что он вам понравился.

— Ты все еще не поняла, — ответил он. — Редкий талант может сделать нечто столь же тонкое и драгоценное. Ты должна возвращать его, а не тратить.

Кровь бросилась мне в лицо. После всего, что случилось, трудно было выдать из себя хоть слово. Глухим, сдавленным голосом, уставившись в ковер под ногами, я проговорила:

— Аму, вы поможете мне? Я ведь не смогу сделать так одна.

— Верно, ты не знаешь, как сделать это одной, — сказал он. — Я рад, что ты наконец поняла это.

— Да, — смиренно ответила я.

— Тогда и я согласен помочь во всем, в чем смогу. И с радостью.

Его признание воодушевило меня на просьбу о деньгах в счет платы за кипарисовый ковер, особенно когда рядом не было Гордийе,

чтобы помешать ему. Усмехнувшись моей смелости, он, к моему огромному счастью, тут же дал мне серебра.

Попрощавшись, я пошла к Малеке и всю дорогу тихо напевала про себя. Воздух был еще холодным, но ведь наступил новый год и до начала весны оставались считанные недели. Впереди, словно жизнедающее солнце, горел лимонный купол шахской мечети. Меня согревало изнутри, хотя кожу обжигал холод.

Придя домой, я поведала о новостях Малеке и Катайун. Их переполняла радость, потому что впереди у нас было несколько месяцев работы и заработка. Малеке ужасно удивилась источнику заказа.

— Ты вернулась к своему дяде после того, как он выгнал тебя? — спрашивала она. — Какая же ты смелая!

Я и сама улыбалась от удовольствия. Смелость, но не безрассудство. Наконец я поняла разницу. Малеке пообещала добавить к моим деньгам столько, чтобы мы могли купить всю шерсть для ковра с перьями, а это позволит мне начать работу немедленно.

Впервые за много месяцев дома было так радостно, что никто не мог уснуть. Мы снова поставили «корей» и грелись под ним. Снаружи пошел редкий снег, но нам было так уютно вместе. Я смотрела на них, разговаривающих, и прихлебывала крепкий чай. Хотя мы и не были родными, Малеке и Давуд вели себя так, словно мы стали настоящей семьей. Пусть мы жутко стесняли их, но они ни разу не сказали, что мы чужие. Они делились с нами всем, что у них было, и благодарили нас за все, что мы давали. Я считала их своей истинной семьей, ибо они любили нас и помогали нам в трудностях без единого слова жалобы.

— Никто не хочет послушать историю? — внезапно спросила матушка.

Я изумленно выпрямилась. Месяцами она безмолвствовала, как соловей зимой. Теперь я была уверена, что она действительно выздоравливает.

Дети громко закричали в знак одобрения и пообещали сидеть тихо. Малеке погладила их по головам, и даже Давуд, казалось, чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы не задремать во время рассказа. Все уставились на матушку с ожиданием. Она снова была красива, щеки разрумянились от тепла «корей», глаза блестели,

пышные седые волосы ниспадали по сторонам ее лица. Голос был тем сладостным голосом, который так любил мой отец, который убаюкивал меня столько раз в нашей деревне, когда мы так же сидели вместе и слушали, околдованные сплетением ее речей.

Сначала не было, а потом стало. Прежде Бога не было никого.

Жила-была девушка по имени Азаде, которая нравом была тверда и уверена в своих решениях. Со времен, когда она была ребенком, Азаде всегда знала, что предпочесть: миндаль — фисташкам, воркованию голубей — песню соловья, свою тихую подругу Лале — разговорчивой Кумри. Даже когда пришло время выходить замуж, Азаде вела себя не как другие девушки, дрожавшие от страха под своими покрывалами. Она единожды встретила со своим мужем, когда он пришел восхититься ее медными волосами и молочной кожей и выпить кислого вишневого сока с ее родными. Увидев его, услышав, как он говорит с придыханием о своем любимом коне, она поняла: вот мужчина, знающий, что такое нежность. Посмотрев на свою мамушку, она прикрыла глаза и держала их закрытыми, пока не настал миг сообщить о своем согласии.

Азаде и ее муж прожили вместе и в согласии два года, а потом он решил совершить паломничество в Мешхед. Восхищаясь религиозностью своего мужа, которая за время их совместной жизни стала глубже, Азаде поддержала его решение отправиться в путешествие, зная, что у них не хватит денег поехать вдвоем. «Я совершу паломничество в другой раз, — добросердечно сказала она ему, — когда мое сердце будет готово».

Муж Азаде отправился в путешествие, бормоча хвалу Властелину Вселенной, благословившему его такой жемчужиной среди жен. В свое отсутствие он попросил брата заботиться об Азаде, словно о сестре, убедиться, что она остается свободной от нужды и беды.

Брат ее мужа всегда держался поодаль, но вскоре после отъезда мужа изменился. Рано утром, когда она просыпалась и выходила из комнаты к утренней трапезе, деверь ее говорил: «Эй, Азаде! Лицо твое гладко и бело, словно луна, что лишь сейчас плывет по внешним кругам небес!» А по вечерам: «Эй, Азаде! Волосы твои мерцают,

словно последние лучи солнца, уступающего небо темнейшей ночи!» Азаде вежливо улыбалась и отвечала, что солнце, луна или звезды предвещают хорошую погоду. Наедине с собой она желала деверю поскорее обзавестись женой.

Шли месяцы, Азаде томилась по своему мужу, а деверь томился по Азаде. Когда бы он ни появлялся, он касался ее волос или одежды или сидел слишком близко во время разговора, так, что ей всегда приходилось отодвигаться. Она проводила долгие часы одна в своей комнате, а когда выходила к еде или по иным надобностям, он всегда ждал. Однажды когда она в сумерках пыталась выскользнуть из своей комнаты, то ощутила, как ее тянут за платье, и увидела, что он сидит в темноте у самой двери. Прежде чем она успела вымолвить хоть слово, он схватил ее за ноги и повалил на пол. Мгновение, и он накрыл ее своим телом и потребовал от нее покорности. «Иначе, — сказал он, дыша луком ей в лицо, — я расскажу всем, что ты преследовала солдата, пока он тебе не уступил, и первое, что услышит твой муж, — это рассказ о твоей измене».

Азаде крикнула, чтобы позвать слуг, одновременно сталкивая с себя деверя. Потом она в страхе заперлась в своей комнате. Той ночью деверь много раз подходил и шептал в замочную скважину, что дает ей семь дней, а потом они стали шестью, пятью и четырьмя, пока не кончились вовсе.

На восьмой день люди, возглавляемые деверем, вломилась в ее комнату. Пока Азаде молча сидела за шитьем, он возгласил, что объявляет ее виновной в супружеской измене. Перед судьей деверь выставил четверых свидетелей, каждый из которых поклялся, что видел, как она совершала это, отчего наказание должно было быть исполнено на следующий день.

Мужчины отвели Азаде вглубь пустыни и вырыли яму, закопав ее туда по пояс. Стоя замурованной в песке, она видела, как они собирают камни, укладывая их кучками возле нее. Солнце жгло лицо Азаде, руки были жестоко прикручены к бокам, так что, когда в нее полетели камни, она не могла защитить себя. Кровь заливала ей глаза, и вскоре она видела только слепящие круги, будто взрывались звезды. Голова упала на плечо, словно шея была переломлена. Когда мужчины удовлетворились тем, что в ее теле не осталось более дыхания, они ушли, считая, что ее кости скоро выбелит солнце.

Ранним утром через пустыню шел бедуин и вдруг увидел странное существо, которое сперва посчитал миражом. Подойдя поближе, он увидел, что губы существа движутся. Бедуин откопал Азаде, погрузил ее тело на верблюда и отвез к своей жене, ухаживавшей за ней, пока раны не зажили.

Хотя сердце Азаде давила печаль, всего через несколько месяцев ее красота снова расцвела, волосы стали такими же яркими, словно выкрашенными хной, кожа белой, как молоко, а губы словно самые розовые кораллы. Охваченный страстью, бедуин предложил ей стать его второй женой. Когда она мягко отклонила его предложение, сказав, что у нее уже есть муж, он пообещал заботиться о ней как о сестре и остался верен слову.

Но для большинства людей красота Азаде была словно вонзающаяся игла. Таким оказался и слуга бедуина, чье сердце кололо, когда Азаде проходила мимо. Если она шла по воду, он бормотал строфы любовных стихов, но она оставалась глуха к его дивным словам. Однажды ночью, не вынеся более шпор любви, он пригрозил совершить преступление, если она не уступит. Но Азаде пребывала твердой, отказывая ему из уважения к своему мужу. В отчаянии, помраченный возжелением, слуга схватил в саду камень и бросился искать единственное дитя бедуина, девочку-младенца, спавшую в своей колыбели. Он размозжил головку младенца, переломал ее хрупкие косточки и спрятал окровавленный камень под подушкой Азаде.

Когда смерть ребенка и камень были обнаружены, бедуин, по чьему лицу струились слезы, призвал Азаде. «Эй, Азаде! — сказал он. — Я вернул тебя к жизни. Так ты отплатила мне — кровью и смертью?»

«Добрейший из господ, я умоляю тебя вернуться к разуму, — отвечала она. — По каким причинам я могу убить дитя человека, спасшего мне жизнь? Оглянись вокруг: кто еще может желать совершить такое преступление?» Бедуин знал, что его слуга всегда возжелел к Азаде. Он попытался овладеть своими чувствами, понимая, что Азаде права. Она никогда не делала ничего, что обмануло бы его доверие.

«Верю, что ты невиновна, — медленно проговорил он. — Но если ты останешься тут, всякий раз, когда моя жена будет видеть тебя, горе станет пожирать ее. Ни одна женщина не сможет вынести

напоминания о такой утрате. Мне жаль терять тебя, но ты должна уйти».

Бедуин дал Азаде мешочек денег, и она ушла — с кошельком и свертком одежды за спиной. Не зная, что делать, она дошла до порта и отыскала корабль, идущий в Баку; туда много лет назад уехал за удачей один из ее дядей. Она отдала капитану все свои деньги, и он пообещал ей безопасное плавание и защиту от посягательств. Но всего несколько дней спустя капитан был окончательно поражен зрелищем огненных волос и цветущих, словно розы, щек Азаде.

«Но я же замужняя женщина» — протестовала Азаде, прикрывая волосы и тело плащом и от души желая быть такой же неприметной, как ее подруга Лале.

Азаде вывернулась из жадных рук капитана и взмолилась Избавителю. К ее изумлению, небеса потемнели и свирепый ветер взбил воду. Волны стали огромными, как дома, и самые храбрые моряки принялись молиться вместе с нею. Внезапно раздался ужасный и оглушительный треск, судно разломилось надвое и вышвырнуло свой груз в бушующее море. В волнах Азаде почувствовала, как ее щеку зацепил обломок кормы. Она вскарабкалась на него, и платье вилось за ней в воде. Много часов она плыла в одиночестве, и хотя знала, что может погибнуть от голода и жажды, но удивлялась, как спокойна была, — и небо, волны и птицы словно не ведали о ее присутствии.

Минули сутки, когда Азаде различила тоненькую полоску земли. Она погребла к берегу и наконец упала на песок; все у нее болело от усталости. Щека ее распухла, как арбуз, пораненная тем же обломком, что спас ее. Правый глаз почти не открывался.

Невдалеке она заметила тело одного из матросов, который захлебнулся. Азаде подползла к нему и проверила, дышит ли он, чтобы увериться в его смерти. Затем она сбросила свою набухшую одежду и надела его, заскорузлую от соли. В кармане нашелся нож. Она вынула его из ножен, осмотрела острое лезвие, и ей пришла мысль, как отделаться от своей беды.

Она всегда знала, чего хотела: решения давались ей легко. Сейчас, когда к ней пришло это, она медлила под грузом сомнений. Как сделать то, что мерещилось ее воображению? До рассвета она

просидела, сжимая нож, пока крики рыбаков, готовившихся спустить свои лодки, не разбудили ее. И тут Азаде, слишком слабая, чтобы вынести еще что-то, решилась.

Подняв прядь своих волос, она полоснула по ним острым лезвием, как можно ближе к коже. Потом отрезала еще прядь и еще одну. Клубки рыжих волос падали, взлетали и порхали вокруг нее, улетая в море, словно дивные существа, возвращавшиеся в глубины. Когда она закончила, впервые в жизни голова Азаде ощутила ночной ветер, и она задрожала от удовольствия, будто испытал ласку. Она надела матросскую шапку, отползла от мертвого тела и уснула, словно сама умерла.

Поздно утром несколько рыбаков наткнулись на нее и несколько слитков серебра, которые были частью корабельного груза. Зная, что такие сокровища принадлежат шаху, они отвезли Азаде в его дворец, чтобы рассказать о случившемся.

Для Азаде, чье тело было покрыто солью и измучено, шах выглядел таким чистым, словно был омыт светом. На нем был алый шелковый халат, а лицо озарял тюрбан, расшитый розами и сверкавший рубинами.

«Твое имя?» — потребовал шах.

«Я Амир, сын капитана», — отвечала Азаде самым своим хриплым голосом.

«Каким прекрасным юношей ты был до этой трагедии! — воскликнул шах. — Твое лицо исцарапано и изранено, хотя Бог в милосердии своем сохранил тебе жизнь!»

Азаде чуть не улыбнулась, все ее тело облегченно затрепетало от сознания собственного уродства. Овладев собой, она сказала: «Весь груз моего отца выбросило на твои берега, но отец мой, увы, погиб. Я предлагаю тебе весь его товар в обмен на одну вещь».

«Разрешаю тебе изложить просьбу», — отвечал шах.

«Ныне я отрекаюсь от странствий и дел, — сказала она. — Построй мне лишь каменную башню у моря, куда никто не сможет войти, и там я буду поклоняться Повелителю Верующих до конца моих дней».

«Дарую ее тебе», — сказал шах, и отпустил «Амира», не разглядывая более.

«Амир» пошла на городскую площадь. Несколько горожан выразили сочувствие ее горю и предложили припарки для лица. Позже владелец харчевни дал ей ночлег в комнате с другими мужчинами. Они немного пошутили с ней, попытавшись облегчить ее печаль, и глаза их скользили по ее лицу с тем же интересом, с каким они смотрели бы на мула. Когда «Амир» натянула на себя одеяло, то ощутила, что может спать спокойно впервые с того дня, когда ее оставили в пустыне. В ту ночь ей снилась ее каменная башня, где «Амир» будет жить свободным и забытым, не слыша более распаленных признаний в любви, а только умиротворяющий шум моря.

«Амир» поклонялся в этой башне Богу, а слава его как человека истового разошлась по всей стране. Такова была его слава, что, когда шах заболел, он призвал «Амира» стать его преемником, ибо не знал более никого столь же чистого. Но вместо того чтобы принять предложение, «Амир» открылся шаху, что он женищина. Пораженный таким примером смирения, шах повелел Азаде выбрать среди мужчин того, кто сможет быть достойным правителем.

К тому времени Азаде стала известна и как целительница. Каждый день пилигримы сходились к каменной башне испросить благословения и дара здоровья. Среди них оказался и деверь Азаде. Когда ее муж вернулся из паломничества, он увидел, что конечности брата парализованы, и предложил отвезти его к каменной башне в поисках исцеления.

Другим просителем был слуга бедуина. Он загадочным образом ослеп, и бедуин пообещал сопроводить его к святому из башни. Четверо встретились по пути и решили путешествовать вместе.

Само собой, Азаде узнала их, как только они приблизились, но ее в мужской одежде им было не узнать. Когда мужчины попросили о помощи в излечении их недугов, она потребовала, чтобы сперва они покались в грехах. «Откройте все, что есть скрытого в ваших сердцах, — сказала она им, — ибо только тогда будете исцелены. Если оставите что-то скрытым, без сомнения, останетесь больными».

Брат ее мужа, багровея от стыда, признался, как вождедел к женищине, ложно обвинил ее в неверности и оставил на смерть. Слуга признался, как он тоже пожелал женищину и разбил голову младенцу, когда она не уступила. Лишь только была произнесена правда, Азаде

вознесла молитву Господу, освободившему больных от недугов. Теперь ее деверь мог ходить, а слуга — видеть. Каждый взмолился о прощении за свои подлости, и Азаде даровала им прощение.

Затем она открылась своему супругу, и любовь, в которой другим так долго отказывали, излилась на него потоком. Азаде назначила своего мужа шахом, а бедуина — его визирем, и справедливость навеки воцарилась в этой земле.

Мальчики и Давуд уснули. Малеке поблагодарила матушку за рассказ и свернулась подле мужа. Остались бодрствовать лишь мы с матушкой.

— Какая сказка! — вздохнула я. — У Азаде сердце было, наверное, как у всеблагой Фатеме, если прощало всех, кто сделал ей столько дурного.

— Так будет правильно, — нежно сказала матушка, глядя мне в глаза.

Я глянула в ответ и, когда увидела, сколько в них любви, неожиданно поняла, что она хотела сказать. Она простила меня, причинившую ей столько боли. Мы тихо посидели вдвоем, и впервые за то время, что прошло после ухода из дома Гостахама и Гордийе, я чувствовала мир в сердце.

Мы с матушкой придвинулись ближе друг к другу, сидя бок о бок, так что могли говорить, не будя других. Когда «корей» погас, мы поставили рядом светильник и накрылись одеялом. Ветер завывал снаружи, снег превратился в ледянящий дождь. Капля расплылась темным пятном на моем синем хлопковом халате, и я подвинулась в сторону от протечки. Несмотря на холод, мы не спали и разговаривали обо всем, что пережили в последние годы: о злой комете, о безвременной смерти отца, о странном доме Гостахама, о чуде, которым был Исфахан. Поначалу говорила только матушка, но вскоре я тоже стала вспоминать. Слова лились из меня, и чувствовалось, будто я оказалась в некоем святом храме, шепча святому на ухо правду моего сердца.

Матушка внимательно слушала, так же как я когда-то слушала ее сказки. Иногда то, что я говорила, изумляло ее, но взгляд ее оставался нежным, и я словно вырастала перед нею из девочки в женщину. Когда снаружи запели петухи, возвещая рассвет, договорила и я.

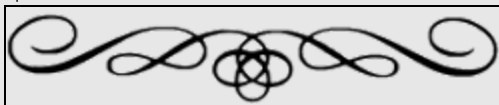
Матушка сказала:

— Дочь моя, теперь твое сердце чисто, как бутон, ибо ты рассказала правду.

Она задула светильник и завернулась в одеяла, смежив глаза. Блаженно усталая, зевая, я свернулась рядом с нею. Дыхание матушки вскоре стало ровным и тихим, а я вспоминала о комете и предсказании Хадж Али и как жестоко оно отразилось на мне. С чего я вечно должна жить по зловещему пророчеству, теперь, когда год кометы наконец прошел? Казалось, будто сама Азаде побыла под таким же дурным предзнаменованием, ибо удача ее умирала, но затем вернулась, чтобы вспыхнуть ярче, чем прежде. Даже муки ее оказались не напрасными, ибо сердце ее выросло настолько, что смогло простить тех, кто принес ей беду.

Я не могла угадать, что сулит мне судьба, но знала, что изо всех сил буду создавать лучшую жизнь, как это делала Азаде. Я думала о своем отце, и его любовь струилась во мне, точно река. Когда я начала засыпать, я словно слышала, как он советует мне. Он говорил: «Надейся на Аллаха, но верблюда всегда привязывай»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ



Зима наконец почти закончилась. Погода стала мягче, принесся тихие дожди и первые теплые дни года. Приближался Новый год, и мы готовились к его празднованию. Малеке, матушка и я вымыли нашу крохотную комнату, подмели двор, выстирали постели и вытряхнули все наши пожитки; потом отскребли свою рваную одежду и самих себя, чтобы приветствовать весну в чистоте и надежде.

Первый день нового года мы отметили роскошной трапезой из цыпленка с зеленью и повели Салмана и Шахвали поиграть у реки. Мальчишки залезли в воду и просто опьянели от радости, потому что очень давно не радовались безо всяких забот. Когда они наигрались, мы уселись в чайхане под мостом Тридцати Трех Арок и освежились горячим чаем и сладостями с мягкими, нежными финиками. Река словно танцевала у наших ног, обдавая нас время от времени живительными брызгами. Впервые мы все, включая Давуда, чувствовали себя настолько хорошо, чтобы выйти вместе как одна семья.

Хотя весь Исфахан еще праздновал конец второй недели нового года, на следующий день Малеке, Катайун и я принялись за кипарисовый ковер для Гостахама. Трудно было работать как следует в маленьком дворике, где под ногами путалось множество детей, то и дело приходили и уходили соседи, особенно в праздники. Но мы трудились во всей этой суматохе, ибо ничто не могло сравниться по важности с тем, чтобы соткать ковер на удивление Гостахаму.

Вскоре после завершения праздников Гостахам впервые пришел посмотреть нашу работу. Когда он появился, с видом совершенно царским, в халате ярко-синего шелка поверх ярко-желтого кафтана и в лиловом тюрбане, я просто выпрыгнула из-за станка, чтобы приветствовать его. Малеке и Катайун обрушили на него поток благодарностей за благодеяние, но уважительно не поднимали глаз от станка.

Гостахам с недоверием оглядел наш двор. Грязный ребенок с сопливым носом шлепнулся на пороге дома, потрясенный Гостахамовым присутствием, а второй, в лохмотьях, бежал за родителями. Было уже тепло, и во дворе стояла едкая вонь немытых ног, поднимавшаяся от обуви, сваленной у дверей. Матушка пригласила Гостахама сесть и принять пиалу с чаем, но, когда запах подобрался к ноздрям, выражение с трудом скрываемого отвращения засветилось на его лице, и он ответил, что спешит. К жидкому чаю, который тем не менее поставили рядом, и к черствому, но лакомому даже под тучей мух шафрановому печенью он даже не притронулся.

Гостахам обследовал ковер с обеих сторон, проверяя плотность узлов и соответствие узора рисунку, и высказал свое одобрение нескольким рядам, которые мы закончили. Затем он сказал, что его требуют по делу еще где-то и круто повернулся на каблуках. Я бежала за ним и благодарила за посещение.

— Бог да будет с тобой, дитя мое, — отвечал он, как будто божественная помощь одна могла спасти меня.

Я смотрела, как он взбирается на коня, дожидавшегося его. Прежде чем ускакать, он сказал со странным восхищением:

— Маш'Аллах! Ни землетрясения, ни чума, ни нищета не помешают тебе творить ковры, услаждающие глаз!

Легкими шагами я вернулась к станку. Малеке и Катайун ожидающе глядели на меня, и я засыпала их похвалами, заверяя, что покровитель доволен нашей работой. От облегчения, что мы прошли первую проверку, я выпевала цвета, словно соловей, до самой полуденной трапезы.

После еды остальные занялись домашними делами, а я все внимание сосредоточила на вывязывании нового ковра с перьями. На этот раз было гораздо легче, потому что я хорошо помнила узор и подбирала краски, согласно поправкам Гостахама для моей первой попытки, стараясь сделать этот рисунок еще красивее. Работа доставляла мне огромное удовольствие. Пальцы летали над узлами, словно птицы, парящие над поверхностью реки, а ковер плыл под моими пальцами, как вода.

Во дворе было жарко, и я утирала пот со лба. Время от времени матушка подносила мне воды с розовыми отжимками для освежения. Но я была сосредоточена на том, что делала, и забывала о бегających

детях и ревущих ослах, тащивших поклажу по улице. Я словно сама жила в поверхности ковра, окруженная умиротворяющими цветами и образами вечного спокойствия. Затерявшись в его красоте, я позабыла о нищете вокруг. К наступлению ночи матушке пришлось оттащить меня от работы и напомнить мне, что надо поесть и дать отдых рукам.

Матушка напевала:

*Любовь моя в поясе тонка,
Словно кипарис.
Но дует ветер, а моя любовь
Не ломается, не гнется.*

Несколько месяцев спустя мы закончили кипарисовый ковер для Гостахама. Мы выложили его во дворе и собрались вокруг, чтобы повосхищаться им сверху, глядя так, как увидит его владелец.

— Как похоже на те сады, что ожидают нас, если будет Господня воля! — воскликнул Давуд. — Владелец почувствует умиротворение, расположившись отдохнуть на таком сокровище.

Салман и Шахвали были так восхищены, что вбегали на ковер и сбегали с него, пока не столкнулись и не повалились в сплошной путанице рук и ног.

— Словно в парк сходил! — кричал Шахвали; в самом деле, раскинув руки и ноги, он лежал, будто вплетенный в самую середину сада.

Я начала хохотать над мальчишечьей безалаберностью, а за мной и остальные, а когда мы встретились глазами — матушка, Малеке и Катайун, — мое сердце вознеслось от радости, что наше первое дело завершено. Мы так хорошо работали вместе, ощущая, что строим будущее, благотворное для всех. И благодаря этому не согнулись и не сломались, как сами кипарисы.

Гостахам прислал своего человека забрать ковер, а несколькими днями позже я отправилась поговорить о нем. Мне хотелось знать, удалось ли нам именно то, чего он хотел, и услышать его оценку нашей работы. Радостно было услышать, что заказчику он понравился настолько, что был сделан заказ на другой, такого же размера, дабы

иметь пару, украшающую Большую комнату. Гостяхам посоветовал ему заказывать их одновременно, чтобы я могла выкликать цвета сразу для двух станков. Но я была просто счастлива принять заказ.

Гостяхам поинтересовался, как продвигается моя работа над «перьевым» ковром, и я сказала ему, что работаю над ним каждый вечер.

— Постарайся закончить быстрее, — посоветовал он, — близится время полугодичного посещения гаремом Большого базара.

Я промолчала, но источник надежды забил в моем сердце.

— Если закончишь, я позволю тебе выставить его в моей лавке.

За это я поблагодарила его сорок раз и почти побежала домой, чтобы вернуться к работе. Я была так воодушевлена, что пренебрегала матушкиными наставлениями и работала над «перьевым» ковром каждый день, пока не становилось совсем темно. Когда время начало поджимать, я ускорила работу, вывязывая узлы при масляной лампе далеко за полночь.

Бахрому я окончила за день до срока и, когда ковер подровняли, увидела, что Гостяхам был прав с выбором красок: именно тонкие переходы цвета делали ковер превосходящим тот, первый. Все части его были на местах, словно составляющие хорошего жаркого; ковер радовал и глаз, и сердце.

Рано утром Салман и Шахвали помогли мне отнести ковер на Лик Мира. Они были достаточно юны, чтобы им не запрещалось, подобно взрослым мужчинам, смотреть на женщин шаха. Но все же, чтобы защитить и их, я отослала мальчиков домой перед воротами базара и сама дотащила скатку до лавки Гостахама. Старшая дочь, Мербану, была вызвана из своего дома, чтобы сидеть в лавке. Она одарила меня холодным клевком в щеку и сказала:

— Похоже, день будет долгим. Хотела бы я заняться чем-то другим.

На ней была рубаха ослепительно-оранжевого цвета, наверняка выкрашенная в шафране. Узор «древа жизни», выписанный хной на ее ладонях, почти не стерся. Все это говорило мне, какой праздной она была. Я проглотила ответ, уже просившийся с губ.

— Не волнуйся, я сделаю все, чтобы тебе помочь, — сказала я так любезно, как могла.

Не ожидая дальнейших упрашиваний, она оплыла на большую удобную подушку со вздохом, означавшим изнеможение, и стала наставлять меня, как передвинуть рулоны ковров из одного угла в другой.

Я сгибалась и притворялась, что не могу одна передвинуть рулон. Тянула и пыхла до тех пор, пока Мербану, устыдившись собственной праздности, не вставала помочь мне, хотя прилагала к этому очень мало сил.

Дамы из гарема шаха Аббаса начали просачиваться на базар и проникать в лавки. Я вывесила свой «перьевой» ковер на самое видное место в нише и стала ждать, что случится. Вскоре Джамиле, такая же красивая, какой я ее запомнила, прошла мимо, не взглянув на нашу лавку.

— Любимица шаха! — воскликнула я.

Мербану посмеялась над моим невежеством.

— Уже нет, — сообщила она. — Самая новая — Марьям. Ты узнаешь ее по цвету волос.

Когда позже утром в нашу лавку вошла Марьям, я поняла, что это та самая женщина из гарема, которую я видела годы назад, та, чьи волосы горели, как рассвет, но тогда она выглядела растерянной и испуганной. Теперь она была ухоженной, говорила на фарси, как на родном черкесском, и, похоже, занималась судьбой своих сестер. Темные глаза и брови давали взору отдых от пламени рыжих волос. Поздоровавшись с нами, она оглядела товары Гостахама и увидела мой ковер.

— Только взгляните на это!.. — Ее словно магнитом притянуло к нему.

После долгого созерцания ковра она с тоской сказала, что перья напомнили ей птиц ее родины.

Я не сказала, что это я и придумала рисунок, и выткала ковер. Я подумала, если она заметит мои намозоленные пальцы или пристально взглянет в мои усталые, покрасневшие глаза, понимая, какой тяжелой работы требует ковер, красоты его навек поблекнут в ее глазах. Пусть лучше вообразит, что он создан беззаботной юной девой, порхающей по склонам, собирающей цветы для красок, прежде чем для развлечения завязать несколько узелков между несколькими глотками гранатового сока.

Я-то знала цное. Моя спина болела, мои руки и ноги сводило, и месяц я почти не спала. Я думала о труде и мучениях, вплетенных в этот ковер, начавшихся с того, из чего он сделан. Обширные поля цветов убиты за свои краски, невинные гусеницы сварены заживо за их шелк. А ковровщицы? Стоит ли нам жертвовать собой ради ковров?

Я слышала истории о женщинах, изувеченных долгим сидением за станком, так что, когда они пытались родить ребенка, кости их оказывались тюрьмой, навеки заключавшей в себе дитя. В таких случаях мать и дитя умирали после долгих часов мучений. Даже самые молодые ковровщицы страдали от болей в спине, сведенных конечностей, усталых пальцев, измученных глаз. Все наши труды — служение красоте, но порой кажется, что каждая нить ковра вымочена в крови цветов.

Это было то, о чем Марьям никогда не узнает. Вместо этого я с нарочитой скромностью разъясняла ей, что такой ковер выделит ее в глазах всех — прямо как ее густые рыжие волосы. Я утверждала, что любой, кто ценит прекрасные ковры, как шах Аббас, получит огромное наслаждение и будет гордиться обладанием несравненным узором.

Она отвечала, что желает иметь такой ковер, но вдвое длиннее, чтобы подошел к одной из ее комнат. Когда она спросила о стоимости заказа, я отвечала ласково, но стальным голосом. На этот раз я свой ковер даром не отдам. Кто-кто, а уж я знала цену каждому узелку.

Марьям даже не моргнула на непомерно высокую цену, и после недолгого торга мы пришли к согласию. Евнух написал договор, который включал первую выплату, позволяющую мне закупить шерсть. Я была так рада, когда они ушли, что едва не пустилась в пляс по лавке, ибо наконец добилась того, чего хотела: продала собственный ковер, собственного рисунка и на моих собственных условиях.

Конец дня принес еще более дивную неожиданность. Сразу после того, как сторожа прокричали, что базар скоро закроется, Джамиле проскользнула в нашу лавку. Она была одна и вела себя так, словно хотела скрыть свой приход. Хотя она все еще была красива, легкие впадины под глазами намекали, что первый цвет юности уже осыпался. Не та порывистая самоуверенность, которая запомнилась мне по ее первому визиту, а налет усталости и горечи ощущался в ней, потому что ее звезда уже померкла в глазах того единственного, кто

имел значение. Не глядя на наши товары, она поинтересовалась, правда ли, что мы предлагаем ковры, легкие как перышко. Мы с Мербану были удивлены, что она знает об этом. Когда я показала их, она притворилась, что рассматривает, а потом пренебрежительно отмахнулась, сказав, что думала, они будут дешевле; но жадность в ее глазах подсказывала, что она не уйдет без них.

— Редкое сокровище, только что мы получили заказ на один такой, — сказала я, и когда ее лицо потемнело, догадалась, что ее шпионы донесли о покупке, сделанной Марьям.

Моя начальная цена была слишком высокой, но я оставила достаточно места для уступки. Цена Джамиле не понравилась. Она дулась, возражала и, наконец, просила, но бесполезно. Все торговцы коврами быстро выучиваются отличать откровенную жадность своих покупателей и ловят на нее тех, кто не может этого скрыть. Джамиле не могла надеяться на скидку, и она ненавидела себя за то, что раскрыла сердце.

Чтобы утешить ее, я попросила у Мербану разрешения добавить бесплатный ковротканый чехол для подушки. Понимая, что ослабить такую досаду будет полезно для будущей торговли, Мербану согласилась. Мне кажется, она тоже почувствовала себя отмщенной, ибо слышала историю о том, как Джамиле добилась от Гордийе впечатляющей скидки именно на чехлы для подушек и как Гостахаму пришлось рисовать и ткать их буквально даром.

Джамиле позвала евнуха написать договор. Я должна была получить деньги позже у одного из шахских казначеев, потому что женщины денег не носили. Она отбыла с упакованными коврами, торжествуя, несмотря на уплаченную цену. Я знала, что это принесет ей громадное удовлетворение, ведь она первой покажет свои сокровища шаху, зная, что ковры Марьям, когда их наконец доставят, для шаха будут уже не в новинку.

Добравшись домой, я приняла от матушки пиалу горячего чая, и все семейство уселось выслушать мой рассказ о том, что произошло за день, включая то, как выглядели женщины, как они торговались и как мне удавалось добиться от них лучшей цены. Чтоб отметить наш успех, матушка приготовила яйца с финиками и подала их со свежими

лепешками. За едой мы начали обсуждать, как справиться с предстоящей нам работой, потому что теперь у нас сразу два заказа.

— Лучше всего работать над коврами одновременно, чтобы получить доход побольше, — сказала я.

— Верно, — согласилась Малеке, — но соседи уже раздражаются, что мы заняли большую часть двора, чем нам полагается.

— Если бы нам свой дом! — сказала моя матушка, и последовали шумные одобрения.

Затем пошли споры о том, сколько денег можно заработать в следующие несколько месяцев. Подсчитав сумму, Давуд объявил, что можно будет позволить жилье попросторнее, и пообещал узнать, сколько это будет стоить.

Ему понадобилась всего неделя, чтобы отыскать по соседству дом, от которого отказывались другие, потому что комнаты в нем были очень маленькие. Он торговался, сбивая плату за съём, и получил скидку, пообещав чинить владельцу обувь и любые кожаные изделия, потому что до болезни он был шорником. Мы решили, что доход у нас пока ненадежный, но согласились, что новая затея будет единственной возможностью поставить сразу несколько станков и попытаться улучшить свою судьбу.

В конце месяца мы переехали в наше новое жильё: скромный глинобитный домик в две комнаты с большим двором и крохотной темной каморкой, служившей кухней. Но для меня он был дворцом, потому что теперь мы с матушкой снова имели свою комнату. В первый вечер, когда Давуд, Малеке и дети ушли в свою комнату, весь двор был в моем распоряжении. Я сидела там, когда все уже уснули, с пиалой горячего чая, наслаждаясь уютным одиночеством и одновременно тем, что вокруг — дружелюбные соседи.

Для двух станков во дворе места было с избытком. Давуд занимался их установкой и натягиванием основы, пока мы с Малеке искали работниц. Мы нашли пятерых вязальщиц, которым был нужен заработок, и попросили их поработать день на пробу. Одна была слишком медлительной, а вторая делала неряшливые, дряблые узлы и не поправляла их, но трем другими мы остались довольны и наняли их.

Прежде чем начать, я выучила Малеке называть цвета для станка. Она следила за Катайун и одной из коврощиц на втором

«кипарисовом» ковре для клиента Гостахама, чей узор уже знала, а я занималась с другими большим «перьевым» ковром для Марьям. По утрам единственным звуком, доносившимся из нашего двора, было выкликание цветов, — я на одной половине, Малеке на другой. Матушка готовила на всех, и аромат ее стряпни помогал нам работать хорошо в предвкушении полуденной трапезы.

Однажды поутру матушка сказала мне, что приготовит одно из самых любимых моих блюд — цыпленка с орехами в гранатовом соусе, и я вспомнила, как Гордийе заставляла меня толочь ядра в муку.

— Я толку орехи покрупнее, — добавила матушка, словно догадавшись о моих мыслях, — потому что нам так нравится.

Она исчезла в кухне, и я услышала, что она поет народную песенку, запомнившуюся мне по счастливым дням в нашей деревне, в которой пелось о том, как прилетает сладкий соловей удачи.

Когда еда была готова, мы отложили работу и поели вместе во дворе, а я наслаждалась видом двух ковров. Мне нравилось следить, как они превращаются из кучи цветной шерсти в сады незабываемой красоты.

Матушка спросила меня, почему я улыбаюсь, и я сказала — потому что мне нравится ее кухня. Но было и гораздо большее. В моей деревне я никогда бы не вообразила, что женщина, подобная мне, — одинокая, бездетная, бедная — могла бы считать себя благословенной. Судьба моя была не слишком счастливой, никакого богатого мужа и семерых красивых сыновей, которых мне нагадала матушка в сказке. Однако в благоухании цыпленка в гранатовом соусе, в смехе других ковровщиц, в красоте ковров на станках, услаждавших мои глаза, была радость, огромная, как пустыня, которую мы пересекли, чтобы начать новую жизнь в Исфахане.

Мы трудились вместе многие месяцы, прежде чем закончили заказы для Гостахама и Марьям. Малеке работала, пока ее живот не стал слишком велик для сидения у станка, так как она ждала третьего ребенка.

Давуд отвез второй «кипарисовый» ковер домой к Гостахаму, но, когда он предложил отвезти и тот, что для Марьям, я придумала кое-что получше. Мужчине придется ждать за воротами гарема, пока Марьям будет смотреть ковер и передаст через слугу, довольна ли она

им. Как женщина, я не подвергаюсь таким строгостям и смогу показать ей ковер сама.

Давуд привез меня и ковер к шахскому дворцу за Ликом Мира и оставил нас у входа. Я подошла к одному из стражников и объяснила, что привезла ковер, заказанный одной из супругов. В доказательство я предъявила ему бумагу, написанную евнухом и подтверждавшую заказ.

Стражник отвел меня в нужное крыло дворца и вручил меня там попечению высокого черного евнуха. Раскатав ковер и уверившись, что ничего запретного там не скрыто, он сопровождал меня через несколько деревянных ворот, каждые охранялись своим стражником. Когда наконец я прошла сквозь последние, то оказалась прямо позади шахского дворца, в запретном месте, где стояли дома для женщин. Марьям жила в самом лучшем, восьмиугольном особняке, известном как Восемь Небес.

Я дожидалась возле фонтана на первом этаже, открывавшемся во двор. Высокая кирпичная стена окружала здания гарема, ворот в ней не было; единственным входом был тот, через который провел меня евнух.

После того как я выпила чаю и съела половину истекающей соком дыни, я была приглашена в покои Марьям. Наверху лестницы, ведущей в них, служанка забрала мою уличную одежду, а я пригладила волосы и свое простое одеяние из хлопковой ткани. Старый лысый евнух нес ковер за мной на спине. Марьям занимала комнаты, отделанные бирюзой, с среброткаными подушками. Прислуживала женщина с большими умными глазами, которая, как я позже узнала, была целительницей, уважаемой за ее знания.

Евнух раскатал мой ковер перед Марьям, облаченной в темно-синее платье, делавшее ее рыжие волосы просто огненными. Я сказала, что надеюсь, она останется довольна ковром, хотя он всегда будет недостойн ее красоты. Встав, она посмотрела на него и сказала:

— Он прекраснее, чем я могла вообразить.

— Для меня честь служить вам, — отвечала я.

Марьям приказала евнуху унести старый ковер, которым она пользовалась, и поместить мой на почетное место. Краски его чудесно сочетались с теми, которыми была убрана оставшаяся часть комнаты.

Повосхищавшись им, она сказала:

— А почему ты сделала его сама, вместо того чтобы отдать его мужчинам из своей мастерской?

— Я хотела быть уверенной, что ковер ответит вашим желаниям, — сказала я и помедлила.

Она знала, что это не может быть единственной причиной, и с любопытством глянула на меня.

— Я надеюсь, что не окажусь навязчивой, — добавила я, — но буду считать честью для себя узнать, что вы о нем думаете, потому что это ковер по моему собственному рисунку.

Марьям была изумлена:

— Рисунок твой собственный?

— Я сама нарисовала узор, — ответила я.

По ее лицу я видела, что она мне не верит, поэтому приказала подать бумагу, тростниковое перо и подставку для письма. Когда лысый евнух принес все, я уселась скрестив ноги подле нее, окунула перо в чернила и нарисовала один из узоров с перьями, после чего дала перу порезвиться на обычных ковровых орнаментах вроде роз, кедров, онагров и соловьев.

— Сможешь научить меня? — спросила Марьям.

Теперь была моя очередь изумляться.

— Конечно, — сказала я, — но стоит ли госпоже, принадлежащей шаху, делать ковры?

— Я не собираюсь делать их, — отвечала она, — мне хотелось бы научиться рисовать. Часто мне так скучно.

Служанка внесла кофе в чашках чистого серебра, украшенных сценами из легенд вроде истории Лейли и Меджнуна. Я никогда не видела такой дорогой посуды, даже в доме Ферейдуна, и подивилась их размеру и весу. За горячим напитком последовали фрукты на серебряных подносах, цукаты и сласти, включая мое любимое печенье из нута, и холодный вишневый шербет в фарфоровых сосудах. В шербете плавал лед, который я прежде не встречала в летних напитках. Марьям объяснила, что слуги шаха зимой нарезают брусья льда и складывают в подземельях, чтобы сохранить холодными в жаркие месяцы.

Когда мы полакомились, Марьям попросила меня взглянуть на другой ковер, купленный ею, и я похвалила простой геометрический узор, вытканый, похоже, на северо-западе.

— Моя матушка обычно ткала такие ковры, когда я была еще ребенком, у нас на Кавказе, — сказала Марьям, и я поняла, почему она хочет научиться рисовать узоры.

— Если вам хочется, мы можем выучить узоры вашей родины, — сказала я, и она ответила, что хотела бы этого больше всего.

Затем я встала и попросила разрешения уйти.

— Я скоро пришлю за тобой, — сказала Марьям, тепло расцеловав меня в обе щеки.

После того как я попрощалась, лысый евнух отвел меня к казначею гарема, вручившему мне большой кошель серебра за ковер, самый большой, какой я когда-либо держала в руках. Было совсем темно, когда я вышла наружу через ворота к Лику Мира.

Пока все деревянные врата захлопывались за мной, я думала, как богато одета Марьям, как сияли ее рубины, как совершенно ее лицо, как прекрасны ее рыжие волосы и маленькие алые губы. И все же я ей не завидовала. Каждый удар двери напоминал мне, что я свободна приходить и уходить, а она не может выйти без одобренной причины и пышного окружения. Она не может пойти пешком через мост Тридцати Трех Арок и любоваться видом или промокнуть насквозь в дождливую ночь. Она не может надеть ошибок, как я, и начать все сначала. Она обречена роскошно жить в самой безупречной из тюрем.

Каждую неделю Марьям присылала за мной, чтобы брать уроки рисования. Мы подружились, а в гаремном дворе я стала чем-то вроде диковинки. Другие женщины часто приглашали меня взглянуть на их ковры и высказать свое мнение. Я пользовалась такой свободой общения с ними, какая не снилась ни одному мужчине, исключая шаха.

Гостяхам поздравил меня с работой в гареме. Он никогда не сумел бы найти постоянных заказчиков среди женщин и поэтому уговаривал меня пользоваться преимуществами, которые давали мне постоянные посещения гарема. Он даже заплатил портнихе, сшившей мне прекрасное оранжевое шелковое платье с бирюзовым кушаком и бирюзовым же халатом, чтобы я выглядела хорошо одетой и преуспевающей, когда меня приглашали.

Знакомясь с женами гарема, я начала получать от них заказы на ковры и коврики для подушек, а затем и от членов их семей

и подруг, живших вне гарема. Их аппетит на красивые вещи был ненасытен, и мы развернули дело так, что должны были нанять еще работников. Вскоре Малеке и матушка стали надзирать за ними, потому что я часто бывала занята в гареме или рисовала новые узоры, чтобы усладить женщин шаха.

Однажды я с удивлением приняла заказ на «перьевой» ковер от приятельницы Марьям, приславшей в наш дом слугу с письмом. Оно было написано очень просто, и я даже смогла его прочесть, а потом вдруг поняла, что оно от Нахид. Хотя в нем не было ничего о ее жизни или нашей дружбе, по этому жесту я поняла, что она ищет возможности исправить положение тем лучшим образом, на который способна. Осознав, на какую жертву я пошла, разорвав сигэ с ее — и моим — мужем, она решила помочь мне в моей новой жизни.

Я знала, что большинство людей не поймет, отчего я поменяла жизнь с Ферейдуном и относительное благополучие на теперешнюю жизнь и тяжкий труд. Мне и самой было трудно временами это объяснить, разве что я сердцем поняла, что отказ от сигэ — это правильно. Ведь я, коврощица, хочу большего. Невозможно было оставаться тайной сигэ или притворяться чистой снаружи, чувствуя себя грязной изнутри. Гордией была бы изумлена, узнав, насколько уроки Гостахама подстегнули мое решение, потому что он учил меня вот чему: когда мы вступаем в мечеть и ее высокий купол уносит наши мысли ввысь, к возвышенному, так и великий ковер должен делать то же под ногами. Такой ковер ведет нас к мысли о величии бесконечного, но всегда близкого, ближе, чем биение сонной артерии. Солнце, вспыхивающее посредине ковра, напоминает об этом бесконечном свечении. Цветы и деревья вызывают к наслаждениям рая, и всегда в середине ковра есть точка, приносящая успокоение сердцу. Одинокий белый лотос, плывущий по бирюзовому пруду, — в нем, в самой малой из частей, она и есть. Зов к лучшему в себе, призыв к радости единения. В коврах я теперь видела не просто изыски природы и цвета, не просто мастерское расположение их, но знак бесконечного узора. В каждом рисунке просвечивал труд Соткавшего Мир, цельный и законченный; и каждый узел ежедневного бытия просвечивал моим трудом.

Я никогда не ткала своего имени на коврах, как это делали мастера шаха, прославленные своим великим искусством. Я никогда не

научусь ткать человеческий глаз так точно, чтобы он казался живым, или придумывать ковры с узором столь сложным, что он ставил в тупик величайших математиков. Но я изобретала свои узоры, которыми люди будут любоваться годы спустя. Когда они будут сидеть на одном из моих ковров, их бедра коснутся земли, их спины выпрямятся, а венец их главы устремится к небу; и они возрадуются, освежатся, преобразятся. Мое сердце коснется их сердец, и мы станем как одно, даже когда я обернусь прахом, даже если они никогда не узнают моего имени.

Через несколько месяцев Малеке родила своего третьего ребенка. Они с Давудом называли ее Илахай — «богиня».

Впервые взяв ее в руки, я была опьянена чистым детским ароматом, темными волосами, проступавшими на ее головке, крошечными пушистыми бровками и ступнями, гладкими, как бархат. Я подняла ее и прижала к груди и подумала, как я хочу научить ее всему, что знаю сама.

Но когда поток чувств хлынул сквозь меня, чего я не ждала, мне пришлось отдать младенца Малеке, чтобы скрыть выражение, проступившее на лице. Я уже вступила в свое девятнадцатилетие, но была безмужней и бездетной. С тех пор как мы ушли от Гостахама, я была слишком занята изготовлением ковров, чтобы думать о чем-то еще. Но теперь, когда мне приходилось видеть Илахай каждый час бодрствования, я начала задумываться, есть ли у меня надежда и мое ли будущее — быть уважаемой ковровщицей и высохшей женщиной.

Как-то вечером по дороге из гарема я проходила возле хаммама, где столько раз мылась с Нахид, и поняла, как я соскучилась по Хоме. Уйдя из дома Гостахама, мы с матушкой не могли больше платить за баню и должны были примириться с быстрым ополаскиванием над ведерком, пока Давуда не было. Но теперь у меня было достаточно серебра, чтобы заплатить за вход, и я решила зайти. Со времени моего последнего посещения прошло больше года. Хома все еще работала там, как я и надеялась, и когда она узнала меня, то сказала:

— Ах, каким пустым было твое место! Сколько я думала о тебе, сколько размышляла о твоей судьбе! Иди сюда, мое дитя, и Расскажи мне все!

Волосы ее были еще белее на смуглой коже, сияя, будто луна в ночном небе. Она приняла мою одежду и отвела меня в один из частных банных покоев, где усадила и принялась окатывать теплой водой, кувшин за кувшином.

Темные глаза ее были печальны.

— Дитя мое, когда я думала про тебя, больше всего я боялась, что тебе выпадет худшая из судеб — улица.

— Не совсем так, — отвечала я, — но временами бывало тяжело.

И я рассказала обо всем, что мы перенесли, а слова лились легко, и она начала разминать мои мышцы, чтобы они расслабились.

Я подробно описала, как улучшилась наша жизнь после того, как мы начали делать ковры с семьей Малеке, и как посыпались заказы от женщин гарема.

— Мы хотим купить дом для всех нас, — говорила я, — и теперь можем позволить себе удобства и для детей, и для себя.

Я только что купила себе пару оранжевых шелковых туфель, свою первую новую обувь за долгое время. Носок был заострен и плавно, словно носик чайника, выгибался вверх. Мне нравилось посматривать на них.

Глаза Хома выкатились от удивления.

— Так твоя судьба наконец переменилась! — сказала она. — Азизам, ты это заслужила.

Она потянулась за киссехом и начала тереть мои ноги, а я смотрела, как отходит омертвевшая кожа. Когда Хома перевернула меня вниз лицом, чтобы отскрести мою спину, я раскинула руки, потому что чувствовала себя в безопасности под ее заботой.

— А что за семья, с которой ты живешь?

Я рассказала, как хорошо ведут себя мальчики теперь, когда они не голодают, и как добр Давуд к моей матушке, потому что верит, что это ее травяные настои вылечили его. Я рассказала, как они с Малеке недавно радовались новому ребенку, и когда я назвала ее имя, то удивилась, ощутив, как по моим щекам заструились слезы.

Хома взяла кусок мягкой ткани и нежно утерла мне лицо.

— Ах, ах! — сочувствовала она. — Теперь ты готова для своего малыша.

Перевернув меня на бок, она проскребла меня от щиколотки до подмышки.

— Ты не так молода, но у тебя еще есть время понести младенца, — сказала она.

— А как же мой сикэ?

— Нет никакой причины не заключить постоянный брак теперь, когда у тебя есть деньги на приданое, — ответила она. — Помнишь, что я тебе говорила? Первый брак — для родителей девушки. Второй — для нее самой.

Она повернула меня и проскребла другой бок.

— Но теперь ты должна думать о том, что устроит именно тебя, и избегать глупых ошибок.

Пока она оттирала мои ладони и оmozоленные пальцы, я думала о браках, которые заключают девушки моих лет.

Марьям была в самом восхитительном союзе, который я знала, наложницей самого шаха, но видела его только тогда, когда это было удобно ему, и всегда должна была думать, как бы ее не вытеснила другая.

Нахид выдали замуж насильно за человека, отвратительного ей, и она утешалась мечтами о том, что могло бы быть с Искандаром, который ей, скорее всего, никогда не достанется. Ее история подобна сказке о Гольнар и ее любимом розовом кусте.

Моя деревенская подруга Голи была лучшим подарком ее мужу, но в его присутствии она была безмолвна; он был намного старше, и я теперь понимала, что она повинуется ему, как ребенок.

Я была не похожа ни на кого из них, потому что у меня были мои ковры и моя приемная семья, о которой надо было заботиться. Даже если бы я заключила брак, моим долгом и желанием было бы работать с семьей Малеке и совершенствовать мое искусство. Каждый минувший месяц подтверждал, что моя работа выигрывает в сравнении с другими мастерами. Она к тому же предлагала новшество — это были плоды труда женщины, любимые женщинами гарема. Я никогда не захотела бы отказаться от своей работы, даже если бы мой муж был богат, как сам шах.

Однако мой путь был иным, чем я воображала, когда была деревенской девочкой, слушающей матушкины сказки.

— Всю мою жизнь, — сказала я Хоме, — сказки, что мне рассказывали, кончались свадьбой богатого, щедрого принца и

прекрасной женщины, попавшей в беду, спасенной и принятой в его жизнь.

Хома улыбнулась.

— Так у них бывает, — отвечала она, поливая мою голову теплой водой, — но не всегда.

Погрузив пальцы в мои волосы, она стала растирать кожу головы.

— Помни, ты больше не в беде. Ты вернула себе цену — даже большую, чем когда была девственницей. Нет причины не сочинить собственную сказку.

Когда Хома кончила мыть мои волосы, она стала лить на меня воду кувшинами, пока моя кожа не засветилась. Тогда она отвела меня и уложила в самую горячую ванну, и я лежала там и размышляла над тем, что она сказала. Она была права: теперь я старше, не замужем, имею кое-какие деньги, поэтому могу делать свой выбор. Незачем мне иссыхать, мне есть что предложить поклоннику. Но я никогда не пожелаю мужчины, подобного Ферейдуну, будь он даже богат, потому что он видел во мне лишь зеркало своих удовольствий.

Я жаждала чего-то иного, что напоминало мне моих родителей. Когда моя матушка была так больна, что чуть не умерла, она рассказала мне о самоотверженности отцовской любви к ней. Для нее он пожертвовал заветнейшим желанием своего сердца, и не единожды, но дважды. Первое — он решил вынести бездетную жизнь, но не мучить матушку присутствием второй жены. Потом, когда родилась я, он примирился с мыслью, что у него никогда не будет сына. Он был словно покорный камень, вынесший так много и проливший столько крови сердца, что она в конце концов превратилась в рубин. Такую сияющую драгоценность я теперь искала.

Когда я прогрелась, то пошла в отдельную комнатку и улеглась на мягкий диван. Хома вернулась с водой напоить меня и сладкими огурцами угостить меня, прежде чем оставить отдыхать. Сон не шел, но большая сказка начинала складываться в моем уме. Я не знаю, откуда она бралась, но прежде ее не слышала; наверно, придумывала сама. Однако мне она нравилась, потому что она была о мужчине-льве, о ком-то, кто станет для меня ценнее оставшейся жизни. Божьим соизволением нашу историю когда-нибудь запишут ярчайшими из чернил, и продолжится она, пока не перевернется последняя из страниц.

— Хома! — позвала я. — Мне нужно рассказать тебе что-то важное!

Хома пришла в мою комнатку, и глаза ее сияли, словно звезды, белые волосы мерцали, как луна. Она уселась подле меня и наклонилась поближе, и вот что я рассказала.

Сначала не было, а потом стало. Прежде Бога не было никого.

Жил-был человек, и был он визирем у старого и вздорного шаха. Когда шах потребовал отдать ему в жены единственную дочь визиря, тот отказался. Тогда шах казнил его за неповиновение и сказал девушке, что она может вернуть себе свободу, только если соткет ковер лучше всех, что есть у него. Девушка была заперта в комнате с крошечным окном, выходившим в шахский сад, где женищины гуляли, пили чай и ели сласти. Днем она смотрела, как они смеются и веселятся, пока она сидит перед старым станком и неряшливой охапкой коричневой шерсти.

От одиночества девушка по утрам крошила птицам хлеб. И однажды птица с гордым хохолком и длинными белыми перьями через окно влетела в ее темницу. Она уселась возле хлеба, склевала пару крошек и улетела.

На следующий день птица прилетела снова и поклевала еще. Потом она прилетала каждое утро и ела из пальцев девушки. Она стала ее единственным другом и, когда ей было особенно печально, садилась к ней на плечо и щебетала.

«Ай, Хода! — пожаловалась девушка однажды утром, взывая к милости Господней. — Эта шерсть так груба и зловонна, что из нее никогда не выйдет ковра для шаха!»

Птица перестала щебетать, словно поняла ее, и внезапно исчезла. На ее месте появилась пушистая белая овечка. Девушка протянула руку, чтобы дотронуться до нее, ибо не верила своим глазам, но обнаружила, что шерсть овечки — лучшая из шерстей. Она постригла ее, и шерсть отросла снова. Овечка терпеливо стояла, а она стригла и стригла, и когда шерсти набралось достаточно, овца снова стала птицей и улетела.

Девушка спряла шерсть и начала ткать из нее ковер, который был мягок, точно бархат. На следующее утро птица снова прилетела,

уселась ей на плечо и сладостно пела, пока девушка вязала узлы. Но через несколько дней работы девушка снова загрустила.

«Эй, Хода! — вздохнула она. — Этот ковер выглядит как саван, потому что у меня нет цветной шерсти. Как я могу сделать ковер, достойный шаха?»

Птица промолчала и исчезла. На ее месте возникла чаша, внезапно наполнившаяся яркими красными цветами. Когда она растерла один на ладони, он оставил пятно, красное, как кровь. Один цветок она оставила в вазе. Остальные растолкла и сварила из них краску для тонкой белой шерсти. Шерсть, которую она пропитывала недолго, стала оранжевой, а шерсть, окрашивавшаяся долго, стала алой. Затем она вплела оранжевую и алую нити в свой ковер.

Птица прилетела на следующее утро и запела свою песню, но ее прелестный голос был слабым, а гордая головка поникла.

«Милая моя птица, так ты вчера пожертвовала собой?» — воскликнула девушка. Птица вздрогнула и не смогла больше петь, и, так как она слишком устала, чтобы продолжать, девушка скормила ей побольше хлеба и гладила ее длинные белые перья.

Теперь ковер девушки стал просто прекрасным, словно сад наслаждений, который она видела из окна. Закончив края, она стала вывязывать узор из осенних листьев клена, усеянный певчими птицами. Яркие красные листья с оранжевыми прожилками на коричневых стволах радовали глаз, и все же она понимала, что ковер еще недостаточно хорош.

«Эй, Хода! — вздохнула девушка. — Как мне сделать ковер, который поразит шаха? Нужна золотая нить, чтобы озарить его дряхлые глаза!»

Птица села ей на плечо, как обычно. Внезапно крылья ее затрепетали, и крохотное перышко слетело на пол. Потом она задрожала сильнее, да так, что девушка испугалась за ее жизнь.

«Нет! — закричала она. — Пусть у меня лучшие будешь ты, чем ковер, достойный шаха!»

Но комната наполнилась ослепительным светом, когда птица из живого создания с бьющимся сердцем превратилась в золотую, Прекрасней, чем любое сокровище шаха. Девушка изумилась чуду, ибо ее темница озарилась, будто солнце вспыхнуло в ней.

На другое утро она разбросала хлеб и ждала птицу, но та не прилетела. Не прилетела она и на следующее утро, и потом, и ни разу за долгие зимние месяцы. Девушка оплакивала ее каждый день. Чтобы почтить ее жертву, девушка расплавила золотую птицу, погрузила белую шерсть в золотую кровь и воткала золотую нить в свой ковер.

Когда девушка закончила, то попросила своих тюремщиков показать ковер шаху. Его слуги развернули перед ним ковер, и золотая нить, казалось, наполнила холодный зал солнечным светом. Ша схватился за виски и в изумлении затряс головой, он словно услышал, как золотые птицы на ковре воспевают силу любви.

«Что это за чародейство?» — крикнул он.

Девушка рассказала ему о птице, которая была ее другом столько дней. Но шах потребовал доказать это, и она показала ему единственное белое перышко, уцелевшее на полу. Она привязала его на нитку и носила с тех пор на шее.

Тогда шах позвал умудренную старую женщину, известную своими волшебными способностями, и приказал ей снять нечестивые заклинания в его царственном присутствии. Женщина подержала перышко в пальцах и сказала все заклинания, а закончила словами: «Именем Бога в небесах, освобождаю тебя от заклятия!»

Перо задрожало так, что она выронила его, и превратилось в высокого мужчину со щеками, покрытыми мягким пушком, губами словно тюльпаны, глазами темнее ночи и иссиня-черными локонами, подобными гиацинту.

«Конечно, не может быть ничего удивительнее, даже поющий ковер! — воскликнул шах. — Кто зачаровал тебя?»

«Злой демон, — отвечал юноша. — Он был изгнан моими родителями, но отомстил им, заколдовав меня. Чтобы мучить меня сильнее, он дал мне способность превращаться во что угодно, кроме меня самого».

«А что у тебя общего с этой девушкой?»

Голос юноши смягчился.

«Когда я увидел ее поработенной, мое сердце обратилось к ней, — сказал он, — ибо я тоже был в рабстве».

Но шах оставался жесток. Юноше он коротко сказал: «Теперь ты моя собственность».

А девушке добавил: «А с тобой мы сейчас поженимся».

Девушка вскочила и крикнула: «Клянусь Всевышним, ты ведь сказал, что освободишь меня, если я сделаю ковер, прекраснее, чем любой из твоих!»

«Сказал», — признал шах.

«И ты не поклянешься, что он прекраснее всех?»

Шах ткнул пальцем в визиря, заменившего ее отца. «Принести мои лучшие ковры», — велел он.

Визирь побежал выполнять повеление, и, когда три ковра легли для осмотра, девушка осмотрела каждый из них.

«Узор мой тоньше, чем на первом, — сказала она. — Мой ковер имеет больше узелков на радж, чем второй. И ни один из этих ковров не поет глазу, уху или сердцу, как мой!»

Шах не ответил, потому что не видел, чем можно возразить. А девушка быстро добавила: «Тем не менее я согласна стать твоей женой, но с одним условием. Освободи этого человека от своей власти, потому что он едва не отдал за меня жизнь».

Шах был готов согласиться, но мудрая женщина вмешалась.

«Великий шах, я прошу твоей милости, — сказала она. — Даруй этим рабам их свободу, ибо они жертвуют собой друг ради друга и уже стали легендой».

«Если это правда, я никогда не видел два таких чуда в один день, — воскликнул шах. — Почему я должен их отпускать?»

Голосом власти женщина сказала: «Потому что их запомнят навек — и твое великодушие тоже признают века спустя».

Шах очень заботился о своей славе. Девушке он сказал: «Я отпускаю тебя, ибо ты достигла того, что я повелел. Твой ковер прекрасней всех, какими я владею».

Юноше он сказал: «Дарю ее тебе, ибо ты отдал свою кровь за нее».

Шах задал им свадебный пир, длившийся три дня и три ночи, и они поженились на ковре, связавшем их воедино. Его золотые птицы пели им, пока девушка давала свое согласие, ибо нашла льва сердцем. И двое бывших узников служили друг другу утешением и нежностью до конца своих дней.

БЛАГОДАРНОСТИ

Этой книги не было бы в ее теперешнем виде, если б не неослабная помощь моего отца, Ахмада Амirezвани, и моей второй матери, Фирузе Фирузфар Амirezвани. Во время трех моих поездок в Иран за материалом для этой книги они возили меня по всей стране, к историческим местам и гробницам, поддерживали меня, пока я делала заметки и шныряла вокруг, и отвечали на мои бесконечные вопросы. Я многим обязана их терпению и любви.

Я хотела бы также поблагодарить моих верных читательниц: Джанис Кук Ньюмен, Рози Рули-Аткинс, Бонни Уотч и Стеф Пейне — и мою давнюю приятельницу, рассказчицу Рут Холперн, пролившую свет на искусство рассказывания историй.

Велик мой долг писательнице Сандре Скофилд, которую я встретила в общине писателей Скво-Вэлли. Прирожденная учительница, Сандра обогащала меня прозрениями, ободрением и полезными советами при каждом повороте дела.

Довести роман до конца требует усилий не только от автора, но и от всех, кто рядом с ним. За стойкую любовь и поддержку — моя благодарность Эду Гранту.

Моя сердечная признательность трудолюбивому персоналу «Литтл, Браун», особенно моему редактору Джуди Клайн и издателю Майклу Питчу, а также их столь же преданным коллегам в «Хедлайн-ревью», прежде всего моему тамошнему редактору Мэрион Дональдсон и заместителю директора Кэрр Мак-Рай.

Особенная благодарность моему агенту Эмме Суини за ее стойкость и вдумчивые предложения.

Наконец, я хотела бы выразить признательность выдающимся исследователям, посвятившим свои жизни постижению Ирана. Без их замечательных работ эта книга не была бы написана.

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

Девять лет я работала над «Кровью цветов» и все время чувствовала себя, как Али-Баба в «Тысяче и одной ночи», который произносит волшебные слова: «Сезам, откройся!» — чтобы открыть пещеру, сияющую золотом и драгоценными камнями. В моем случае богатства явились в виде книг о старинном Иране, его истории и культуре, точно так же спрятанных на пыльных библиотечных полках, куда забредают немногие читатели. Часами я изучала эти сокровища. И чем больше я читала, тем больше очаровывалась.

В своих исследованиях я то и дело возвращалась к царствованию шаха Аббаса (1571–1629), историческому периоду, не сравнимому с другими по великим бедствиям и таким же великим свершениям. Когда шах в семнадцать лет получил власть, в Иране царил кровавый разгул, многие приверженцы сафавидов были ослеплены или убиты в борьбе за власть, а целые армии и часть территории страны потеряны. Шах Аббас сумел проложить курс через этот хаос. За сорок один год правления он показал себя блестящим администратором, хотя его способы достигнуть справедливости по теперешним меркам показались бы жестокими. За его храбрость, ум и вклад в культуру Ирана он назван Шах-Аббас Великий.

«Кровь цветов» описывает 1620-е годы, когда шах успешно отстоял границы Ирана, одолел своих внутренних врагов и создал среду, в которой процветали искусства. Одно из искусств, которому увлеченно покровительствовал шах, было ковроделие. Персидские ковры жаждали иметь европейские короли, аристократы, богатые купцы; они останавливали взгляды таких художников, как Рубенс, Веласкес и Ван Дейк. Всегда чувствующий выгодные возможности, шах учредил по всей стране ковроткаческие мастерские вроде той, что описана в романе. По мнению ираниста Р. М. Сейвори, «под его покровительством ковроткачество поднялось до статуса высокого искусства», так что в дополнение к одиночкам, работавшим на собственных станках, ковры ткались и горожанами, выученными создавать шедевры для двора. Замечательные образцы персидских дворцовых ковров XVI и XVII веков сохранились в музеях и частных

коллекциях, а некоторые искусствоведы считают, что ковры эпохи Сафави (1501–1722) — лучшие из когда-либо созданных.

Когда шах только пришел к власти, столица была расположена в Казвине, северо-западном иранском городе. К 1598 году шах перенес ее в Исфахан, более укрепленный город в центре страны, где предпринял одну из самых замечательных перестроек в истории градостроительства. При помощи своих зодчих за тридцать с лишним лет шах выстроил город, который великолепен и поныне. Гигантская площадь Лик Мира, получившая это почетное именование за свою величину, была больше любой городской площади Европы того времени. Шахский дворец, его личная мечеть, Большой базар и огромная Пятничная мечеть описываются в книгах того времени как невиданные чудеса, и до сих пор можно увидеть мраморные столбы там, где играли в чавгонбози, конное поло, которое шах любил смотреть с балконов своего дворца. Томас Герберт, юноша, бывший в Иране с 1627 по 1629 год с английским послом сэром Додмором Коттоном, описывает площадь как «без сомнения, столь же просторную, приятную и благоуханную, как любой рынок вселенной». Как Герберт и многие другие путешественники, я попала под очарование Исфахана, когда в четырнадцать лет впервые оказалась там. Город оказал на меня такое несомненное воздействие, что, когда десятилетия спустя я взялась за роман, выбрать местом действия Исфахан казалось совершенно естественным.

Хотя главные персонажи «Крови цветов» придуманы, я старалась быть верной событиям, очертившим их жизнь и образ мыслей. Например, комета, описанная в первой главе, и некоторые беды, ассоциирующиеся с ней, описаны Искандар Бегом Монши, официальным историком шаха Аббаса, оставившим 1300-страничную хронику о наиболее примечательных событиях его правления (я использовала перевод Р. М. Сейвори из серии «Персидское наследие»). Однако я позволила себе вольность сблизить события в романе, даже если они происходили за пределами описываемого отрезка времени.

Каждый великий период истории заслуживает своего великого писателя-путешественника, и Иран XVII века нашел такового в лице господина Жана Шардена, французского ювелира. Шарден путешествовал по Ирану в 70-х годах XVII века и в десяти томах подробно изложил свои впечатления. Немногие хроникеры так

подробны в своих записях и так интересны для чтения. Наблюдения Шардена были для меня важнейшим источником сведений об обычаях и нравах эпохи сафавидов, особенно когда он был достаточно чуток, чтоб записать интригующие противоречия вроде этого: «Вино и опьяняющие напитки запрещены магометанам; однако едва ли не каждый пьет некие виды крепких напитков» или «Два противоположных обычая исполняются персиянами: один — восхвалять Бога постоянно и говорить о его дарах, другой — изрекать проклятия и говорить непристойности» («Путешествия в Персию: 1673–1677»).

Во время своих поездок Шарден приобрел в Исфахане альманах и записывал его пророчества, по которым я воссоздала те, что описаны в первой главе. Предсказания о поведении женщин — прямая цитата из «*Voyages de chevalier Chardin en Perse, et autres lieux de l’Orient*» в моем собственном переводе с французского.

Многие путешественники были в восторге от персидских ковров; они были небольшой, но любимой частью и моей жизни, с тех пор как я подростком получила от отца свой первый ковер. Ковры, описанные в этом романе, в основном иранского образца по выбору цветов, способам окраски и вязанию узлов. Хотя я сверялась с десятками работ по коврам, двумя главными источниками информации оставались: «Традиционные ремесла Персии» Х. И. Вульфа и «Узлы, которые связывают: Социальная история иранского ковра» Л. М. Хельфготта. Мысли о духовности, выраженной коврами Среднего Востока, обсуждались во множестве публикаций, включая выставочный каталог «Образы рая в исламском искусстве», изданный Ш. С. Блейр и Дж. М. Блумом, и в эссе, таких как «Символика восточного коврового орнамента» Ш. В. Р. Камманна. Сходные идеи об архитектуре изложены в работе Н. Ардалана и Л. Бахтияр «Чувство единого: Суфийские традиции персидской архитектуры».

Несколько читателей выразили любопытство касательно распространенности временного брачного контракта, описанного в романе, известного как сикэ. Эта форма брака была частью иранской культуры в течение сотен лет и сейчас активно используется и мужчинами, и женщинами. Главным источником информации для меня была исследователь Ш. Хаери и ее книга «Закон желания: Временные браки в шиитском Иране», включающая интервью с

современными участниками сигэ и предоставляющая детальное изображение этого сложного и необычного института.

При разысканиях для этой книги я также заинтересовалась обширной устной традицией Ирана. Многие путешественники отмечали, что большинство неграмотных иранских крестьян могли прочесть наизусть длинные поэмы; даже сейчас иранцы играют в игру, когда каждый участник должен вспомнить стихи и прочесть их. Вдобавок к стихам устная литература передавала огромное число сказок, легенд, фаблю, рассказов, поучительных историй о духовном росте.

Наслоение или гнездование историй — обычная практика в фольклоре Среднего Востока, знакомая читателям «Тысячи и одной ночи». На меня в этом очень сильно повлиял Низами, персидский поэт XII века, написавший «Хафт пайкар» («Семь портретов»), книгу в стихах о подвигах шаха, которая включает в себя семь задумчивых рассказов о любви. На мой взгляд, сплетение историй у Низами совершенно параллельно переплетению орнамента иранского ковра, создающего узор бесконечного богатства и глубины.

Из семи сказок, чередующихся с главами моего романа, пять — пересказ традиционных иранских или исламских историй. В тех случаях, когда это казалось мне необходимым для романа, я свободно адаптировала оригинал. Слова, открывающие каждую сказку, *«Сначала не было, а потом стало. Прежде Бога не было никого»* являются отражением моего грубого перевода иранского выражения, эквивалентного «Когда-то давным-давно...».

Сказка в конце второй главы была записана в книге «Персидские верования и обычаи» А. Массе. Оригинальным источником для Массе был сборник иранских сказок «Чехарде ифсане эз ифсанеха-е ростайи Иран», составленный в Кермане и опубликованный Кухи Кермани в 1936 году.

Истории, помещенные в конце третьей и четвертой глав, были стихами уже упомянутого поэта Низами. История в третьей главе строится на фрагментах истории Лейли и Меджнуна, существовавшей задолго до пересказа ее Низами, создавшего свой вариант. Моим главным источником была «История Лайлы и Мажнуна», переведенная доктором Р. Гелпке при участии Э. Маттини и Д. Хилла, но я использовала иранское имя Лейли. История о рабыне Фетнех в

четвертой главе взята из «Хафт пайкар» Низами; я использовала перевод исследовательницы Дж. С. Мейсами. Её подробные комментарии делают эту чудесную книгу доступной для понимания и наслаждения.

Сказка в конце пятой главы — адаптация традиционной исламской истории, в то время как сказка шестой главы смоделирована по той, что открывает книгу поэта Фарида аль-Дин Аттара «Иллахи-Нама» («Книга Господа») в переводе Дж. Э. Бойла. Аттар, чья долгая жизнь растянулась на большую часть XII столетия, больше известен читателям как автор знаменитой суфийской поэмы-притчи «Совет птиц».

Сказки, появляющиеся в первой и седьмой главах, сочинены мной. Эти рассказы, как и основное повествование романа, глубоко пронизаны языком традиционной иранской сказки, равно как и сближены с ее персонажами и сюжетом. Язык романа также вдохновлен книгой замечательного ученого А. Шиммель «Двухцветная парча: Образы персидской поэзии».

Название романа заимствовано из стихотворения. Оно называется «Ода ковро-саду» и приведено в монументальном исследовании А. А. Поупа и Ф. Акерман «История персидского искусства», труде любви на четырех тысячах трехстах страницах, изданном в 1939 году «Оксфорд юниверсити пресс»; я использовала его как справочник для всего, от монет до ковров. Стихотворение приводится как произведение «неизвестного суфийского поэта ок. 1500 г.» и описывает ковер-сад как прибежище взгляда, помогающее созерцанию божественного.

Рассказчица в этом романе сознательно лишена имени — в честь всех безымянных искусников Ирана.